Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок



ХАНТЫЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Учебная хрестоматия

Часть II

Ханты-Мансийск
2010

УДК 821.51
ББК 83.3 (2Рос=Хат)
Х 19

ISBN 978-5-9611-0057-0

Издание выпущено при финансовой поддержке Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Рецензенты:
Л. А. Андреева – кандидат филологических наук
В. Н. Соловар – кандидат филологических наук
В. И. Сподина – кандидат исторических наук

Х 19 Хантыйская литература: учеб. хрестоматия : [в 4-х частях] : часть II / сост. Е. В. Косинцева. – Ханты-Мансийск : ИИЦ ЮГУ, 2010. – 384 с.

Сборник содержит тексты произведений писателей-ханты и задания к ним, которые помогут освоить основные направления развития хантыйской литературы, выявить индивидуальные особенности творчества автора. Хрестоматия предназначена для школьников, студентов и всех, кто интересуется хантыйской литературой.

УДК 821.51
ББК 83.3 (2Рос=Хат)

ISBN 978-5-9611-0057-0

© Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, 2010
© Югорский государственный университет, 2010
© Оформление, ООО «Доминус», 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....5
РОМАН ПРОКОПЬЕВИЧ РУГИН
Почему лебеди белые.....6
Остров Шиян.....7
Олень и Солнце.....9
Остров семи медведей.....21
Порах Нел.....22
Осетр.....24
Человек ростом с мизинец.....26
Младший сын царя.....42
Богатырь.....57
Сестра и семь маленьких братьев.....66
Кошка и белка.....68
Заяц и медведь.....70
Не радуйся несчастью других.....71
Вопросы и задания.....73
Дума о Севере.....74
С той поры, как я в родном селенье.....75
Я родился в хантыйском рыбацком селенье.....76
Недругам.....78
Каждый живущий на этой земле.....79
Это место сердцу свято.....80
Доброта.....81
Поединок.....84
Лесные тропинки.....85
Бродячие собаки.....86
Мой народ.....87
Друзья.....89
Хорошо, когда с березки пестрой.....90
Прилетели белой птицей.....91
Метель на ладони.....92
Зимою.....93
Мелодии снежинок.....95
Не торопись, зима...96
Говорят, услышать стоны выпи.....97

Хищники....98
Приметы....99
Радуга....100
Обычай....101
Здравицы....103
Зарубки....104
Элегия....105
Молитвы хантов....106
Язык ханты....107
Весенний ручей....109
Советы отца....110
Баллада об орле....111
Мелодии леса....113
Человек с Природой шел в сраженье....114
Память о войне....116
Дети войны....117
Горсть родной земли....119
Плач по погибшим сыновьям....120
Весна....122
Пойдем со мной в наш тихий лес....122
Путь, что мне остался, – все короче....123
Глаза....124
Скажу вам без обиняков....126
Хантыйские женщины....127
Береза....127
Мать....129
Вопросы и задания....130
След Левши....131
По следу....139
Три шкуры....168
Сватовство....215
Вопросы и задания....233
Ланги....234
Вопросы и задания....259
Сорок Северных Ветров....260
Вопросы и задания....382
Литература....383

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели! У вас в руках – вторая часть учебной хрестоматии. Книга бесценна сама по себе, так как в ней сосредоточены знания и талант людей, формирующих своим мастерством историко-литературный процесс целого этноса.

Во вторую часть учебной хрестоматии вошли произведения Романа Прокопьевича Ругина одного из крупнейших поэтов и прозаиков в истории хантыйской литературы.

В книгу включены поэтические и прозаические произведения, а так же представлена литературная обработка фольклорных текстов.

Каждый раздел книги завершается вопросами и заданиями, которые помогут:

* освоить основные направления развития хантыйской литературы;
* выявить общие тенденции ее развития;
* проследить индивидуальные особенности автора;
* раскрыть своеобразие жанра на материале хантыйской литературы;
* представить разнообразие тем и мотивов хантыйской литературы;
* проанализировать систему образов и язык произведений.

Отдельно следует сказать слова благодарности рецензентам – к. фил. н., доценту В. Н. Соловар, к. фил. н. Л. А. Андреевой, к. ист. н В. И. Сподиной, – которые своими отзывами поддержали столь важное и нужное начинание.

РОМАН ПРОКОПЬЕВИЧ РУГИН

ПОЧЕМУ ЛЕБЕДИ БЕЛЫЕ

Давно это было. На земле только-только первые четвероногие звери и двукрылые птицы появились...

Собрал в один из весенних дней Вой Турам – Дух Лесных Зверей и Птиц – своих подопечных всех вместе и говорит:

– Хочу каждому из вас отдельный цвет дать. И вам веселей будет, и мне приятней вами любоваться. Ну, говорите, кому какой цвет нужен!

– Мне – черный! – крикнул крепкокрылый горбоносый турпан.

– Мне – серый! – загоготал гусь.

– Мне – все цвета радуги! – закряхтел широконосый соксун.

Крики так и неслись со всех сторон. Волшебный Вой Турам тут же исполнял желание птиц, они на глазах преображались и, радостные, улетали прочь.

Остались только лебедь с лебедихой, имевшие тогда невзрачный бурый цвет.

– Ну, а вы какой хотите? – спросил Вой Турам. – Всех я уже осчастливил, – а вы-то чего молчите?

– Думаем! – дружно ответили лебеди. – Думаем.

– Ну и как – надумали?

– Надумали, Вой Турам. Мы хотим стать белыми. Совсем-совсем белыми!

– Хм... Интересно. Это почему же?

– Потому что мы любим друг друга, не можем один без другого жить. И хотим, чтобы наша любовь была чистая-чистая! Как только что выпавший снег...

– Хм... Ну коль и вправду не можете жить друг без друга, то и перекликайтесь меж собой всегда так: «Хо-танг? Хо-танг?», то есть «Где ты? Где ты?» – чтобы, значит, никогда не терять друг друга...

Махнул Вой Турам своей волшебной рукой, и лебеди тут же превратились в белоснежных красавцев.

С тех пор они и кричат всегда «хо-танг, хо-танг», и любят друг друга до самой смерти, и жить друг без друга не могут...

ОСТРОВ ШИЯН

В древние времена это было. Сто раз, может, на этом острове рождались и умирали многовековые деревья: кедры, ели, лиственницы и березы.

Приехал как-то к осени на этот остров, тогда еще безымянный, охотник Ими Хилы рубить толстый кедр и мастерить из него для себя легкую колданку. И вот он пустился по острову. Шагая между деревьями и высматривая для себя подходящий кедр, неожиданно увидел красивую девушку.

Щеки пылали у ней подобно пламени жаркого костра, глаза были темнее поспевшей черной смородины, тонкие губы исходили свежестью утренней румяной зари, на уши были навешаны вместо сережек поспевшие морошки. Все лицо излучало такую красоту, что от долгого взгляда могли ослепнуть глаза. И выглядела она стройней небесной радуги.

Закружились от такой невиданной красоты голова и сердце Ими Хилы. Забыл он, зачем явился на остров, и увлекся увиденной красавицей Земли и Неба.

Разговорились. Ими Хилы тут же, чтобы она не досталась другому мужчине, предложил ей стать его женой.

Девушка – ее звали Айнэ – ответила:

– Вижу я: смелый ты юноша. В руках крепко держишь топор, тетива лука из лосиной шкуры за плечами тугая. И красотой ты не обижен. Вышла бы я за тебя. Но я каждую осень превращаюсь в лебедицу и улетаю на зиму в теплые края. Через три дня и три ночи за мной прилетит лебедь-отец, сядет на озеро, кликнет три раза, и я вмиг обрасту крыльями и превращусь в птицу.

– Почему? – крепко взял девушку за руки Ими Хилы. – А сможешь не превратиться в птицу? А если я этого не допущу?

– Нельзя, парень, – ответила Айнэ. – Я убитая лебедица. На этот остров ежегодно весной прилетали лебедь и лебедица. Они здесь вили гнездо, откладывали яйца и выводили потомство. Несмолкаемым радостным криком наполнялся летом остров от маленьких лебедят.

Это не понравилось злой ведьме острова Порнэ Ими, которой веселый крик лебедей мешал спать. Она решила лебедей лишить потомства и убить лебедицу. Выстрелила Порнэ Ими однажды

весной своей черной стрелой в лебедицу, и вода озера окрестилась кровью птицы. Долго не хотел улетать лебедь-самец, но страшный вид Порнэ Ими заставил подняться его в небо. Для того, чтобы наводить страх на лебедя-самца, Порнэ Ими повесила на толстый сук березы труп лебедицы. Со временем убитая лебедица срослась с деревом, став огромным наростом-шияном, похожим на фигуру лебедицы. И эта одеревеневшая лебедица каждый год рожает меня в виде девушки. А осенью лебедь-самец уводит меня с этого острова.

– О, нет! – сказал Ими Хилы, услышав рассказ Айнэ. – Я не допущу, чтобы ты превратилась в лебедицу. Я найду эту злую Порнэ Ими. Я убью ее в честном бою...

– О, Ими Хилы! Это очень трудно. Но я знаю, как это сделать. Мне об этом во сне нашептала добрая фея острова Мошнэ.

– Что нашептала? Расскажи, расскажи! Я все сделаю!

– Надо срубить нарост на березе – отвердевшую фигуру моей умерщвленной матери. И из этого нароста надо смастерить фигуру лебедицы, чтобы была как живая. Тогда прилетит лебедь-самец, подсядет к ней, кликнет три раза и, не услышав ответного крика, щипнет плавающую фигуру за клюв, и та превратится в мать-лебедицу. И счастливая пара, три раза прокружившись над островом, улетит в теплые края. А я тогда навечно останусь человеком и смогу выйти за тебя замуж.

Обрадовался Ими Хилы от этой доброй вести.

Тут же срубил нарост на дереве. И три дня и три ночи, не смыкая глаз, мастерил фигуру лебедицы. Все мастерство приложил к этой работе Ими Хилы, всю теплоту и доброту своего пылкого влюбленного сердца. И фигура получилась на диво! Как живая!

Ими Хилы спустил ее в воды озера, и она закачалась на ленивых волнах. Издали трудно было отличить ее от живой.

Уставший от долгой, напряженной работы, Ими Хилы на четвертые сутки крепко уснул.

Проснулся к вечеру. Лучи закатного солнца залили гладь небольшого озера, словно настлана была там тысяча белых оленьих шкур.

А над островом, издавая прощальные крики, три раза прокружилась пара лебедей и удалилась к югу.

Ими Хилы, обрадовавшись, что наконец-то девушка станет его женой, кинулся со всех ног к месту их постоянной встречи. Он мчался так быстро, что из-под его пяток вылетал мох, долетавший до вершин стоявших рядом деревьев.

Пробегая около берега озера, он увидел плавающую вырезанную им фигуру лебедицы.

– Так ты не превратилась в живую лебедицу? – сказал огорченный Ими Хилы. – Значит, зря я столько времени, три дня и три ночи, старался. Значит, обманула меня девушка?

Разозленный Ими Хилы вытащил из-за плеча свой тугой лиственничный лук, положил на тетиву острую стрелу, прицелился и выстрелил. Стрела угодила прямо в голову, и в тот же миг раздался душераздирающий крик:

– Что ты наделал, Ими Хилы?! Это же я была, Айнэ! Я же хотела в последний раз поплавать по озеру, в последний раз полюбоваться своим чудным отражением. А затем хотела вылезти на берег и расстаться с одеждой птицы, навеки стать твой верной женой. А сейчас... – И она, уже истекая кровью, еле выговорила: – Повесь меня на ту березу, под которой стоишь, как мать мою...

Повесил Ими Хилы ее на берегу на эту березу. И на ней с тех пор вырос опять такой большой шиян-нарост. С этого времени и остров назвали Шиян, что означает «нарост на березе». А Ими Хилы с горя уселся рядом с березой и умер. И где он сидел, вырос многовековый кедр с раскидистыми, искривленными ветвями. И даже сам ствол скрючился. От горя, сказывают люди. Мол, сердце Ими Хилы страдает и мучается в сердцевине старого кедра.

ОЛЕНЬ И СОЛНЦЕ

В далекие времена это было. Землю, которую недавно выловила в океанской пучине крепкокрылая гагара, постоянно трясло, как лодку во время сильного шторма. Трудно было жить лесным зверям и водным обитателям, нелегко приходилось и людям.

Решил тогда всесильный Бог Высокого Неба успокоить землю и со своих необъятных трех подол, со своих объемистых семи подол спустить на землю тяжелые камни.

Три дня и три ночи с тяжелым грохотом падали грузные громоздкие камни-глыбы на землю, а затем еще неделю, словно огромные неповоротливые Менги-великаны, ворочались они. При обвале камней беспрерывно сверкала молния, кромсая небо тысячами острых огненных сабель.

Наконец Солнце исчезло. И кромешная тьма, словно гигантские крылья черного глухаря, опустилась на землю, закрыв и звезды, и яркое солнце. Звери, обуянные страхом, забегали во все стороны и издавали душераздирающие крики. Притихли и испугавшиеся люди селенья Питлор, которые на Святом Мысу совершали обряд жертвоприношения всезнающим духам Священной Земли и Великой Воды.

Языки жаркого костра словно захлопнуло капканом, и горячие угли начали тлеть и медленно угасать.

Пересилив испуг, ханты в темноте в один голос обратились к шаману: «Кой! Что случилось?! Неужто конец свету?! Может, в чем-то мы провинились? Может, мало угощений воздали великому Богу Неба и Земли?! Пусть поможет всезнающий старик! Пусть покамлает!»

Шаман нащупал в темноте и взял в руки острый топор, который находился рядом с ним на священной семикопыльной нарте. Поклонившись вначале в сторону дремучего леса, затем в сторону вод широкого сора Питлор и отвесив поклоны почти потухшему костру, седобородый шаман начал камлать. Тишина воцарилась на Священном Мысу. Люди замерли. Необычная темень, еле слышные слова шамана, смысл которых почти не доходил до ума притихших людей, только усиливали страх. Закончив тайный отрезок разговора, который с потусторонними духами тихо вел, шаман, очевидно сумевший вступить с ними в хороший контакт, продолжал уже более громко. Слова его, меткие и образные, как волны во время усиливающегося шторма, накатывались на их слух, мигом доходя до ума и сердца. Особенно там, где обращался он к своему верному, надежному помощнику и спасителю – северному оленю:

– О, олень наш благородный,
Много раз спасал нас в жизни.
Через снежные сугробы

И смертельную пургу
Приводил ты нарту к чуму
И хозяина спасал,
А порою уводил ты
От зубов смертельных волчьих.
А сейчас тебе придется
Ношу новую принять.
Но для этого придется
Вновь тебе призвать на помощь
Дух небесный твой всесильный,
Что спасал не раз от бед.
И тебя мы очень просим
Побывать в краях далеких,
Сотни рек, а может, тысячи,
Знай – придется переплыть,
В небе облачные кучи
Как березовые рощи,
Должен смело ты пронзить,
И ветвистыми рогами
Их, как будто хлопья снега,
На семи просторах неба
И в краях семи бездонных
Вправо-влево разметать.
Путь же будет твой нелегким:
Опасайся грозных стрел, –
Ядовитой страшной смерти,
Та, что в судороги ноги,
Словно корни кедра, скрутит,
Та, что в судороги сердце
Вечно доброе сведет.
Но ты должен одолеть все
И доставить людям Солнце,
Что приносит только Радость
И всегда им дарит Счастье.
А теперь... скорее в путь,
А не то – подохнут люди,
Разорвутся их сердца,
И тропа исчезнет жизни.

И тут же на небосклоне, раскидывая пушистый снег, появился рогатый олень, тысячи веков являющийся верным помощником человека, не испугавшийся таких грозных слов шамана.

У него по упитанным бокам вмиг на ходу выросли широкие золоченые крылья, которые постоянно искрились, словно от них исходил непрерывный густой звездопад.

Три раза сделав круг над сидевшими на земле завороженными людьми, быстроногий олень пустился в нелегкий опасный путь.

Резвее быстрокрылого дикого гуся, резвее звонкокрылого гоголя полетел по синему небосводу рогатый олень. Заряды снега из-под копыт пулей вылетали в разные стороны, облако снежной пыли окутало его. И тут же на мчащегося оленя со всех сторон тучами понеслись острые стрелы, выпущенные кем-то из упругих луков... Они, ударяясь о мускулистое тело оленя, издавали несмолкаемый хриплый звон и крошились на куски. Эти мелкие обломки, словно бесчисленные стаи птиц, падали на землю.

А олень, будто не ощущая ядовитых стрел, легко и быстро летел к намеченной цели. Он порою касался цокающими копытами поверхности воды встречавшихся стремительных рек и широких морей, поднимая при этом серебристые брызги; иногда, как пушинки, сметал гребни заснеженных гор, отбрасывая их на расстояние семи дневных переходов. Так и мчится резвый олень, так и несется по бескрайним просторам!..

Однажды рано утром он увидел огромное море, которое пылало невиданным огнем. Языки пламени вздымались ввысь на расстояние семи бросков аркана, взлетали на высоту семи полетов соревнующейся стрелы.

Вскоре между огромным небом и вдалеке оставшейся маленькой землей увидел чудный остров, окаймленный искрящейся синевой. Могучий олень проскочил через огненное пламя и вступил на новую планету. И он сразу почувствовал, что под ногами твердая неизведанная земля.

Олень отряхнулся и решил перевести дыхание. Клубы теплого сизого пара, словно белоснежные человечки, вылетали изо рта. Язык, как тяжело нагруженный рыбой сачок, далеко свисал вниз. Немного успокоившись, он огляделся. И тут увидел, как из

белой березовой рощи выходит молодой, крепко сложенный юноша. Он был одет в богатую неблюевую малицу, на голове ушастая горностаевая шапка, на ногах – богато разузоренные кисы. На широком кожаном поясе свисали медвежьи и волчьи клыки. Юноша отвесил ему поклон, вежливо улыбнулся и спросил оленя:

– О, олень – земли посланец,
Из краев слегка далеких,
Где хватает разной пищи,
Где кругом в достатке ягель,
И оленьих пастбищ много,
Как на небе разных звезд.
Что замучило тебя,
И пуститься в путь опасный
Из земли метелей вечных
И далекой даже в мыслях?
Был в дороге, может, месяц,
А возможно, даже три.

Белобокий олень к этому времени уже пришел в себя, помотал головой с ветвистыми рогами в разные стороны, семь раз переступил с ноги на ногу, гордо уставился на молодого красавца юношу, лицо которого словно исходило сиянием полной луны, и ответил:

– Человек мне неизвестный
Из неведомых краев,
Где всегда сверкает солнце,
Небо звездное сияет,
Будто тысячами глаз,
Небо синее блистает,
Словно сотнями озер,
Где всю жизнь пирует лето
И неведомы морозы,
Белый снег, холодный лед.
Здесь не знаете вы голод,
Вечный страх, земную смерть.

А пришел я с важной просьбой,
От людей земных и грешных.
Тех, кто в ужасе смертельном
Пребывает в этот час.
В темень край их погрузился,
И вокруг них только ночь,
Как на дне глубоком моря.
Ведь они, мой друг бесценный,
И не рыбы, и не звери,
Те, кто могут плыть в потемках,
Добывать себе еду.
Если помощь не доставлю –
Ждет их медленная смерть.
Станет край тогда безлюдным,
Ледяным, безмолвным вечно.
А для этого мне нужно
Только солнце, Счастье-Солнце.
За волшебным этим Чудом
Прибыл с дальних мест сюда.

Внимательно выслушал юноша-красавец, являвшийся, как он объяснил, первым дозорным при подходе к третьему подолу Высокого Неба, и поведал быстроногому оленю довольно неприятную весть.

Оказывается, небесное Светило скрылось из людских глаз землю по причине вспыхнувшей войны между Солнцем – дочерью Всесильного Бога и Месяцем, удалым женихом, прибывшим из других далеких миров свататься к красавице-Солнцу.

Солнце согласилась выйти замуж. Но поставила условие, чтобы Месяц семь дней обождал, пока она не растопит весь снег и лед, лежавшие на земле. Ей хотелось полностью завершить свои добрые дела, чтобы во всех уголках земли цвели и благоухали цветы и везде на все голоса пели веселые птицы. Но гордому Месяцу не понравился такой ответ. Он не мог ждать. Резко развернулся и перед тем, как уйти в другие миры в поисках другой, более сговорчивой подруги жизни, решил наказать высокомерную, на его взгляд, невесту. Он надумал пойти на Солнце войной. Натянул он тогда тысячи и тысячи своих боевых упру-

гих луков и выпустил тьму стрел в сторону Солнца. Стрелы, напитанные сильным ядом, издавая пронзительный свист, с невиданной скоростью понеслись в сторону Солнца. Выпущенных стрел было столько, что вмиг затмили лицо Солнца. Увидел такую жуткую картину великий Бог-Отец Высокого Неба и встревожился не на шутку. И он решил наказать такого дерзкого и неумеренного жениха. «Пусть он воюет в своих владениях, – рассердился Бог-Отец. – Пусть у себя порядки наводит. И для себя остальные боевые стрелы прибережет».

Уселся он поудобнее и направил острый сердитый взгляд на стрелы, летевшие со стороны взбесившегося Месяца. Глаза его стали такими злыми, излучаемый ими свет был столь ярким и горячим, что стрелы тут же плавились и испарялись, как капли воды в большую жару.

Но Бог-Отец Высокого Неба, вспомнив тут, что недавно появившуюся землю все еще качает, а порою трясет, решил не расплавлять летевшие стрелы полностью, а обломки разбросать по ее широкой груди. И эти осколки стрел, как тяжелые камни, и посыпались недалеко от Святого Мыса, где ханты совершали обряд жертвоприношения.

Так разгневанный Бог-Отец Высокого Неба укротил в то далекое время не в меру горячий и воинственный пыл Месяца. А в отместку за нарушенный покой в его необъятных владениях так сильно подул на невразумительного и назойливого Месяца, что мощной, громыхающей, все сметающей на своем пути струей воздуха того отбросило на несколько подолов неба ниже Солнца. И с тех давних пор поверженный Месяц одиноко пасется на небе, излучая ночью слабый, холодный свет. Это, сказывали древние ханты, – наказание Бога Высокого Неба. А Солнце после такого неприветливого визита Месяца, который своим несуразным поведением оскорбил небесное Светило и весь Небесный Мир, подальше удалилось от этих мест, чтобы не тревожили его впредь подобные невежливые ухажеры. И конечно же, его живительные лучи не доходили теперь до Земли, и на нее спустилась вечная темень и холод.

Рассказав о таком кратковременном и бескровном небесном сражении, юноша – дозорный воин на границе третьего подола Неба – закончил так:

– Пролетишь еще семь дней ты,
Семь дозорных в небе встретишь.
Это радуги взметнутся
Семицветной красотой,
То – дозоры Солнца в Небе:
Вмиг тебя насквозь пронижут.
Как песчинки, твои мысли
В голове твоей разложат,
До последней капли в сердце
Чувства все твои изучат
И узнают, нет ли в мыслях
У тебя опасных планов,
Тех, что новою войною
Смогут вновь пойти на Солнце.
Ну а коль ты добр и честен,
Не таишь коварных мыслей,
Ты дойдешь к границам Солнца
И придешь к тому, кто щедро
Дарит жизнь земле холодной,
Людям всем на ней живущим, –
И лесным зверям, и птицам,
Рыбам рек глубоководных,
Волнам рек, деревьям леса,
Даже камням на горах.
И о том, как это сделать,
Чтобы Солнце вновь вернулось
На твою родную Землю,
Все сполна тебе подскажет
На одной из гор высоких,
Во владеньях Солнца-Чуда,
Седовласый мудрый старец.
Он сидит в просторном доме,
Из лучей сплетенном Солнца, –
Золотых ресниц Светилы.
Коль понравишься ты старцу,
То, быть может, повернется
Он к тебе и, ради жизни
На земле твоей далекой,

Согласится подарить вновь
Солнце жизни, Солнце-счастье,
Чтоб несло на землю снова
Воздух, пищу и тепло.

Внимательно выслушав речь первого дозорного, охранявшего границы третьего подола Неба, быстроногий олень заторопился в дорогу. Он постучал копытами о землю, словно стряхивая с них лишнюю грязь, прилипшую во время долгого и нелегкого пути, три раза повертел головой влево, затем семь раз повертел вправо, напряг свои упругие мускулистые мышцы, гордо вскинул красивые рога и быстрее полета соревнующейся стрелы, быстрее стремительно летящего к добыче ястреба понесся вдаль.

Мчался так быстро, что звон от взмахов его мощных крыльев раскачивал облака на расстоянии семи верст и словно шумел прибой волн на расстоянии семидесяти дневных переходов.

Струи же воздуха между ветвистыми рогами проносились ураганным ветром, и казалось, что там вовсю воет и бесится пуржистая вьюга. Клубы пара, выдыхаемые белобоким оленем, стаями горластых халеев разлетались в стороны, а вслед за быстроногим священным животным тянулся длинный шлейф облака на расстоянии семи поворотов реки. «Цок-цок-цок», – отстукивали его широкие копыта, «шов-шов-шов», – издавали звонкий журчащий свист его ветвистые рога. Как и сказывал первый дозорный, охранявший границы третьего подола Неба, вскоре в сиреневой дали показалась белоснежная вершина высокой горы, плечи которой были обложены богатыми связками белых пушистых песцов. На самой вершине горы красовался огромный красивый дом, сооруженный из изящных ледяных сосулек и сверкающих лучей солнца, которые пели всеми своими переливающимися гранями.

Войдя через широко открытые двери в необычный дом, быстроногий олень резко остановился, увидев седовласого старика, сидевшего на высокой семикопыльной нарте, смастеренной из ледяных сосулек. Тысячелетний, может, стотысячелетний старик спросил:

– Дух небесный, дух-спаситель,
Из мудрейших – самый мудрый,
Из быстрейших – самый быстрый,
Кто тебя в такие дали
До семи подолов Солнца
Из земли сюда направил,
И с каким заданьем прибыл?
Ведь сюда – в места святые,
Путь не каждому доступен,
Где небесного Светилы
Обитает самый главный
Всех советников владыка -
Седовласый старец Лух.

Быстроногий олень слушал мудрые слова небесного владыки и ощущал, как дрожь начинает пробирать все клетки его могучего тела, словно невидимые силы пронизывали его крепкое сердце и клетки мозга. Он почувствовал, что силы начинают покидать его, но, стряхнув с себя нахлынувшую слабость, приободрился, обрел прежнюю уверенность и твердо сказал:

– О, небесного Светилы
Всех советников владыка!
Я примчался с важной просьбой
От людей земных и грешных.
Тех, кто в ужасе смертельном
Пребывает в этот час.
В темень край их погрузился,
И вокруг них только ночь,
Как на дне глубоком моря.
Но они, владыка Солнца,
И не рыбы, и не звери,
Те, кто могут плыть в потемках,
И тропу дальнейшей жизни
Могут на земле вести.
Не доставлю помощь имя –
Ждут мученья их и смерть,
Станет край тогда безлюдным,

Ледяным, безмолвным вечно.
Для спасения их жизни
Нужно Солнце, Счастье-Солнце!
И прошу я Вас, владыка,
Подарите людям Солнце,
Кто Земле приносит Счастье –
Воздух, пишу и тепло,
И еще – всего бесценней –
Человеческую жизнь!..

Всесильный владыка небесного Светилы надолго задумался, медленно вытащил из объемистого кармана горностаевого халата золоченую табакерку, поднес к волосатым ноздрям и принюхался. Насладившись крепкими запахами табака, он уставился в сторону быстроногого оленя с широкими крыльями по бокам и несколько нехотя, словно мог доставить неудовольствие собеседнику, сказал:

– Дух небесный, дух-спаситель.
Из мудрейших – самый мудрый,
Из быстрейших – самый быстрый,
Коль пришел с далекой дали
И с такой огромной просьбой,
Что ж, пожалуй, помогу.
Но хочу одно добавить,
И тебя оно коснется:
Распрощаешься навеки
Ты с небесными духами.
Станешь ты земным оленем,
Приученным человеком,
И придется опасаться
На просторах снежной тундры
И глухой тайги чащобах
Вечно страшного врага –
Волка жадного клыков,
И всегда остерегайся
Ядовитых страшных стрел.
Знаю: трудно ты воспримешь
Весть нерадостную эту,

И, чтоб боль твою облегчить,
Впредь страдания уменьшить,
Образ твой навеки в небе
Ун Мось хотна отразится,
Там же, где помет оставил
Ты в последний раз в пути, –
Ай Мось Хот сооружу.
В этом домике уютном
Горностая духи впредь
Приходить на отдых будут,
И священным станет место.

Здесь всесильный владыка небесного Светилы уверенно приподнял руку и сказал:

– Си! Тыяса! – Все! Возродись!

И тут на северном небосклоне неба появилась яркая Большая Медведица, удивительно похожая на стремительно несущегося и вытянувшегося в ловком прыжке оленя, а неподалеку возникло скопление звезд – Малая Медведица.

После этого владыка-старец расправил руку и сказал на прощание:

– На, земных людей помощник,
Солнце, вот оно, возьми!..

В это время у священной нарты внезапно очнулся долго камлавший шаман – и видит перед собой огромное пастбище, где пасется большое стадо оленей. Упитанные олени разгребали копытами снег и жевали питательный серебристый ягель.

Ханты обрадовались привалившемуся счастью, приручили оленей, и в дальнейшем они стали верными помощниками и друзьями. А на высоком небосклоне вновь ярко светило появившееся лучезарное Солнце, щедро лившее на землю свои живительные лучи, приносившие людям радость. Огромное счастье.

ОСТРОВ СЕМИ МЕДВЕДЕЙ

В далекие времена это было. Жил в Шум-Югане один старик. Звали его Порака. Было у него семеро дочерей. Слава об их необыкновенной красоте шла далеко по Оби.

Сам Месяц небесный хотел им понравиться и изо всех сил надувал свои медные щеки, чтобы ночью было девушкам посветлее.

Само Солнце сияло на небе, словно пожар, чтобы днем им было тепло.

А быстрый Ветер так и посвистывал над сором, чтобы привлечь внимание красавиц.

И вот однажды Месяц, Солнце и Ветер посватались к девушкам. Но Порака не согласился ни одну из них отдать им в жены. Тогда они рассердились на упрямого старика и решили ему отомстить.

Как-то семеро сестриц отправились в лес нарезать бересты. Нагрузили полную лодку и стали грести в сторону дома. Тут-то Ветер их и подстерег. Налетел с неба, как ястреб, и давай раскачивать лодку. Солнце стало ему помогать – взяло и скрылось за тучами. До самой ночи боролись девушки с Ветром. Уже совсем почти до берега добрались, где их поджидал отец, а здесь Месяц возьми и спрячься за облаками. Ничего не видя, девушки снова на стремнину выгребли. Лодка их перевернулась, – и черная пучина поглотила красавиц.

Метался по берегу Порака, слыша крики дочерей, но не смог им помочь, – ведь он тоже ничего не мог разглядеть в кромешной мгле!

Когда на следующий день встала над Шум-Юганом разноцветная радуга, старик поклялся:

– Ты, мать-природа, не пожалела моих дочерей, прекрасных, как разноцветные полосы радуги! Я тоже не пожалею тебя! Вот мой острый охотничий нож-сёхар. Сейчас я поеду на остров и убью семь самых сильных озверелых медведей! Не успокоюсь, пока не принесу их в жертву моему горю! Только тогда Верховный бог Нум Турам ослабит узлы аркана, стиснувшие мое серд-

це! Только тогда Мултаха-Ики (Главный дух дома) снимет с моих плеч тяжелый камень!

Старик сел в лодку, причалил к острову и крикнул:

– А ну, медведи! Выходите!

И эхо семь раз прокатилось по глухим окрестным лесам.

Затрещали вскоре кусты, содрогнулась земля от поступи мощных лап, и из чащобы один за другим вышли семь огромных медведей.

И так велико было горе старика, что он уложил их своим ножом-сёхаром одного за другим – каждого с первого удара!

– Злые и добрые духи! – крикнул старик. – Слышите меня? Я сдержал свою клятву!

И тут Порака, обессиленный, рухнул на землю в своей одежде из оленьей замши среди семи поверженных медведей и испустил свое последнее дыхание.

С тех пор этот остров называется островом Семи Медведей.

ПОРАХ НЕЛ

Когда-то в давние времена жил на еще безымянном тогда мысу смелый охотник по имени Нятама. Быстрыми были его ноги, крепкими руки, – самого сильного лося мог заторопить он в снежную пору, одной стрелой мог сбить летящего гуся, а капканы на зверя ставил так хитро и ловко, что ни осторожной лисе, ни разбойнице-росомахе не удавалось их обойти. Своим хулты пуном – ловушкой для рыб – Нятама не раз вылавливал из Оби больших осетров, а о прочей рыбе и говорить нечего – она сама так и шла к нему в сети.

Всего у Нятама было вдоволь: и запасов съестных, и мехов драгоценных. Одного не хватало удалому охотнику – счастья. Не было у него ни жены, ни невесты. Один он жил, бобылем. Тоска съедала его сердце.

И вот однажды сидел на мысу Нятама, печально глядел на бегущую мимо реку. И вдруг видит парус чьей-то бударки. «Чей это парус?» – подумал охотник.

Когда суденышко подошло к берегу, он увидел, что правит бударкой мужчина, а на корме сидит нарядно одетая молодая девушка,

Внезапно налетел сильный ветер и понес бударку на каменный перекат. Словно вставшие на дыбы медведи вспенились волны, ударил гром, и клокочущий водоворот в одно мгновение поглотил лодку, только дно ее мелькнуло в ревущих бурунах!

Когда Нятама подбежал к воде, мужчины уже не было видно, а девушка, как-то вынырнув, еще цеплялась руками за борт перевернутой лодки. Охотник спустил свою высокую лиственничную колданку и поспешил ей на помощь.

– Кто ты? – спросил Нятама спасенную девушку.

– Я невеста того человека, который погиб, – ответила она и заплакала. – Он увез меня из селения Порават. Мы собирались с ним пожениться.

– Как твое имя?

– Тутья...

Нятама взял ее, обессилевшую, на руки и понес в дом. Развел огонь, дал девушке сухую одежду, напоил горячим чаем, настоянным на брусничных и смородиновых листьях. – Как ты красива, Тутья, – сказал он. – Никогда прежде не видывал я такой красоты!

Девушка и в самом деле была удивительно хороша... Нежнее первого весеннего цветка была ее кожа, ярче алой зари полыхал на щеках румянец.

На следующий день девушка заболела. Она бредила и стонала, металась в страшном жару. Словно малого ребенка выхаживал ее Нятама: отпаивал травяными отварами, давал ей медвежью желчь, готовил сытную пищу.

Когда Тутья поправилась, Нятама спросил:

– Скажи, Тутья, могла бы ты стать моей женой?

Нелегко было вдове-невесте ответить на этот вопрос. Долго думала она, не одну чашку чая выпил за это время в сильном волнении храбрый охотник. Наконец Тутья сказала:

– Спасибо тебе, Нятама, за это! Ты жизнь мне спас, – разве смею я тебе отказать? Но ведь я любила своего жениха... И не знаю, смогу ли полюбить тебя... Смогу ли принести тебе счастье...

– Но, может, со временем сердце твое сжалится надо мной?

– Разреши мне пойти на берег. Я буду стоять там семь дней и ночей, прощаясь с душой моего жениха. А потом... отвечу тебе согласием. Ты же... всю эту неделю не приближайся ко мне.

Тутья встала у самой воды и устремила свой взор в речную глубь.

Так она провела семь дней и ночей. Солнце и дождь сменяли друг друга, а Тутья стояла не шелохнувшись. Ветры несли на берег песок и мелкую гальку. Всю неделю не пила и не ела девушка, только дождевыми каплями, попадавшими ей на лицо, утоляла иногда свою жажду.

На седьмое утро, решив, что запрет уже кончился, охотник побежал на мыс... И увидел: девушку занесло песком – с правой стороны по самое ухо, с левой – до плеча. Принялся он ее откапывать, а она уже не дышит...

Так и осталась прекрасная Тутья верна своему жениху.

С тех пор и прозвали этот мыс Порах Нёл, что значит «Одноплечий».

И сейчас этот мыс красуется на одном из поворотов могучей реки Обь.

ОСЕТР

Стоял тихий солнечный день. Поверхность воды на Оби словно лоснилась жиром.

Вдруг на середине реки что-то зажурчало, словно тысячи волн во время шторма ударились о высокий крутой берег.

Это, оказывается, огромный осетр, подобно большому острову, поросшему лиственницей, всплыл наверх.

От его всплытия поднялись высокие волны, которые, переливаясь и пенясь, понеслись по реке от одного мыса к другому. Такие большие волны поднял осетр.

Вздыбившиеся волны, ударившись о берег реки, моментально смыли стоявшие у воды большие лодки и маленькие колданки. По берегам Оби словно промчался сильный шквал, крушащий все на своем пути.

– Ха-ха-ха! – засмеялся, хвастаясь своей силой, осетр. – Я на Оби самый сильный. Пластины моей стальной кольчуги самые крепкие. Если к ним прикоснется человеческая рука – вмиг рас-

секут надвое. А если попадется бревно, то и его моментально надвое распилят. Встретится лодка человека – я ее своей стальной головой в щепки раздолблю и осколки на расстояние семи поворотов реки, семи мысов закину.

– Кто на берегах реки может быть сильнее меня? – хвастаясь, спросил осетр.

Земля притихла, словно затаила свое дыхание.

Живущие в лесу четвероногие звери, обитающие в лесу двукрылые птицы, услышав такую угрозу, вздрогнули, попрятались и затаили дыхание.

– Ха-ха-ха, – опять похвастался осетр. – Я так и знал. Я – самый сильный. Я – непобедимый!

И осетру пришла в голову мысль: размахнусь-ка я еще раз своим могучим хвостом, ударю-ка я по воде и еще раз переверну мутные и глубокие воды реки.

Он хотел волнами, которые вздыбит своим мощным хвостом, смыть зверей, попрятавшихся в прибрежных лесах, и закинуть их в обскую пучину.

В это время со стороны обской кручи тихо-тихо проговорила маленькая елочка, которая еле-еле показала свою колючую головку из-под мягкого и влажного мха:

– Я сильнее тебя.

– Кто это там еле мямлет? Почему я не вижу тебя? Где ты? Могучий осетр повыше приподнял свою большую голову над поверхностью воды.

– Я, я, маленькая елочка. Я сильнее тебя, хвастливый осетр. Оскорбленный осетр не на шутку рассердился. И пришла ему мысль наказать эту глупую елочку, смыть ее волнами и закинуть до устья реки, где та впадает в ледяное море.

Самонадеянный осетр собрал свои силы и намеревался мощным ударом хвоста гребануть воды Оби и прикончить смельчака на берегу. Он так и сделал. Размахнулся могучим хвостом и рванулся в речные глубины.

Так, рассекая плотные струи воды, мчался осетр, оставляя за собой длинные жгуты.

Вскоре осетр слышит – вроде бы он стал легким. Оглянулся: стальные его доспехи, которые веками служили ему верой и

правдой, словно кто-то снял с него, и они погрузились в мутные глубины Оби.

Опять рванул воду своим хвостом осетр – но нет уже прежней силы, нет уже тех волн, которые все крушили на своем пути.

Вновь всплыл на поверхность воды осетр и огляделся, – оказывается, он стал величиной с маленький обрубок бревна.

Стыдно стало некогда могучему и всесильному осетру, и он с досады побыстрее погрузился в реку, подальше от глаз зверей, птиц и людей.

Плывя под водой, вдруг почувствовал, что запутался. Это он попался в сеть, сплетенную человеком из жил дерева, из грубых нитей ели. Стал рваться и метаться осетр, но еще сильнее запутался. И, обессилев, заплакал.

А в это время со стороны обской кручи донеслись слабые слова маленькой ели:

– Никогда своей силой не хвастайся, никогда своей мощью не бахвалься.

ЧЕЛОВЕК РОСТОМ С МИЗИНЕЦ

Жил-был Человек ростом с мизинец. Так его и звали. Жили с ним два брата и старшая сестра. Большую часть своего времени он проводил с авкой. Ох и ухаживал он за ним, ох и холил!

Однажды братья позвали его в море бить зверя.

Человек ростом с мизинец запряг своего авку и еще двух хоров. Братья, не дождавшись его, вскочили в свои нарты и умчались. Когда уехали братья, он зашел домой надеть теплые кисы – легкую меховую обувь – и попить на дорогу горячего чая.

У сестры его на среднем пальце золотое кольцо было.

– Брат, – говорит она, – поменяемся кольцами. Может, когда-нибудь тебе драться придется. Кости твои еще не окрепли, мышцы еще не налились силой. Уезжавшие в море редко домой возвращались. Много опасностей тебя там ждет. Через кольца мы будем друг друга помнить.

Кольцами обменялись. Человек ростом с мизинец помчался на нарте дорогой старших братьев.

Долго ли, коротко ли ехал – к морской косе выехал. Огляделся и видит: слева женщина стоит, навесившая на уши вместо серег ягоды спелой морошки.

– Человек ростом с мизинец! – говорит она. – Здравствуй! В плохую сторону путь держишь. Кости еще не окрепли, мышцы еще силой не налились. Ездившие туда в беду попадали, многие обратно не возвращались. Что бы тебе дать?

На среднем пальце у нее переливалось золотое кольцо.

– Обменяемся кольцами, – говорит женщина и протягивает ему свое кольцо. – Когда-нибудь тебе кулаками драться придется. Долго ли, коротко ли проездишь, если останешься жив, не забудь меня, наведайся.

Только успела она сказать это, как тут же исчезла, только голая земля под ногами лежит.

Тронулся он дальше. Выехал на берег моря. Братья его уже на льду охотятся, тюленей добывают.

Человек ростом с мизинец дальше братьев в море поехал и стал тоже охотиться. Добыл одного тюленя. Но тут вдруг такой туман опустился, что не видать вытянутой руки.

Хотел он разделать тюленя, но подумал: «Вдруг братья уже домой собрались. К ним поеду».

Бросил тюленя на нарту и направился в ту сторону, где братья охотились. Подъехал, а там только следы нарт и остались. И тут заметил он, что льдину от берега оторвало и в открытое море гонит. Когда рассеялся туман, он едва лес на берегу разглядел через широкую полоску воды.

Человек ростом с мизинец распряг авку и говорит ему:

– Ты хотя бы весть братьям и сестре отнеси. Умру, так умру. Долго ли, коротко ли здесь пробуду, вернусь, если живым останусь.

Авка прыгнул в воду и, отплыв на расстояние броска аркана, вернулся обратно. Положил голову на кромку льда и говорит:

– Вода теплом сильно отдает. Садись ко мне на спину: умрем, так пусть вместе. Вода теплая, не замерзнем.

Человек ростом с мизинец поцеловал авку и отпустил. Олень отплыл на расстояние броска аркана и опять вернулся. Голову положил на кромку льда и говорит:

– От чистого сердца прошу тебя. Садись ко мне на спину. Умрем, так пусть вместе умрем.

Опять отпустил он авку. Отплыл олень на расстояние полета стрелы и вновь вернулся. По грудь в воде плавает и говорит:

– Умрем, так пусть вместе умрем. Зачем тебе мучиться?

– Нет! – отвечает Человек ростом с мизинец. – Не доплыть нам вдвоем до берега. Между землей и водой ты обессилеешь. Лучше уж ты один плыви, отнеси домой весточку.

Авка развернулся и, рассекая грудью воду, поплыл к берегу, который виднелся тоненькой ниточкой. Вскоре олень исчез, словно растворился в воде.

Остался Человек ростом с мизинец в открытом море без еды и воды. Пришлось заколоть двух оставшихся ездовых оленей. Прошло время, кончилось мясо. Человек и добытого им тюленя съел. Начались голодные дни, не одну ночь и не один день провел он без воды и пищи. А льдина, на которой он находился, с каждым днем становилась все меньше и меньше. Вскоре совсем маленькой стала – наверно, десяток оленей едва поместится.

Однажды в полусне слышит он, что кто-то шепчет ему в ухо: «Человек ростом с мизинец, вставай. Два корабля приближаются. Если от них отстанешь, других кораблей больше не будет».

Он, испугавшись, вскочил, огляделся – кораблей нигде не видать. «Откуда ночью быть кораблям?» – подумал он и снова улегся спать.

Вскоре опять кто-то в ухо шепчет: «Человек ростом с мизинец, вставай! Опять два корабля приближаются. Если от них отстанешь, кораблей больше не будет».

Вскочил он, огляделся по сторонам и опять ничего не заметил. «Темной ночью откуда быть кораблям?» – подумал и снова лег на нарту.

Чуть было уже не заснул, как слышит: «Если и от этих кораблей отстанешь, ни один больше не проплывет здесь».

Человек ростом с мизинец опять вскочил. На востоке уже утренняя заря разгоралась. Оттуда и выплыли два корабля.

«А что, если, – подумал он, – отойти на край льдины, разбежаться и прыгнуть на идущий корабль? Умру так умру – что больше делать?»

Так он и поступил. Собрал все свои силы, разбежался, прыгнул и пальцами еле-еле ухватился за смолистый борт второго корабля. Саженей триста, наверное, пролетел по воздуху. Поднялся на корабль, зашел в каюту. В каюте одна только женщина сидит. Она его накормила, напоила чаем. Разве жалко еды пришедшему человеку?

Долго ли коротко ли так прожили, но однажды утром смотрит Человек ростом с мизинец, – а у женщины голова вдруг стала большой и лохматой, словно на ней распушились снопы.

– Зачем на меня сердишься? – сказал Человек ростом с мизинец. – Что ты задумала? Неужели убить меня хочешь?! Сколько мы ехали, сколько мы жили, никогда такого не было.

– Ты ведь не знаешь, – отвечает женщина, – где ты находишься. Это ведь корабли морских уток-чернети. На впереди идущем корабле их царевна плывет. До нее слух дошел, будто бы я сына родила. Она к нам собирается – тебя посмотреть. Скоро здесь будет. Чернети свяжут тебя... Что мне с тобой делать?

Скоро скрипнула дверь, распахнулась. Человек ростом с мизинец случайно в распахнутую дверь направил палец с золотым кольцом. И царевна чернетей тут же упала. «Кольцо-то волшебное!» – обрадовался он и вытянул палец с кольцом в сторону впереди идущего корабля. Тот сразу же вспыхнул. Царевна чернетей присмирела и вскоре уснула крепким сном.

А женщина ему говорит:

– Если бы ты волшебства не имел – схватили бы тебя чернети и съели. Пока мы ехали, не один человек смерть свою так находил, не одного человека чернети так погубили.

Долго ли, коротко ли так ехали – кто знает. День рождавшийся рождался, день засыпавший – засыпал. Настал штиль. Нигде земли не видать, кругом вода, покуда глаз хватает.

Однажды Человек ростом с мизинец вышел на палубу. Рядом с кораблем плыла большая коряга, словно дом огромный. Подумал тут: «Этот корабль меня в землю чертей везет. Неизвестно еще, что меня там ожидает. Край родной далеко позади остался. Что мне в их краях делать? Если прыгну на эту корягу, может, ветром меня к берегу моря прибьет. Если разбегусь, допрыгну до нее».

Человек ростом с мизинец собрал все свои силы, сжался, словно пружина, разбежался и прыгнул.

Стало носить корягу по всему морю. Откуда подует ветер, туда и несет. Вот уже с месяц прошло, наверное. За это время во рту кусочка еды не было.

Вскоре слышит сквозь сон – к берегу его прибило. Он открыл глаза и вылез. На песке, заметенном снегом, видит следы то ли человека, то ли черта. Следы размером с хуван, наверно. Неподалеку из лесу на берег ложбина спускается, в ней ручей течет. Рядом куча дров лежит.

Человек ростом с мизинец совсем обессилел, еле ногами передвигает. «Что делать ослабевшему человеку? – думает он. – Лучше уж умереть в этой куче дров. Залезу меж щелей и спокойно умру, хоть кости на месте останутся, птицы прожорливые не растащат».

Он отыскал узкую щель в дровяной куче, залез в нее и впал в забытье.

На утренней заре услышал он шум и треск; кто-то ехал за дровами. Показалась оленья упряжка и завернула к куче дров. За первой нартой подошла вторая. Приехали на нартах двое женщин.

Человек ростом с мизинец думает: «Если отстану от этих нарт, то я здесь наверняка умру. Как бы мне залезть на нарту?»

Женщины стали загружать нарты дровами. Когда дров осталось совсем мало, увидели его.

– Что лежит?!

– Куль! Черт! Людоед!

Одна женщина, крича и плача, вскочила на нарту, дернула вожжу. Другая не успела как следует завязать дрова, растерялась и, не зная, что делать, закричала:

– Черт! Черт меня вот-вот сожрет! Кой-кой! Едят меня!

Человек ростом с мизинец думает: «Если соберусь с силами, залезу на эту нарту, может, и не умру еще. Здесь останусь – наверняка погибну».

Он потихоньку подполз и вскарабкался на нарту. Женщина пуще прежнего заголосила. В беспамятстве плюхнулась на нарту, просвистела хореем и погнала оленей. Так гнала, что упряжные чуть из кожи не вылезли. К чумам подъехала и, бросив оккел – вожжи, кинулась домой.

Из чума послышались голоса.

– Ты что так кричишь?

– Черта увидела! В нарту уселся!

– В нарте сидит? Дайте мне костяную колотушку. Я пойду посмотрю. Вышел мужик на улицу, подошел к нарте. Схватил Человека ростом с мизинец за тесемку малицы, приподнял.

– Когда-то, – говорит мужик, – он человеком был. А теперь – один скелет, одна тень осталась. Далеко от нас живут низкорослые ханты. Из тех краев этот человек к нам попал. Заблудился он.

Мужик обернулся к дочери и сказал:

– Если он вновь станет человеком, считай, что мужа себе нашла. В твоих он руках. Ухаживай за ним.

Место ему в чуме приготовили, постелили новую циновку и белую оленью шкуру.

Что с волшебным человеком случится? Конечно, он выздоровел. Опять стал ловким и сильным. Из пяти неблюевых шкурок сшили ему малицу, кисы с семью полосками узоров смастерили.

В один из дней тесть его в дорогу засобирался.

– Сегодня я тоже, – сказал Человек ростом с мизинец, – стадо пасти пойду. Когда-то и я оленей пас.

Приехали на пастбище.

– В этой земле, – говорит тесть, – когда пасешь стадо, понапрасну не броди. К моему изголовью не приближайся: я сильно пугаюсь во сне.

Тесть в теплой малице разлегся на нарте и захрапел. Человек ростом с мизинец, забыв совет тестя, думает: «Посмотрю-ка я, что у него в изголовье имеется».

К изголовью тестя потихоньку подкрался, видит – там железная трость на лосиной шкуре лежит.

«До чего хорошая трость! Не взять ли мне ее в руки?» – думает он.

Только хотел ухватиться за трость, как тесть вздрогнул и тут же проснулся.

– Я же наказывал, – сказал тесть, – не подходить к моему изголовью. Пуглив я во сне. И трость мою не бери.

Человек ростом с мизинец отпрянул в сторону и как ни в чем не бывало зашагал дальше. Стал он бродить по пастбищу и сторожить стадо. Утром они вернулись в чум.

Вечером Человек ростом с мизинец один собрался на пастбище. Тесть ему говорит:

– Земля эта опасная, понапрасну вокруг стада не броди. Утром вернись обратно. За пастбищем мыс далеко в море выдается. Не ходи туда. Там много людей погибло. Уж очень коварный этот мыс. Упадешь – нам и костей твоих не собрать.

Человек ростом с мизинец разве послушается? Когда рассвело, он обошел стадо и стал бродить вокруг, осматривая местность. И в самом деле, далеко в море выдавался мыс. Крутым и обрывистым был.

Кое-где земля вся вытоптана, кровью человеческой залита. Наверно, много раз здесь люди сражались. Но наш человек никого не увидел. Вернулся домой, поел и лег спать. На следующее утро он и говорит тестю:

– Я тоже свою землю имел, я тоже свою воду имел. Родину свою видел во сне. Она, оказывается, недалеко.

Тесть, слушая его, опустил голову. Сидел так, пока трубку не выкурил, а затем сказал:

– Человек разве останется в той земле, где нашел женщину? Родину свою, какой бы ни была, разве забудет? До твоей земли не слишком далеко: лето и зиму на оленях надо проехать. Только твой путь нелегок. Ты, конечно, дороги не знаешь. До границ твоей земли, так и быть, тебя проводят.

Перед отъездом устроил тесть проводы. Ели-пили на славу!

Когда закончился пир, Человек ростом с мизинец вышел на улицу. Около чума стояло наготове тридцать запряженных нарт. Стали собираться в дорогу. Вещи жены едва уместились на тридцати нартах. Старший сын тестя ехал с ними проводником. Тесть сказал на прощанье:

– Зять мой, пока не скроются чумы, ты назад не оглядывайся.

Но Человек ростом с мизинец разве послушается? Еще не скрылись чумы из виду, он оглянулся назад и увидел: стадо, тянувшееся за ними, собаки разогнали. «Ладно, мне и этого хватит, чтобы безбедно прожить», – подумал он.

Впереди едет старший сын тестя, дорогу показывает. Провожая, тесть наказывал быть осторожными, попусту не останавливаться, переночевав, сразу дальше ехать. «Места опасные, – предостерегал он. – Убить могут».

Так они и едут. Переночуют – и снова в путь. Кончилось лето, и когда наступила зима, проводник их говорит:

– Дом мой далеко позади остался. Может, дома беда какая-нибудь приключилась, пока я здесь. До границ твоей земли доехали. Дальше сами езжайте. В разных чумах не останавливайтесь. Места опасные. Убить вас могут, если надолго задержитесь.

Человек ростом с мизинец дальше поехал один со своей женой.

Миновала зима. Настала середина лета. Однажды показались чумы. Остановились у одного, вокруг которого стояло с десяток распряженных нарт. В чуме пир шел. Все были пьяны. Люди из чума высыпали на улицу. В гости зовут. Помогли упряжку распрячь. А их стадо смешалось с оленями стойбища.

Оказалось, что эти люди – слуги царя-батюшки, стада царевы пасут. А сегодня они день рождения царя праздновали. Посадили они гостей за стол и стали угощать. Жена нашему человеку на ухо шепчет:

– Сильно много не пей. Кто знает, что у этих людей на уме? Но разве можно за здоровье царя-батюшки не пить?

Минула неделя, вторая. На третьей неделе Человек ростом с мизинец потерял сознание. Не помнит, то ли сверху, то ли снизу небо проплыло.

Когда он очнулся, почувствовал страшный холод. «Почему я так мерзну?» – подумал он. Захотел сесть, да не смог. Живот будто огнем обожгло. Поднес руку, пощупал. Живот, оказалось, кто-то вспорол и все внутренности на землю выбросил. Человек ростом с мизинец, превозмогая боль, их обратно сложил. Послюнявил пальцы и провел ими по животу. Раны как не бывало. Даже следа не осталось. Огляделся вокруг. Оказывается, его в костер бросали, весь он золой вымазан. Смотрит – ни чумов, ни людей не видать. Один в зимнем лесу. Одежда на нем почти вся сгорела, остались только изодранные штаны.

Встал на ноги. Куда ни пойдет – везде пустота, нигде ни души. Куда идти? И он пошел куда глаза глядят, куда ноги несут.

Долго ли, коротко ли так шел – и вот вышел на огромное высохшее болото. Видит: посредине болота бежит резвый олень. Пригляделся получше – узнал своего авку. Окликнул его. Авка, узнав хозяина, подбежал. Человек ростом с мизинец смотрит – ошейник весь поистерся, выцвел. На шее обрывки веревок болтаются. Авка положил голову на плечо хозяина и говорит:

– Пеший скоро ли доберешься до родного порога? Садись ко мне на спину.

Человек ростом с мизинец сел авке на спину. Долго ли, коротко ли ехал – дом родной показался. Братья и сестра на прежнем месте живут. Он постучался в дверь и попросил, чтобы ему подали одежду. Одевшись, зашел в дом. Потом рассказал им о своих приключениях.

Дома и стены, и воздух помогают. Скоро Человек ростом с мизинец совсем здоровым стал, крепким, как прежде. Поправившись, взял с собой лук и полный колчан стрел, уселся на своего авку и отправился врагов искать, которые чуть его не убили. Выследил их в густом лесу, на опушке среди семи холмов. Темной ночью всех перебил. Возвратился домой.

В это время до царя весть дошла: мол, есть Человек ростом с мизинец, никто его одолеть не может – он слуг царя перебил, чуть царевну чернетей не умертвил.

И шлет царь наказ Человеку ростом с мизинец прибыть к нему.

Куда деваться, коль царь велит? Явился к нему.

– Царь-батюшка, зачем меня звал?

– Как зачем? – говорит царь. – Тайна одна неразгаданная есть. Кого ни просил, никто мою просьбу не выполнил. Если ты и в самом деле волшебник – раскрой мне эту тайну.

– Что за тайна?

– Тайна такая. Посредине моря остров вращается. Если тот остров мне не доставишь – не сносить тебе головы.

Что поделать: коль царь послал, надо идти. Отправился за город. Уви дел тропинку и пошел по ней. Вышел на песчаную косу моря. Осмотрелся и видит: слева стоит седобородый старик.

– Человек ростом с мизинец, внучек мой! – говорит он. – Куда идешь? Каким зверем, какой рыбой тебя занесло сюда?

– Да вот, дедушка, шел-шел и пришел сюда.

– К плохому месту путь держишь. Многие сюда приходили, но никто еще вращающийся остров взять не смог. Простым людям остров разве под силу? Только из жалости к тебе раскрою секрет. Тропинка тебя к берегу моря выведет. Покажется вращающийся остров. Он так крутится, что глазам не видно. Вращаясь, остров к берегу подойдет. Когда он окажется напротив тебя, быстрее шагай к нему – он в это время остановится ненадолго. А ты не зевай, хоть топором, хоть ножом отколи от острова кусочек. Этот кусочек в зале у царя на пол брось, и он превратится в остров, а пол до колен водой зальет. Вот и вся тайна.

Только сказал старик это, как тут же исчез, словно никогда и не было. Человек ростом с мизинец зашагал дальше. Пришел на берег моря. Действительно, посредине моря остров вращается. Да так, что сразу и не заметишь. Вот остров приблизился к берегу, остановился. Человек ростом с мизинец по воде побежал и стал острым ножом кусок откалывать. Так и сяк пытается, но ничего не выходит. Рубаха и брюки от пота к телу прилипли, пока отколол все-таки. Положил человек осколок в карман, и остров вновь завращался. И сейчас, наверное, вращается. А Человек ростом с мизинец прежней дорогой отправился к царю-батюшке.

Царь к его приходу собрал столько людей, сколько могло вместиться в зале его дворца.

– Ну что? Принес ли мне остров?

– Принес.

– Раз принес – покажи народу. Пусть люди посмотрят.

Человек ростом с мизинец вышел на середину зала и бросил осколок на пол. Пока он возвращался на место, пол водой залило до самых колен. Осколок превратился в остров и завертелся. А народ смотрит на это чудо и глаз оторвать не может. Наконец царь сказал:

– Хватит! Останови остров. Надоело смотреть.

Человек ростом с мизинец шагнул на середину зала, взял вращающийся островок, опять превратившийся в осколок, и засунул в карман. Нет острова, нет воды.

– Ну как? – обратился он к царю. – Еще какую тайну имеешь?

– Какую еще тайну имею... – задумался царь. – А вот какую...

В какой-то земле, говорят, трехплечистый железный лук есть. Если этот железный лук не принесешь, то шею твою на бревне, как соломинку, перерубят. Если ты волшебник – доставь мне этот лук.

Слово царское разве преступишь? Опять Человек ростом с мизинец тронулся в путь. Пошел по прежней тропинке. Видит – стоит старик с бородой, поседевший, как ягель. Спрашивает его старик:

– Человек ростом с мизинец! Какой рыбой, какой птицей занесло тебя в эти края? Кости твои еще не окрепли, мышцы еще силой не налились. К плохому месту путь держишь. Сколько сюда людей не ходило, лук железный никому еще не удавалось достать.

– Меня царь послал. Если не принесу ему этот лук, голову мне отрубят.

– Что поделать? Из жалости к тебе раскрою секрет. Слушай. Пойдешь по этой тропе дальше. Когда коса позади останется, увидишь обвалившуюся кручу. Там, наверху, железный лук стоит, тремя плечами в землю вошел. От какого-нибудь плеча отломи кусочек. Вот и весь секрет.

Только старик сказал это, как тут же исчез, будто и не было.

Человек ростом с мизинец дальше пошел. Подошел к обвалившейся круче. Увидел наверху трехплечистый железный лук. Вот он стал рвать то одно, то другое плечо, но лук никак не поддается. По лицу пот ручьями бежит, от рубахи пар валит. Наконец отломил кусочек. Засунул его в карман и поспешил обратно.

А царь больше прежнего людей созвал. Камешку негде упасть.

– Ну как? Принес или не принес? – спросил царь.

– Принес.

– Покажи тогда. Пусть народ полюбуется.

Человек ростом с мизинец вышел на середину зала, вытащил из кармана кусок лука и бросил на пол. Сразу же на полу вода появилась, поднялась до колен. Потом вода будто вскипела, взбурлила. Это там нельма и осетры заплескались. Смотрит народ на это чудо, насмотреться не может. Вот царь, не выдержав, говорит:

– Просто смотреть – какой толк?! Свежую рыбу надо поймать. Царь зашагал по воде, поймал с трудом нельму. Человек ростом с мизинец ту рыбу взял и сказал людям:

– Он тощую, еле живую рыбу поймал.

Стыдно стало царю. Разозлился он и говорит Человеку ростом с мизинец:

– Завтра с тридцатью солдатами на корабле отправишься в путь. В сторону востока. Сколько кораблей ни посылал, ни один обратно не возвращался. В той стороне, говорят, растет железная береза, охраняющая живую воду. Если эту железную березу мне не доставишь, не посадишь под моим окном, берегись тогда. Твою шею на бревне, как соломинку, рассекут.

Опять пришлось собираться в дорогу.

Наступил новый день. Корабль уже стоял наготове, покачиваясь на волнах. Тридцать солдат на палубе дожидаются. Человек ростом с мизинец пришел на корабль, и они отправились в путь.

Долго ли, коротко ли плыли – семь морей осталось позади. И вот показалось огромное черное море. Вода в море плескалась и кипела. Посредине моря – страшный водоворот. Огромные льдины, наскакивая, так и затягивают под воду. У водоворота корабль остановило, завертело на месте. Человек ростом с мизинец приказал стать на якорь. Корабль сразу перестало кружить. Человек ростом с мизинец тогда зашел в каюту, положил ладони на голову и крепко заснул.

А льдины на море все тянуло и тянуло под воду.

Человек ростом с мизинец, проспав три дня, проснулся и стал одеваться. Надел на себя специально приготовленную одежду, вышел из каюты и сказал:

– Долго ли, коротко ли прохожу – не знаю. Ждите меня здесь. Без меня никуда не уезжайте.

Затем он по якорному канату спустился под воду. Дошел до дна. Огляделся. Неподалеку увидел город, построенный изо льда. Город большой, конца и края не видно. Посредине города – трехэтажный ледяной дворец. «Наверное, там хозяйка подземного царства живет», – решил он и направился ко дворцу.

– Человек ростом с мизинец! – сказала хозяйка. – Как добрался сюда? По воде или по земле?

– Меня царь послал. Вот я и явился.

Царевна спустилась вниз, провела его во дворец. Сколько дверей прошел – не сосчитать. Невнимательный человек обратную дорогу и не найдет. Царевна накормила, напоила его.

– Скоро ли водоворот в море прекратишь? – спрашивает наш человек царевну.

– То не от меня зависит, – отвечает она. – Я еще три лета и три зимы буду затягивать льды под воду. Отца моего надо спросить. Только он может водоворот остановить. Мои мальчики тебя проводят. Когда приедешь к отцу, не забудь их погладить по голове и поцеловать, а затем отпусти...

Вот Человек ростом с мизинец уселся на ледяную нарту. Мальчики прошли сквозь стену дворца и помчали его. Человек слышит только, как вода за ушами журчит да свистит ветер. Так быстро он едет. Приехали вскоре. Б дом вошли. Там старик сидит в горностаевой шубе.

– Внучата мои, – сказал он, – что за весть доставили?

– Человека к тебе привезли. Какую новость имеет, какой разговор, он сам расскажет.

– Человек ростом с мизинец, – обратился к нему старик, – здравствуй! Какое горячее дело тебя сюда привело? И на чем добрался ты в эту землю?

Человек ростом с мизинец погладил по голове мальчиков, поцеловал их и отпустил. Затем сказал старику:

– Где-то в этих землях железная береза растет. За ней царь отправил меня. А корабль мой в море водоворот задержал. Скоро ли водоворот остановишь?

– Да-а. Кости у тебя еще не окрепли, мышцы еще не налились силой. Из жалости к тебе, наверное, прекращу водоворот. На три дня. Успеешь за три дня обернуться – значит, вернешься. Не успеешь – значит, погибнешь.

Старик приподнял одну полу шубы – из священного угла вылетели стаи птиц. Приподнял другую полу – выплыли косяки рыб. Запахнул шубу – и птицы, и рыбы исчезли.

– Нелегкое дело тебе предстоит. У меня, может, эту березу и сумеешь выкрасть. Только одолеешь ли зверей лютых? Железную березу семь свирепых обезьян с семи сторон охраняют. У каждой – острая сабля. Идущий с неба – не ускользнет от них.

Идущий по земле – не ускользнет от них. Идущий с воды – не ускользнет от них. Может, у семи свирепых обезьян березу ту чудом утащишь. Но кроме них дерево морское чудовище сторожит, спина у него в острых зубцах – и дерево, и железо надвое разрезают. Как ускользнуть от этого чудовища – сам не знаю. Вот сколько опасностей тебя поджидает...

И тут же со стороны священного угла прежние мальчики появились. Старик сказал на прощанье:

– Ты мою дочь, царевну морскую, когда уходить будешь, поцелуй. Она волшебство имеет. Трудно тебе придется, вспомни о ней, она поможет тебе.

Человек ростом с мизинец поблагодарил старика. Сел на ледяную нарту. И опять, как прежде, за ушами только вода журчит и свистит ветер. Прибыл он вскоре к царевне. Встал с нарты и поцеловал ее.

– Если вспомню тебя, – сказал он, – пусть твоя помощь рядом со мной окажется.

Погостив у царевны, Человек ростом с мизинец в путь тронулся. Всплыл и поднялся на свой корабль. На море водоворот исчез уже и дул свежий попутный ветер,

Корабль поплыл дальше. Долго ли плыли, коротко ли – и вот показалась береза. Вокруг березы сидят семь обезьян и стерегут ее. Каждая в руках острую саблю держит.

«Если моя сказка дальше пойдет, – подумал Человек ростом с мизинец, – пусть они как сидят, так и уснут».

Корабль пристал к берегу. Тридцать солдат построили мост. Человек ростом с мизинец на берег вышел. Обезьяны как сидели, так и уснули.

– Принесите скорее пилы, – сказал он солдатам. – Спилите железную березу.

Солдаты взялись за работу. Семь пил пришлось заменить, семь раз пришлось их подтачивать. Наконец спилили березу.

– Солдаты! – сказал Человек ростом с мизинец. – На корабль тащите эту березу, поставьте ее вместо паруса.

Тридцать солдат так и сяк пытаются поднять березу, но не могут.

– Ий-я, эй-я! – усмехнулся Человек ростом с мизинец. – Хлеба, наверное, мало ели. Время идет! Поторопитесь-ка!

Опять натужились солдаты, семь потов их прошибло, но никак не могут поднять железную березу.

Тогда Человек ростом с мизинец подошел к березе, приподнял и закинул ее на плечо, понес на корабль и установил на корабле вместо паруса.

Подняли паруса, и корабль поплыл назад. А семь обезьян так и остались спать крепким сном.

На море не было водоворота, и опять дул попутный свежий ветер. Оставались позади моря, вокруг корабля хохотали и пенились волны. Однажды посредине моря вдруг разверзлась вода. Выплыло огромное морское чудовище и погналось за кораблем. Спина его вся была покрыта стальными зубьями. Чудовище, словно аркан, тянулось к кораблю, вот-вот проглотит.

Человек ростом с мизинец вышел на палубу и уставился на морское чудовище. «Хотя и съешь ты меня, – подумал он, – разве насытишься? Так, пожирая людей, ты ведь беззубым станешь. Если не хочешь этого – поверни обратно».

Прошло немного времени, и чудовище, словно подслушав его мысли, повернуло назад.

А корабль, поднимая серебристые брызги, вспенивая воду, спешил домой. Вблизи царской столицы, огибая мыс, наскочил корабль на подводный камень и раскололся надвое. Все тридцать солдат утонули. Только Человек ростом с мизинец в живых остался.

Человек ростом с мизинец взял железную березу, сошел с ней на берег и посадил на высоком голом мысу. Затем явился к царю.

– Ну как? Привез или нет железную березу? – спросил царь.

– Привезти-то привез. Только несчастье случилось. Корабль потерпел крушение. Все тридцать солдат утонули.

– А береза где? Где береза?

– Береза вон, из окна виднеется. На мысу стоит.

– Хорошо. Не беда, что тридцать солдат утонули. Главное – береза доставлена. Только почему там посадил? Я же говорил тебе: посадить березу под моим окном. Иди и посади ее здесь!

Человек ростом с мизинец отправился к мысу, вырвал березу, принес и посадил под царским окошком.

– Ну как, царь-батюшка, – говорит Человек ростом с мизинец, – еще какую тайну имеешь?

– Тайну какую... Сейчас принесут бочку, положат тебя внутрь, заколотят крепко, просверлят в ней дыры и сбросят тебя в море. Попробуй-ка вернуться обратно?!

Как сказал царь, так и сделали. Выбросили Человека ростом с мизинец в бурное море. Закачавшись на волнах, он сразу же вспомнил о своем волшебном кольце. Направил кольцо на дырочки в бочке, и их вмиг затянуло.

Долго ли, коротко ли носило его по морю – вот слышит он: прибило его к берегу. Человек ростом с мизинец напрягся, стукнул кулаками по бочке, и та рассыпалась. Он вышел на берег и увидел вдалеке столицу царя, окутанную синей дымкой.

И опять Человек ростом с мизинец явился к царю:

– Ну как, царь-батюшка, еще какая тайна есть у тебя?

Царь долго смотрел на него, будто глазам своим не верил. Потом сказал:

– Есть у меня еще одна неразгаданная тайна. Береза, что ты принес, чудо имеет: день наступит – корнями растет, ночь наступит – корнями растет. Да и распускается корнями в землю.

Человек ростом с мизинец снял с себя выдровую шапку-ушанку и рассмеялся:

– Если мудрости и ума, царь-батюшка, не имеешь, то пусть тебя в бочку посадят и сбросят в море. И попробуй вернуться обратно!

Сказал царь:

– Не делай этого. Коль денег надо – дам тебе денег, коль оленей хочешь – бери, сколько надобно.

– Не надо мне ни денег, ни оленей.

– Что же тебе надо?

– Ничего мне не надо, царь-батюшка, кроме свободы! Отпусти меня.

– Дам я тебе свободу в обмен на твою мудрость.

– Это не моя мудрость, царь-батюшка. Это мудрость народа. Вот у него и проси.

Вернулся Человек ростом с мизинец в свои родные края, к братьям своим и сестре. Говорят, женился он на красавице с сережками из ярко-спелой морошки. Я думаю, и сейчас еще они живут-поживают.

МЛАДШИЙ СЫН ЦАРЯ

1

Давным-давно в далекой неведомой земле жил и правил один царь. Много веков прошло с тех пор. За это время немало рождалось и умирало людей, немало появлялось на свет и погибало лесных зверей и обитателей подводных жилищ.

Большими богатствами владел царь и имел могучее войско. Когда собирал свою рать, то воинов стояло больше, чем в лесу деревьев и звезд на небе.

Состарился царь, от полученной раны во время походов захромал на одну ногу и стал плохо слышать одним ухом. Подобно голове лесного орла, поседел, подобно засохшим к осени стеблям соломы, ослабели его ноги.

Было у царя три сына. Старшего звали Опунем, среднего – Калоем, самый младший звался Таветом. Сыновья его с детства имели страсть к охоте. Ладони их правых рук словно приросли к лиственничным лукам, а пальцы левой руки не отнимались от тугой тетивы.

Однажды братья на охоте ранили семигодовалого лося-рогача и стали преследовать его. Коротким оказался для них осенний день. Переночевав в лесу, утром вновь поскакали на своих резвых конях по следу.

И вот вышли на широкую поляну и видят: растерзанный лось лежит на земле, а рядом с ним устроили трапезу медведица с двумя медвежатами.

Старшие братья Тавета тут же схватились за упругие луки, приложили к тетивам острые стрелы и стали прицеливаться в медведицу.

– Стойте, братовья! – крикнул тут неожиданно Тавет, соскочив с лошади и встав перед ними. – Что вы делаете?! Что же станет с медвежатами? Зазря помрут в лесу несмышленые малыши!..

Видя, что братья не обращают внимания на его уговоры, он громко вскрикнул:

– О, Священная медведица! О, сот хоятпи ляль! Убегайте скорей-скорей со своими малышами. Вы на волоске от смерти!..

– И, обернув шись к братьям и подставив грудь, добавил: – Бессердечные!.. Вы лучше меня убейте...

Медведица, услышав человеческий крик, недовольно рявкнула и шмыгнула с детенышами в густой кедровник.

Старшие братья, огорченные неслыханной дерзкой выходкой Тавета, плюнули на землю и, презрительно взглянув на него, враз заговорили:

– Безмозглый! Никогда больше не возьмем на охоту. Не только ноги, дыханья твоего и мыслей не будет с нами.

Братья от злости стегнули плетьми своих резвых коней и помчались домой.

Тавет уселся на замшелый пень рядом с каурой лошадью и задумался.

Долго ли, коротко ли сидел, как вдруг услышал: неподалеку что-то затрещало. Оглянулся и видит: из-за высокой лохматой ели вышла старая медведица, встала на задние лапы, вырвала у себя один клык и положила его на ствол поваленной лиственницы. После этого она опять встала на дыбы и, на прощанье помахав лапами, пустилась в дремучий лес.

«Что это означает?» – подумал Тавет и, подобно тонущей в глубокой реке сети, погрузился в свои мысли.

Но природа семь таинств и семь непредвиденных мудростей имеет... Произошло неожиданное. Лес словно расступился, и по мягкой ковровой дорожке из оленьих шкур подошла к нему стройная лесная фея Мошнэ. Она была в шубе из горностаевого меха, в шапке-совике из соболя, на ногах переливались красотой узорчатые кисы в семь полос. Фея остановилась шагах в семи от него, прислонилась к белокорой стройной березе и звонким голосом сказала:

– Ты настоящий юноша. Я слышала твои добрые слова. В знак благодарности медведица отдала тебе один клык. Если будет когда-нибудь тяжело в твоей жизни, вспомни о нем. И нужные мысли быстрокрылым коршуном прилетят в твою голову. Знай: клык волшебный!..

В это время раздался недалеко грозный рев медведицы, Тавет вскочил и оглянулся. Мошнэ как не бывало. Только солнце своими теплыми лучами арканило верхушки деревьев и все быстрее разгоняло свою золотую нарту.

Тавет не спеша направился к поваленной лиственнице. Взял клык медведицы и, внимательно разглядывая, повертел в руках. Затем вытащил их чехла сёхар (нож с узким лезвием), просверлил на кончике клыка дыру и надежно привязал его кожаной тесемкой к широкому ремню. Постояв недолго, Тавет задумчиво направился к лошади, ловко вскочил на ее широкую спину и поскакал домой.

С этого времени он, пускаясь то ли в короткую, то ли в дальнюю дорогу, не расставался с привязанным к ремню волшебным клыком медведицы.

2

Однажды, когда солнце, звонко подтачивая своими лучами-оселками день, поднялось на высоту с пастушеский хорей над дальним синеющим лесом, хромоногий и одноухий царь созвал к себе своих сыновей.

Сидя на постели из росомашьих шкур, отогнув одно ушко своей выдровой шапки, царь острым взглядом уставился на сыновей и издалека повел разговор, словно спускался с вершины огромного сора, огибая один выдававшийся мыс за другим.

– Долгую жизнь я прожил, – начал он разговор с сыновьями. – Много земель к своим владеньям присоединил. Огромным стало мое царство. В одном краю снег глубокий лежит, а в другом – дожди льют. Здесь пурга зубоскалит, а там вода в реках и озерах лоснится жиром. Изучил я свои обширные владения. Не знаю лишь мест, что к северу лежат от моего царства. Сколько ни снаряжал кораблей, ни один не возвращался, никто вестей не приносил. Может, уезжавшие со счастьем там обручались, а может, смерть находили. Возможно, солнце и месяц только и видели их оборвавшийся след. Напоследок вас хочу отправить в эту сторону. Речь мою слышит священный огонь. Его глазами клянусь. Кто возвратится с вестями из этих краев таинственных, царство свое ему отдам.

Старшие сыновья, услышав такое от отца, заволновались, словно лишились разума, и глаза у них вспыхнули огнем. Сыновья проворными белками подпрыгнули к отцу и враз заговорили:

– О, наш умный отец и всесильный царь! Наши острые стрелы и плечистые луки давно покрылись пылью, а в ножнах ржа-

веют лезвия сабель. Высокочтимый царь, мы оба готовы ехать хоть сейчас...

Сыновья поправили на поясе ремни, пощупали рукояти ножей из бивня мамонта, опустили вниз свои головы, словно лесные орлы перед взлетом, затем резко взметнули вверх свои курчавые копны волос.

Царь, держа в руках золотую трубку и накладывая в нее табак из кисета, сказал:

– Хорошо. Пусть едет вначале старший брат Опунь. А мы пожелаем ему удачной дороги и будем ждать от него добрых вестей.

3

Старший брат Опунь тут же побежал на свой корабль и стал в спешке давать распоряжения команде, чтобы подготовить судно к скорому отплытию. Уже на второй день двухмачтовый корабль Опуня вместе с отборными тридцатью воинами поднял свои паруса и отправился в путь.

Царь стал дожидаться возвращения сына. Пять раз рождался на небе месяц, выводки утят уже поднялись на крыло и улетели в теплые края, а от Опуня не было вестей. Словно иссякшее дыхание догоревшего костра, навечно потерялся он.

Недолго думая, царь шлет в дорогу среднего сына. Тот также в спешке собрался и с семьюдесятью отборными воинами отправился на своем корабле в путь.

Долго ли, коротко ли ждал царь – нет вестей и от среднего сына. За это время вода рождалась и умирала, река покрывалась льдом и очищалась от него. Средний сын Калой, словно ветер утихший, исчез, словно лед растаявший – растворился.

4

И вот однажды утром, когда солнце начало своей широкой ладонью гладить еще сонную грудь земли, одноухий и хромоногий царь позвал к себе младшего сына. Состарился царь за время ожидания своих сыновей. Голова его стала ягелю подобной, а на лбу, словно связки арканов, лежали извилистые морщины.

Царь, прихрамывая на одну ногу, ходил по мягким коврам из оленьей шкуры, а затем, уставившись на сына, сказал:

– Три недели мысли бурлят в моей голове, три недели покоя не знаю. И сам я высох, как почерневшая чага на стволе березы. Нет вестей от среднего сына. Может, счастье нашел в дороге, может, след его давно затерялся. За это время, пока жду, даже мышь добежала бы обратно. Силы покидают меня. Ноги и руки высохли, как осенний стебель травы. Да и тревога о будущем моего царства покоя не дает. Но только я не привык останавливаться на полпути. Начатое дело надо завершить, как тынзян собрать в руки. Только тогда мрачные мысли уберут в голове моей свои перегородки и покинут меня. Потому, сынок, собирайся в дорогу и ступай вслед за братьями. Может, счастье найдешь, может, смерть найдешь. Но только знаю: нелегко будет тебе.

Сказав это, стал набивать табаком свою золотую трубку и, повернув здоровое ухо к сыну, стал дожидаться ответа.

Тавет потер друг о друга свои замшевые разукрашенные чувячки, бросил взгляд на летнее солнце, поправил лук за плечами и медленно заговорил:

– Разве смогу я переступить через слово отца, высокочтимого царя. Только нужно мне три дня на размышление. После этого приду и скажу, что мне потребуется в дорогу.

– Быть по-твоему, – ответил царь.

Три дня и три ночи думал Тавет, а в последний вечер, ложась спать, вспомнил о волшебном клыке медведицы. Он тут же положил его *себе* под подушку, сказав при этом;

– Плохо ли, хорошо ли посплю, но навей мне добрые мысли. Утром Тавет явился к отцу и говорит:

– Я многое обдумал, отец. Нелегкой мне представляется дорога. Мне потребуется на дорогу тридцать бочонков вина, тридцать бочонков пороху, много бревен и досок, сто отборных воинов. Я сам их отберу. Чтобы каждый знал и плотничье, и столярное дело.

Выслушав просьбу младшего сына, царь тут же дал приказ своим слугам немедленно все исполнить.

И вот младший сын царя стал готовиться в дорогу. Все, что просил он, было отпущено ему. Младший сын царя лично отобрал сто воинов. Все сильные и крепкие, как плечистые кедры.

Каждый воин может и плотничать, и столярничать, знает толк и в кузнечном деле.

Через неделю приготовления были закончены. Настал час, и отборные воины по команде погрузились на корабль.

Царь поцеловал младшего сына, обнял и благословил в дорогу. С двухмачтового корабля по случаю отплытия трижды прогрохотали залпы пушек, и ветром надутые паруса легко понесли судно по пенящимся волнам. Забурлила вода, и побежали волны от корабля, словно разбегались в разные стороны стаи белых песцов.

5

Долго ли, коротко ли плыли, а через семь недель пути в дали моря над самой поверхностью воды показалось огненное пламя. В каюту царевича вбежали три воина.

– Беда, царевич! – закричали враз они. – Море горит впереди. Надо немедленно повернуть обратно...

Царевич натянул на себя богатую малицу и вышел на палубу. Козырьком приложил ладонь ко лбу. Посмотрел в сторону появившегося на море огня и сказал:

– Это не море горит. Это глаза морского чудовища из-под воды сверкают...

Действительно, из глубины моря вырывались огненные струи и перескакивали по волнам.

– Верно, – вздохнули воины, от страха сгрудившиеся на палубе.

А чудовище так и водило под водой своими глазами в разные стороны. Вода мощными струями порожистых рек стекала в пасть морского чудовища, а плывущие плоты и лодки исчезали в этой пучине.

– Нет у нас назад дороги, – заговорил царевич, обращаясь к своим воинам. – Заходите в свои каюты, запирайте двери и ждите моего голоса.

Корабль, словно щепку, болтая в разные стороны, неудержимо втягивало в огромную пасть морского чудовища. И когда судно, увлекаемое водоворотом, проходило по горлу чудовища, слышно было, как оно коснулось своими мачтами чего-то твердого, и донесся глухой треск.

И двухмачтовый корабль очутился в огромном темном желудке морского чудовища. Не стало ни солнца, ни луны, ни звезд на небе. Только доносился какой-то протяжный и еле слышимый стон.

Когда по команде царевича воины зажгли лучины, то в тусклом свете увидели вокруг себя обломки кораблей, лодок и человеческие кости. А совсем неподалеку Тавет приметил разузоренные, еще не истлевшие кисы своих старших братьев. Тревогой наполнилось сердце Тавета, и дрожь охватила его.

«Повремени, страх! – сказал царевич, успокаивая себя. – Кто сказал, что конец пути, когда жив еще повелитель Семи Небес?»

В это время к нему подскочили три человека, настолько исхудавшие, что остались только кости и кожа. Окружили они царевича и были готовы вот-вот сожрать его.

Преодолев страх, царевич сказал:

– Погодите! Не ешьте меня. Сколько вам надо пищи, я с избытком дам. – И крикнул громко: – Эй, повара! Принесите самой лучшей еды, принесите в самой лучшей посуде.

Не успел бы никто и закурить, как повара вынесли на тарелках и блюдах разную еду: куски жирных нельм, икру осетра, вкусных рябчиков и сладкую княженику.

Голодные пришельцы принялись за еду, а накушавшись, улеглись отдыхать в просмоленной лодке.

Пусть они спят. Наше дело – сказку дальше вести.

Царевич стал внимательно смотреть вокруг. Желудок морского чудовища напоминал огромную пещеру. Ни глазом обозреть, ни мыслями понять.

Долго ли, коротко ли смотрел он по сторонам, но вдруг почувствовал, как гнилой тяжелый туман стал врываться в ноздри. Тавет встревожился и сказал воинам:

– С тех пор, как очутились здесь, выкурили не одну трубку, не один шаг сделали. Только не родилась у нас еще ни одна умная мысль. Коль останемся здесь, погибнем все без еды и воды. А еще раньше, пожалуй, задохнемся от вони. Надо выбраться отсюда. Просверлить желудок – не найдем такого сверла. Прорубить желудок – не имеем такого топора. Пропилить желудок – тоже не сможем. Надо что-то другое придумать.

Долго стоял царевич, задумавшись. В голове своей словно метал тын-зяны, чтобы поймать нужную мысль. И тут он вспомнил о волшебном клыке медведицы. Подержал его в руке и сразу же почувствовал, как свежие силы и мудрые мысли вливаются в него.

Тавет резко обернулся к воинам и скомандовал:

– Зарядите пушку. Насыпьте в ствол семь бочонков пороха. Затем все зайдите в каюты. Заткните уши утлапом (вата из тала), крепко заприте двери и ожидайте мой голос.

Воины вмиг исполнили приказ царевича. Оставшись один, Тавет тоже заткнул уши утлапом, а поверх ушей натянул оленью замшу и приклеил к коже осетровым клеем. И стало тихо-тихо, как под язычком настороженного капкана. Затем царевич крепко привязал себя за мачту, зажег фитиль и поднес к пушке. И в тот же миг словно земля раскололась надвое, а небо обрушилось с грохотом вниз. Все, кто мог слышать, все, кто мог видеть, тут же оглохли и потеряли сознание.

Долго ли, коротко ли шло время – неизвестно. Первым пришел в себя царевич. Чуть-чуть раскрыв свои веки, Тавет почувствовал, как жжет глаза огнем, словно тычутся в них раскаленные стрелы, разомкнув веки пошире, царевич огляделся. На небе ярко сияло солнце, за бортом слышался плеск волн. Приподнялся и видит: корабль вовсю мчится по безбрежному морю.

Тавет стал окликать своих воинов, стучаться в двери и будить их. Вскоре дружина собралась на палубе, и они дальше стали держать свой путь.

Трижды радуга вставала на небе, трижды полоса дождей прошла, когда вдали, будто спина корявого осетра, появилась полоска земли. Царевич приказал держать курс к берегу. Когда приблизились к берегу на расстояние разговора, сбросили тяжелый четырехпалый якорь.

С тридцатью воинами на трех лодках поплыла дружина царевича к берегу. Доплыли до галечного берега и видят: в густой лиственный и хвойный лес ведет истоптанная дорога шириною с пастушеский хорей. От долгой ходьбы дорога врезалась в землю почти в человеческий рост. На песчаном берегу, возле большого камня, четко отпечатались огромные следы какого-то неизвест-

ного чудовища. Шаг рослого воина свободно помещался в этой ступне.

Воины окружили царевича и в страхе озирались по сторонам. Тавет осмотрел кем-то вывороченные и разбросанные в разные стороны столетние толстые лиственницы, скомандовал:

– Вмиг все в лодки! Доставьте тридцать бочонков вина. Торопитесь! Чтобы взмах одной греби был там, а другой – здесь!

Воины быстро уселись в лодки и дружно налегли на греби. Исполнили все, что приказывал царевич. Выгрузив тридцать бочонков вина на берег, царевич приказал взять с собой семь из них и неотступно следовать за ним.

Каждый воин, держа наготове лук и стрелы, так бесшумно ступал, что только лучи солнца звенели в туго натянутых тетивах из лосиных жил. Миновали три холма-увала, и открылась перед ними широкая поляна. Грудами лежали кругом обглоданные человеческие кости, а на цветах и траве алела разбрызганная человеческая кровь. У кромки леса стоял крепкий дом, высотою выше плечистого кедра. Дом не имел окон, только поскрипывала полураскрытая дверь шириной в три человеческих маха. Неподалеку от дома меж двух толстых бревен лежала длинная тяжелая дубина весом не менее семи пудов.

Лица воинов вмиг побледнели, а их пальцы приложились к тетивам луков. Они уставились на царевича и готовы были сорваться с места и без оглядки бежать к спасительному берегу.

Но в это время в глубине дремучего леса раздался глухой свист, земля затряслась, а большие и малые деревья закачались в разные стороны. То ли черт, то ли страшный великан приближался к дому.

Воины по команде царевича ввалились в дом. Вслед за ними переступил высокий порог страшный Мек (лесной людоед). Из его правого ободранного кармана штанов, сшитых из лосиных шкур, торчало лосиное бедро, с которого все еще стекала кровь. Мек был толстый, как раскидистый кедр, и рослый, как высокая лиственница.

– Ха-ха-ха! – захохотал во всю глотку Мек. – Сколько еды свалилось. Сколько горячей крови!.. – Великан залился смехом и заговорил:

– Я чудовища морского
Самый крепкий, первый сын,
И в краях далеких этих
Всемогущий я один.

Могучий Мек схватил за шиворот трех воинов, поднес их ко рту, и они тут же исчезли в его ненасытной пасти. Слышен был только хруст костей во рту.

Воины царевича, словно мыши, испугавшиеся кота, попрятались за его спиной. У царевича тоже задрожали колени, но, вспомнив о волшебном клыке медведицы, он тут же схватился за него рукой и сделал три шага вперед. Мек неожиданно притих. А Тавет заговорил:

– О, могучий великан,
Знаю: все тебе подвластно,
И леса, и океан,
Даже солнце в небе ясном.
Мы-то что – сухие стружки...
Только я тебе привез
Угощения получше:
Вот они, взгляни под нос...

Удивленный Мек взглянул под ноги и увидел семь тридцатилитровых бочонков с вином. Он тут же схватил один из них, легким щелчком среднего пальца выбил дно и поднес ко рту. «Буль-буль-буль» – только и слышался плеск льющейся огненной жидкости.

– Кой-кой! – обрадовался Мек. – До чего вкусна водица. И внутри тепло, и в голове весело. – Вслед за этим великан залпом выпил и опорожнил остальные шесть бочонков.

Людоед облизнулся, помотал лохматой головой, и от шелеста его длинных волос свист пронесся по дому. В зрачках великана появился необычный блеск, и глаза его округлились, как две связки арканов. Людоед пытался петь, но язык его, подобно засохшему хвосту налима, еле ворочался. Мек ослаб в коленях и стал покачиваться в разные стороны, а вскоре подрубленным деревом рухнул на землю поперек широкой двери, закрыв своим

телом выход. Людоед подложил под голову толстое бревно и так сильно захрапел, будто доносились отдаленные раскаты грома, а воздух, выдыхаемый из широких ноздрей, вырывался порывами ветра.

«Что же делать? Как же быть? – задумался царевич. – Оставаться здесь нельзя. Но и как перелезть через тело страшного людоеда? Как высокий сугроб лежит... Вдруг великан проснется в это время... Тогда не миновать беды...»

Царевич взглянул вверх и увидел на крыше дыру для дыма от костра. До потолка было саженей семь.

«Только как туда добраться? – подумал Тавет. – Нет же у нас крыльев...»

В голове царевича забурлили мысли, словно рыба в неводе. Поразмыслив, он взмахнул правой рукой и громким шепотом сказал:

– Отвяжите тетивы с луков. Свяжите их вместе и сплетите веревку. Быстро работайте. Чтобы пальцев ваших не было видно.

Не успел бы никто, наверное, выкурить трубку, как веревка была сплетена. Связками аркана собрал царевич веревку и метнул на выступающий конец перекладины в отверстии крыши. Затянув потуже петлю, царевич сказал:

– Глядите, как я поднимусь, и следуйте за мной.

Проворной белкой взобрался царевич по веревке до отверстия на потолке, а вслед за ним поднялись остальные воины. Цепляясь за выступы бревен, они вмиг спустились с крыши на землю. Словно созревшими шишками кедра при ударе, посыпались воины вниз и по команде Тавета понеслись на берег.

Придя на берег, немедленно столкнули высоконосые лодки и, усевшись по двое, налегли на широколопастные греби. Дружно загремели лопасти гребей, и три лодки заскользили к кораблю. Не успели пристать лодки, а на корабле по указанию царевича уже вытащили якорь и подняли паруса.

Едва успел корабль отплыть на расстояние не более тридцати бросков аркана, как в дремучем лесу прогремел гром и раскололась земля.

Делая шаги длиною с семь прыжков резвого оленя, на берег моря из леса вывалился страшный Мек и залился радостным смехом, увидев обильную еду. Людоед застыл на месте, раскру-

тил над головой тяжелую длинную семипудовую дубину и с криком запустил в сторону корабля. Так быстро летела дубина, что потерялась из глаз, только слышался свист разрезаемого воздуха.

Но не рассчитал свой бросок людоед: тяжелая смертельная дубина пронеслась на сажень выше бортов корабля и срезала мачты и паруса. Всех, кто находился поблизости, снесло с палубы. Еще больше рассвирепел злой Мек и стал вырывать лиственницы с корнями и с силой швырять в сторону корабля. Но они не долетали. Потерявший рассудок людоед рванулся в море, но, пройдя шагов тридцать, очутился по горло в морской соленой воде и остановился, как заякоренный. Разгневанный Мек несколько раз ударил кулачищами по воде и, по-звериному рыча, побрел к берегу.

– Наелся?! – сказал царевич и, повернувшись к воинам, приказал: – Якорь в воду! Все, кто живы, беритесь за топоры, пилы и рубанки. Все на ремонт корабля!

Каждый воин мастер на все руки: знает столярное и плотницкое дело. Лучше прежних смастерили из крепкой лиственницы надежные мачты, и на них водрузили новые паруса.

А с берега доносился смех и голос людоеда:

– Ха-ха-ха! Дорога ваша не найдет конца! Уж от пасти-то моего отца – морского подводного чудовища – никто еще не ускользал!.. Ха-ха-ха! Никто не уходил!

В ответ на это царевич подумал: «Пусть, пусть немного еще поболтает. Скоро горло ослабнет у него».

Когда закончили ремонт корабля, Тавет приказал воинам, чтобы они выковали четыре тяжелых замка.

Нашлись в дружине и мастера по железу. И вскоре на корабле застучали, как в кузнице. Не успел бы, пожалуй, вскипеть чайник, как четыре тяжелых железных замка, весом каждый с пуд, лежали у ног царевича.

– Молодцы, кузнецы! – похвалил Тавет. – А теперь пора паруса поднимать. К берегу пристанем. Голос людоеда утих.

Недолго проехав, острый нос корабля врезался в песчаное дно. Царевич и воины видят: весь берег усеян пустыми бочонками из-под вина, а Мек, прислонившись к огромному камню, крепко уснул. Людоед издавал такой храп, что от струй воздуха,

выдыхаемых через широкие ноздри, качались ветки и вершины стоявших неподалеку лиственниц и елей.

По команде царевича воины вышли на берег и первым делом людоеду руки и ноги заковали в железные цепи, навесив и надежно защелкнув четыре пудовых замка.

– Пусть теперь хохочет и дерет свое горло, – сказал царевич. – А мы его пока погрузим на корабль. В столицу отвезем.

Воины царевича ухватились со всех сторон за людоеда, напрягли все свои силы, но не смогли даже приподнять его. Тогда воины соорудили крепкий мост и, привязав канаты к людоеду в трех местах, тремя воротами закатили его на палубу корабля, судно сразу же осело в воде на три пяди и один палец.

Перед тем как отплыть, семь раз пальнули из носовой корабельной пушки, и там, где пролегала врезавшаяся в землю широкая тропа Мека, осталась развороченная земля.

«Так тебе, людоед, – сказал царевич. – Пусть духа твоего на земле не останется».

6

И вот вновь надулись паруса, и двухмачтовый корабль, разрезая надвое высоколобые волны, заскользил по морю домой. За высоким бортом бесчисленными связками арканов разлетались серебристые брызги.

Долго ли, коротко ли ехали, как вдруг задрожал корабль, будто ударился корпусом о плывущие встречные льдины. Воины выскочили на палубу и поняли, что это проснулся людоед и стал дергаться всем своим телом. И в эту, и в другую сторону пытается повернуться Мек, но пудовые тяжелые замки крепко держат его. Поняв свою беспомощность и безвыходность положения, Мек стал слезно упрашивать царевича, чтобы тот отпустил его, что он перестанет заниматься людоедством и навечно забросит свои злые дела. Царевич сказал:

– Нет, Мек. В столицу вначале тебя доставлю. Отцу покажу. И поступлю так, как он прикажет.

Услышав такой ответ, Мек опустил голову, из глаз мутными ручьями потекли слезы.

После многих штормовых дней и ночей, трижды пройдя через полосу туманов, увидели в дали моря неизвестный причудливый остров.

– Что за остров? – сказал царевичу капитан. – Сколько раз проезжал здесь, он ни разу не попадался на глаза.

Тавет приказал подойти к острову и стать на якорь. На трех лодках с оставшимися у него воинами пристал царевич к берегу, вышел на берег и видит: на острове нет ни одного деревца и весь он каменный. Воины переглядывались меж собой, а царевич, осмотрев кромку берега, сказал:

– Это, воины, не остров, а оторванная челюсть подводного морского чудовища. Это от выстрела нашей пушки разнесло челюсть морского чудовища на части. Один из осколков и лежит здесь.

Приглядевшись, воины увидели огромные крепкие зубы, намертво приросшие к огромной челюсти. Между мощными зубами со свистом проносились порывы ветра.

Царевич пригладил на голове курчавые волосы и задумался: «Как же быть с махиной такой? Где найти такую пилу, чтобы отпилить кусок челюсти? Обязательно нужно отпилить и доставить его в столицу. Иначе никто не поверит, что расправился с морским чудовищем».

Тавет стал обходить челюсть морского чудовища. За это время, пока огибал ее, можно было бы закинуть длинный стрежевой невод и вытащить на берег.

Придя к своим воинам, царевич приказал вытащить на берег семь бочонков пороху и уложить их между двумя зубами челюсти. Воины точь-в-точь исполнили приказ царевича. Затем из корабельной пушки дали залп по этому месту, и мощный взрыв прогрохотал по каменному острову, подняв клубы черного дыма.

Когда дым рассеялся, то увидели, что взрывом порохового заряда два зуба разнесло на несколько осколков. Выбрав самый маленький осколок, воины царевича ухватились со всех сторон и попытались поднять, но он даже не пошевелился, Опять пришлось строить мост, и, захватив осколок тросами, тремя воротами выволокли его на палубу корабля. От тяжести осколка корабль осел на три пяди и два пальца.

Злой Мек, взглянув на зуб своего отца, совсем приуныл, а слезы пуще прежнего потекли мутными потоками.

– Все! Дело завершено! – сказал царевич, когда подняли паруса. – Теперь свободным станет море для плавания. Ни для корабля, ни для лодки не будет зацепок.

И двухмачтовый корабль на всех парусах лебедем поплыл по пенящимся волнам к родному берегу.

Семь недель минуло, семь раз полоса ветров прошла, и в сиреневой дали показалась столица. Семь мощных залпов дали корабельные пушки, и семью залпами приветствовали их орудия с крепостных стен города.

Как муравейник зашевелилась столица, и народ повалил на пристань.

Царь, хромающий на одну ногу и слышащий одним ухом, на белом коне, в сопровождении семидесяти всадников, явился на берег.

Царевич Тавет в сопровождении своих воинов предстал перед отцом и говорит:

– Высокочтимый отец! Во многих неизведанных землях я побывал. Много раз месяц рождался и умирал. Не одна смерть поджидала меня в дороге. Но я выполнил твое задание. Виновники гибели старших братьев и других твоих людей – на корабле! Я привез злого людоеда и осколок зуба морского чудовища. Что делать с ними – твоя воля, отец.

Царь крепко обнял и поцеловал сына, затем поднялся на корабль и стал разглядывать людоеда и осколок зуба подводного морского чудовища. Как дно котла, почернело лицо старого царя, глаза налились кровью.

Недолго так постояв, царь обернулся к воинам и грозно повелел:

– Злого людоеда тремя железными цепями прикуйте к осколку челюсти подводного чудовища. Вывезите подальше и бросьте на дно морское. Так спокойней будет...

С этого дня старый, одряхлевший царь управление своим государством передал младшему сыну Тавету. И стал Тавет жить и царствовать. Говорят, добрая молва о нем за семь морей и земель распространилась и до сих пор живет в памяти народа.

БОГАТЫРЬ

В просторной необъятной тайге, в густом дремучем лесу жил батрак-ханты со своей женой. Всю жизнь работали они на чужих богатых людей и всю долгую жизнь бедствовали, а порою голодали. Было у них трое детей – двое юношей и младенец, который лежал пока в берестяной люльке. Младенцу исполнилось всего три месяца, и звали его по-хантыйски Юр хо, что в переводе значило «Богатырь».

От долгой тяжелой работы отец и мать рано потеряли здоровье. Однажды они в одно и то же время заболели и вскоре умерли. Перед смертью отец и мать сказали старшим детям:

– Ну вот, наши детки, мы умираем. Остаетесь вы одни. Живите дружно и в согласии. Берегите своего маленького братишку Богатыря, любите его и ухаживайте за ним, как делали мы.

Ненадолго замолкнув, они добавили:

– Отца своего похороните в золотом тяжелом гробу, чтобы тридцать лошадей его еле тащили. Мать свою похороните в гробу серебряном, тоже тяжелом, чтобы пятнадцать лошадей его могли с места тронуть.

Сказав это, они вмиг скончались.

Заплакали дети от горя навзрыд. Ведь они остались сиротами. Да и где им, нищим, достать такие дорогие гробы и столько лошадей?

Сидят юноши возле мертвых родителей и ревут во все горло, а младенец Богатырь молчит в люльке, только носиком сопит.

День-два ревели так осиротевшие братья. Вдруг на улице неожиданно загремел гром. Испугались старшие братья и подумали: «Что такое? Разве зимой бывает гром? Об этом даже ни в сказках, ни в песнях не говорится».

Только подумали так – вошел в юрту маленький бородатый старичок, весь белый, как зимняя куропатка. Поздоровался он с оробевшими детьми и спросил:

– Скажите, молодые люди, какой наказ дали вам ваши родители перед смертью?

– Отец и мать велели беречь и любить нашего маленького братишку Богатыря, – ответили в один голос юноши. – Еще завещали: похоронить отца в тяжелом золотом гробу, чтобы три-

дцать лошадей еле тащили. А мать похоронить тоже в тяжелом серебряном гробу, чтобы пятнадцать лошадей еле смогли тронуть с места.

Маленький бородатый старичок хрипло кашлянул в кулак. В тот же миг на улице внезапно раздался страшный гром. Когда гром стих, старичок пригласил братьев на улицу. И тут они увидели вокруг юрты триста, как на подбор, здоровых молодцов, похожих друг на друга, и много-много упитанных резвых лошадей.

– Это мои сыновья-богатыри, – сказал старичок. – Они помогут вам, сироты-юноши, похоронить ваших родителей со всеми почестями.

После этого ни с того ни с сего появившиеся богатыри дружно взялись за дело. Одни из них принялись мастерить золотой гроб, другие – серебряный. В золотой гроб положили их отца, в серебряный – мать. Золотой гроб повезли на тридцати отборных резвых лошадях, серебряный – на пятнадцати. Кони еле-еле тащили покойников. Похоронили по хантыйскому обычаю: могил копать не стали. Гробы поставили рядышком, пристроив к ним небольшие деревянные строения из отборных стройных лиственниц.

Сироты-юноши долго плакали у могил родителей, а когда перестали и оглянулись, то увидели – ни богатырей, ни лошадей нет. Один бородатый старичок стоит. Он проводил братьев до их юрты и сказал им на прощание:

– Ну, сироты-юноши, живите теперь самостоятельно. Горячо любите и хорошо берегите своего маленького братишку Богатыря.

Тут вдруг опять страшно загремел гром. Юноши испугались и закрыли глаза. А когда гром стих, они увидели, что маленького седоволосого старичка уже нет.

Стали сироты жить одни в глухой тайге. Тяжелая жизнь началась для них. По-настоящему промышлять они еще не умели. Да и сил не хватало ходить далеко в звериную тайгу. А тут еще трехмесячный беспомощный Богатырь, который после похорон родителей стал беспрестанно реветь. Пришлось охотиться им поочередно. Богатырь особенно сильно ревел ночами и не давал своим братьям нормально спать.

Наконец, самый старший брат не выдержал и сказал:

– Зачем нам этот ревущий ребенок нужен? Какая от него польза? Лучше избавиться от него.

Средний брат испугался таких неприятных слов и говорит:

– Что ты? Как тебе не стыдно? Разве ты забыл важный наказ родителей беречь его?

Но старший брат и слышать не хотел об этом. Однажды он схватил люльку с ревущим ребенком и выбросил за дверь на мороз. Средний брат чуть не заплакал от злости. Ругаясь, он сразу же выбежал на улицу и занес люльку обратно в юрту.

Так продолжалось несколько дней. Старший неугомонный брат все чаще и чаще стал выбрасывать люльку с маленьким Богатырем за дверь, а средний брат каждый раз заносил братишку обратно в юрту, качал его и плакал от злости на безжалостного старшего.

Как-то проснулись юноши утром и видят – люлька пустая. Изумились братья, испугались и стали искать младенца. Долго искали, но даже и следа не обнаружили, точно ребенок вспорхнул и улетел, как птица.

Средний брат, обессилев, сел и стал плакать. Запечалился и старший брат. Он тоже свесил голову у костра, слабо горевшего у чувала. Так они сидели долго, пораженные странным исчезновением трехмесячного Богатыря.

Вдруг на улице послышался какой-то странный шорох. Потом кто-то начал стряхивать снег со снятых лыж. Да так сильно, что даже юрта вся задрожала, и казалось, что вот-вот развалится.

Немного погодя открылась дверь, и в юрту вошел красавец-ханты. Молодой, здоровый, статный да такой нарядный, что и слова не найдешь, чтоб передать это. Поздоровался он с юношами, те глядят и глазам своим не верят: это же их братишка Богатырь!

Кинулся ошарашенный брат навстречу младшему, и стали они обниматься да целоваться. Медленно подошел и старший брат, тоже хотел обнять младшего, но тот небрежно отстранил его рукой, сказав при этом:

– Тебе же не нужен был ревущий ребенок. Ты сколько раз говорил, что нет от меня пользы. Сколько раз за дверь выбрасывал вместе с берестяной люлькой.

Совестно стало старшему брату. Отошел он в сторону, запечалился и подумал: «Плохо я поступил с малышом. Наказы своих родителей о нем не соблюдал».

Трехмесячный Богатырь, ставший молодцем-красавцем, видя, как загрустил старший брат, пожалел его и говорит:

– Ладно, не горюй. Не время нам ссориться. Ревел-то ведь я в люльке, знаете из-за чего? Хоть вы и бываете на промысле, уходите из дому, а ничего не знаете. На свете же война идет великая. Я стал ощущать это с того дня, как похоронили родителей. Чувствовал и слышал, а сказать вам не умел и из люльки встать не мог.

– А как же ты сегодня ночью ухитрился исчезнуть из люльки? – поинтересовались братья.

Красавец Богатырь уже сидел у очага и объяснял:

– Маленький, седовласый, бородатый старичок вызволил меня. Я тут же почувствовал силу необыкновенную. Он поднял меня высоко-высоко, и я сверху увидел эту великую битву. Когда старичок поднимал меня, был сильный гром. Вы разве не слышали?

– Мы ничего не слыхали. Видно, очень крепко спали, – ответили братья, а затем спросили: – А что это за война? Кто с кем воюет?

– Большая беда, братцы, стряслась, – начал рассказывать Богатырь. -Страшные и мощные чудовища появились в нашей безбрежной тайге. На всех они нападают, грабят мирные селения, убивают невинных людей. Весь народ тайги стал воевать с ними, но ничего не могут сделать. Даже половина сыновей-богатырей седовласого старичка погибла уже в этой непрекращающейся битве. Так можем ли мы, братья, остаться в стороне от этой борьбы? Подумайте и скажите мне свои мысли.

Посмотрели в страхе старшие братья друг на друга, недолго думали и в один голос заявили:

– Нет, мы не можем быть в стороне от борьбы с чудовищами. Родная и щедрая тайга разве нам не дорога? Ведь у нас есть трехмесячный Богатырь. Покажи, младший брат, дорогу, ведущую к этим чудовищам.

Поели братья сытно и отправились воевать с чудовищами. Старшие братья взяли с собой свои упругие луки и острые стре-

лы, а трехмесячный Богатырь засунул за пояс старый отцовский топор. Своего лука и стрел у него еще не было. А отцовский лук и стрелы – что для него, Богатыря?

Идут они на скользких лыжах день, два, три... Впереди шагает Богатырь. Братья едва успевают за ним, аж в ушах ветер гудит, а из-под лыж снежный буран поднимается.

Вскоре на опушку леса вышли. Остановились. Старшие братья от усталости тяжело дышат, ладонями пот с лица вытирают. А трехмесячный Богатырь стоит, улыбается, он даже нисколько не устал. Осмотрелись они и видят: внизу, на льду Оби, страшный бой идет. Кругом, куда ни посмотришь, целые горы убитых людей валяются. Весь снег покраснел от пролитой крови. Видно, в живых остались только несколько сыновей-богатырей маленького седобородого старичка. Они, размахивая огромными саблями, наседали на трехголовое чудовище, которое хватало их сабли и ломало, как сухие прутья, своими длинными мохнатыми пальцами с заскорузлой кожей. Людям, попавшим в его лапы, откусывал головы и выплевывал их, словно неспелую морошку.

Немного поодаль преспокойно спят два его старших брата-чудовища – пятиголовое и семиголовое. До них, наверное, очередь еще не дошла.

Испугались старшие братья, повернули было лыжи свои обратно. Заметил это младший брат Богатырь и стал стыдить их за трусость и малодушие. Потом сказал им строго:

– Встаньте вот за эти деревья. Внимательно следите за моей борьбой с чудовищами. На первое чудовище стрелы свои не тратьте, без вашей помощи справлюсь. А когда буду биться со старшими чудовищами, внимательно смотрите и чутко слушайте. Когда я кашляну, один из вас пусть выстрелит стрелу в ногу чудовища. Только метко стреляйте. И не вздумайте убежать.

Сказал так Богатырь и, напевая песню, начал спускаться к чудовищу. Подойдя к нему, громко и дерзко крикнул:

– Эй, ты, мохнатое чучело! Хватит мне канителиться с тобой! Тоже нашел, чем хвастаться – сабли ломать да головы откусывать. А не хочешь ли по-честному силой померяться со мной?

Услышав такое, трехголовое чудовище сперва изумилось, потом, насмешливо глядя на дерзкого Богатыря, страшным голосом прошипело:

– Ах ты, трехмесячный молокосос, сын нищего ханты! Что ты выдумал! Со мной по-честному силой померяться захотел? Ха-ха-ха!

– Ну, ты, мохнатое чучело, меньше зазнавайся! Если согласен бороться по-честному, давай. А то ждать мне некогда, – опять смело крикнул Богатырь,

Трехголовое чудовище нагло засмеялось:

– Ха-ха-ха! Что он говорит! А ты сделай сперва площадку для борьбы. Да медную. Чтобы толще обского льда была. Тогда испытаем наши силы.

Трехмесячный Богатырь ответил:

– Мне для такого дела никакой площадки не нужно. Если ты боишься провалиться под лед, сам сделай себе медную площадку.

Чудовище подумало, потом сняло с руки медное кольцо. Это кольцо чудовище разжевало во рту и выплюнуло на лед. Тут же образовалась большая медная площадка.

Вот трехголовое чудовище и трехмесячный Богатырь встали на эту медную площадку. Стали бороться. Долго, очень долго длилась схватка. Наконец, чудовище попросило:

– Может, передохнем малость. У меня одна голова закружилась.

– Мне отдыхать некогда, – тут же ответил Богатырь. – Раз взялись бороться, то до конца. Пока кто-нибудь из нас не победит.

Стали дальше бороться. Солнце уже два раза спать уходило, а они все еще барахтаются на медной площадке. У трехголового чудовища уже ноги начали подкашиваться. Через некоторое время оно, едва дыша, опять попросило:

– Давай все же отдохнем. Вторая голова у меня кружиться стала.

– Ну и пусть кружится, – отрезал Богатырь. – У тебя еще одна голова имеется. У меня вот всего одна-единственная, да терплю.

Чудовище только тяжело вздохнуло и не знает, как вырваться из крепких рук трехмесячного ребенка. Солнце снова два раза уходило на отдых, а они все борются. Чудовище, видно, совсем из сил выбиваться стало. То и дело на колени припадает. Наконец, еле слышно жалобно простонало:

– Ой, третья голова закружилась! Не могу больше.

И тут трехголовое чудовище бессильно растянулось на медной площадке. Тогда трехмесячный Богатырь схватил его за ноги, поднял высоко, да так ударил о медную площадку, что все эти головы чудовища со свистом отлетели в разные стороны.

– Вот так тебе и надо, людоеду-грабителю! – засмеялся Богатырь. – Не будешь больше тревожить нашу щедрую тайгу да губить невинных людей.

Тут он размахнулся и швырнул огромное тело чудовища с такой силой, что оно грохнулось где-то далеко за семью краями неба. Братья Богатыря, глядя с высокого берега из-за деревьев, от восхищения только рты разинули.

Расправившись с трехголовым чудовищем, трехмесячный Богатырь посмотрел под ноги, а медной площадки как не бывало. Лишь медное кольцо на льду реки сверкало. Поднял он кольцо, надел себе на палец и промолвил:

– Подберем. Может, кому-нибудь пригодится.

Не успел он передохнуть, как видит: проснулось пятиголовое чудовище. Одной рукой оно трет себе лоб, а в другой руке держит мохнатую голову своего убитого брата и рычит страшным голосом:

– Кто это осмелился погубить моего маленького братишку и кинуть его бедную головушку прямо мне в лицо?

– Я раздавил, как комара, твоего хвастуна-братишку, – гордо ответил трехмесячный Богатырь. – Хватит нам канителиться с вами, ненасытными чудовищами.

Подразнили они недолго друг друга обидными словами, а потом пятиголовое чудовище сняло с руки серебряное кольцо. Чудовище разжевало его во рту и выплюнуло на лед. Тут же образовалась большая серебряная площадка, толще обского льда в зимние месяцы.

Вот пятиголовое чудовище и трехмесячный Богатырь встали на эту площадку и начали бороться. Долго длилась схватка на серебряной площадке. Но пятиголовое чудовище на ногах держится крепче своего трехголового брата.

Еще два раза солнце скрывалось за горизонтом. Только тогда у чудовища ноги стали подкашиваться, и оно жалобно попросило сделать передышку. Но разве Богатырь нищего ханты согласится?

Пятиголовое чудовище не знает, как быть. Только пыхтит и пыхтит.

– Ой, уже четвертая голова моя закружилась. Теперь у обоих у нас по одной голове. Может, все же отдохнем?

– Отдыхать я не собираюсь, – упорствовал Богатырь. – Сил у нас у обоих еще много.

Чудовище подумало: «Пятая-то голова моя скоро не должна закружиться. Она ведь у меня самая старшая. Пожалуй, напрасно об отдыхе беспокоюсь».

А Богатырь в уме своем сказал: «У этого последняя голова, видимо, не скоро закружится. Не лучше ли хитростью осилить его?»

Богатырь громко кашлянул. Один из его братьев в тот же миг выстрелил из лука. Острая стрела пронзила левую ногу чудовища насквозь.

– Ой! В ногу мою заноза зашла. Надо вытащить ее, – крикнуло чудовище и наклонилось.

Богатырь выхватил из-за пояса старый отцовский топор и одним резким взмахом отрубил все пять голов чудовища.

– Вот так-то тебе, людоеду-грабителю. Не будешь больше тревожить нашу природу и мирных охотников.

Расправившись с пятиголовым чудовищем, посмотрел Богатырь под ноги и видит: серебряной площадки как не бывало. Лишь кольцо серебряное на льду Оби блестит. Поднял он кольцо, надел себе на палец и сказал:

– Подберем, может, кому-нибудь пригодится.

Не успел он передохнуть, видит: семиголовое чудовище проснулось. И опять между ними разгорелся спор. А затем чудовище сняло с руки золотое кольцо, разжевало его во рту и выплюнуло на лед. Тут же образовалась большая золотая площадка.

Началась новая невиданная схватка. Богатырь подумал: «С этим, пожалуй, еще дольше придется возиться. Скорее всего, только хитростью одолею его».

Услышав сигнал, один из братьев выстрелил из своего упругого лука. Когда семиголовое страшное чудовище наклонилось, чтобы посмотреть свою ногу, трехмесячный Богатырь незаметно выхватил из-за пояса старый отцовский топор и нанес сокрушительные удары. Да так, что все семь голов далеко в разные стороны отлетели.

Расправившись с семиголовым чудовищем, он увидел: вместо золотой площадки на льду Оби сияет золотое кольцо. Поднял он его, надел себе на палец и говорит:

– Подберем, может, кому-нибудь пригодится.

Не успел он со лба вытереть пот, как к нему со всех сторон с радостными возгласами побежал оставшийся в живых таежный народ. И радостные братья поспешили к нему. Все громко воскликнули:

– Спасибо тебе, таежный Богатырь! Ты спас свой край и народ от страшных чудовищ!

Тут вдруг раздался сильный гром и, откуда ни возьмись, перед ним появился седовласый старичок. Он стал хвалить и благодарить его, приговаривая:

– Большое, хорошее дело сделал ты, трехмесячный Богатырь нищего ханты! Мои триста сыновей-богатырей не смогли справиться с проклятыми чудовищами. Все они погибли в жестокой битве. А ты враз осилил врагов. Силой и умом своим осилил. И братья твои тоже молодцы. Не струсили, не сбежали, помогли тебе, да и метко стреляли.

Потом седобородый старичок еще так сказал:

– Теперь эти кольца, которые на твоих пальцах, раздели между братьями. Золотое кольцо возьми ты, трехмесячный Богатырь. Серебряное кольцо пусть возьмет твой средний брат, оберегавший тебя в люльке. Медное кольцо отдай старшему брату, выбрасывавшему тебя когда-то с люлькой за дверь. Так будет справедливо. Сделайте это и идите домой. Отдыхайте. Перед сном свои кольца оставьте на улице, положите на снег в разных местах вокруг вашей старой юрты. Что получится – утром сами увидите. Живите дружно, в согласии, как завещали вам ваши покойные родители. Ну, прощайте все!

Тут опять загремел гром, и седобородого и седовласого старичка, белого, как зимняя куропатка, мигом не стало.

Разошелся довольный таежный народ по домам. Вернулись братья-сироты в свою юрту. Исполнили все, как велел старичок. Поужинали, легли спать. Крепко уснули после такой страшной битвы. Когда проснулись, вышли на улицу и воскликнули от навалившейся радости: вокруг их ветхой юрты стояли три новых красивых дома. Один дом медный, второй – серебряный,

третий – золотой. Каждый из братьев вошел в свое жилище. Старший брат в своем медном доме увидел черноволосую, черноглазую красавицу. Средний брат в своем серебряном доме узрел русоволосую, кареглазую красавицу. Трехмесячный Богатырь в своем золотом доме обомлел от радости, увидев белокурую, голубоглазую трехмесячную красавицу.

Совсем обрадовались братья. В тот же день все они быстро подросли, стали совершеннолетними и все поженились. Разобрали братья свою ветхую деревянную юрту, чтобы от плохой тяжелой жизни и следа не осталось. Стали жить счастливо и радостно, в дружбе и в согласии, как покойные родители завещали.

СЕСТРА И СЕМЬ МАЛЕНЬКИХ БРАТЬЕВ

Жили семь маленьких братьев и одна сестра. Однажды они играли около юрты – сбивали палочками расставленные поодаль друг от друга колышки. Во время азартной игры к ним прибежала позабавиться белка. Крик и гам стояли во дворе. Нечаянно один из братьев перебил ей ногу. Она, конечно, рассердилась, ушла от них и пригрозила, что завтра явится к ним со множеством других белок и отомстит за нанесенную ей обиду.

Братья испугались и стали думать, как им избавиться от нашествия белок. Наконец, старший предложил влезть на небо. Все с ним согласились. Тогда младший брат сказал:

– Что мы сделаем с сестрой, ведь она не может влезть на небо, а спрятать ее в тайге нельзя, потому что белки найдут и убьют ее.

Думали-думали братья и сделали так: вырыли ей под очагом яму и положили туда сестру, оставив над ее головой маленькую дырочку, чтобы она могла дышать. На грудь сестры положили кожаный мешок с кровью оленя и прикрыли ее землею. После этого старший брат пустил стрелу вверх, стрела вонзилась в небо и повисла. Следующий брат пустил стрелу свою и вонзил ее в конец стрелы старшего брата, что повисла на небе. Третий брат попал в конец стрелы второго. Все братья пустили свои стрелы. Из этих стрел образовалась жердь от земли до неба, по

ней один за другим влезли на небо, причем младший, когда лез, собирал позади себя стрелы.

На другой день пришли белки и стали искать братьев, но нигде не могли найти их. Белки начали спрашивать у домашних вещей, но ни ложки, ни чашки не сказали им о выдумке братьев. Только старые унты выдали, куда ушли братья и как они зарыли сестру под очагом. Тогда белки начали копать копьями землю под очагом и попали в мешок с кровью. Увидели они кровь на копьях и решили, что закопали сестру маленькие братья. Перебили они всю посуду и ушли домой в тайгу.

Сестра вылезла из своего убежища, изорвала свои унты и стала думать, что ей теперь одной делать. Боясь, как бы белки опять не пришли, Она решилась идти искать своих братьев. Ходила-ходила и попала в юрту, где жила лягушка. Лягушка увидела, что у нее хорошая одежда, сначала приласкала ее, а потом отняла у девушки всю одежду, надела на себя, а девушку оставила голой. Вдруг залаяла собака. Лягушка говорит ей:

– Сейчас придут два молодых ханта, один из них увидит, что я такая нарядная, возьмет меня себе в жены, а тебя выгонит.

Сказавши так, она вышла из юрты встречать хантов, а бедная девушка начала от досады бить себя палкою по голове. Палка раздвинулась, и девушка спряталась в нее. Вошли два молодых ханта. Старший сел с лягушкой, а младший – около той палки, в которую спряталась девушка. Старший беседует с лягушкой, а младший от нечего делать взял палку и начал ее строгать ножом. Вдруг из палки потекла кровь. Он испугался, бросил палку и нож и скорей выбежал из юрты. Старший брат, увидев, что младший ушел, взял с собой лягушку и тоже пошел домой.

Дорогой младший брат вспомнил! что он ножик свой бросил в юрте, и вернулся за ним. Подошел к юрте и решил потихоньку заглянуть в нее, нет ли там кого.

Смотрит – там сидит голая девица. Откуда и храбрость взялась у него – отворил дверь и схватил ее. Она хотела спрятаться опять в палку, но не успела. Тут она рассказала ему про своих братьев и про то, как лягушка отняла у нее одежду. Он взял, прикрыл ее, чем мог, и повел с собой к отцу.

Дома отец сначала встретил старшего сына с лягушкой, потом младшего сына с девушкой. Слово за слово, отец начал рас-

спрашивать про их родных, кто они и где живут. Лягушка по глупости своей похвасталась своими братьями и сказала:

– Я вам сейчас покажу своих братьев, дайте ведро.

Взяла ведро и пошла на речку, зачерпнула воды вместе с лягушками и принесла. Отец как увидел их, так сейчас же прогнал лягушку, а девицу стал просить, чтобы она как-нибудь разыскала своих братьев. Она пошла в тайгу, встала под большой березой и позвала братьев.

Турам (Всевышний) услышал ее; пришли семь братьев и принесли каждый по целому костюму. Она оделась в костюм, который дал ей младший брат, и повела их к старику.

Старик, как только увидел их, разослал у входа в юрту шелковую материю, ласково принял и угостил, чем мог. Они рассказали ему, что живут на небе у Турама, просили не обижать сестру, пробыли три дня и ушли, а сестра счастливо зажила с младшим сыном старика.

КОШКА И БЕЛКА

Подружились однажды кошка с белкой. Всю зиму, весну и лето не отходили друг от друга.

Наступила осень, а с нею пришли и холода. Вскоре снег покрыл землю.

Белка говорит кошке:

– Холодно, дружок, стало. Подошла пора теплый дом подыскать, чтобы нормально перезимовать.

– Где мы с тобой теплый дом будем строить? – спросила кошка.

– На вершине дерева неплохо было бы, – говорит белка.

– Нет, под землей лучше, – отвечает кошка. – На дерево зимой тяжело будет подниматься, да и ладошки будут мерзнуть.

На этом варианте они и согласились. Кошка стала нору рыть и вскоре закончила. Как ведется, раз кошка сделала нору, то там она хозяйкой и будет.

Ложились друзья в нору и спали. Тепло им было.

Лежа в тепле, вдруг они слышат – появился какой-то огромный и тяжелый зверь, над норой пошагивает, в отверстие норы пытается заглянуть. Кошка белку посылает на задание:

– Выйди на улицу. Погляди, кто к нам пришел.

Белка вышла, осмотрелась. И увидела медведя!.. Белка испугалась, но страх ничем не выдала и спросила медведя:

– Вы, дедушка, что здесь делаете?

– Землю рою.

– Для чего роете?

– Я твой дом вырою и тебя съем.

– Вы, дедушка, помедлите, не ройтесь. Я схожу к своему хозяину и скажу ему об этом.

– А кто твой хозяин?

– Мой хозяин, – отвечает белка, – самый сильный и очень честный.

– Так как его зовут?

– Ой, дедушка! Не спрашивайте об этом. Произнести боюсь! Медведь задумался. А белка в нору забежала и говорит кошке:

– Медведь пришел, собирается наш дом разрыть, а нас сожрать. Пропали, пожалуй, мы с тобой.

В ответ кошка говорит:

– Что за суета! Зачем умирать? Ты иди и скажи медведю: «Хозяин приказал тебе добыть лося и сюда притащить. Если не принесешь – плохо будет вам».

Белка вышла из норы и говорит медведю:

– Рассердился мой хозяин, наказал тебе обязательно добыть лося и сюда притащить. Коль не притащишь – плохо вам будет.

– Что за беда, – отвечает медведь. – Это не трудное задание.

И отправился медведь, чтобы добыть лося. Справившись с лосем, закинул его на спину и притащил к норе. А белка уже дожидается его.

– Ты, медведь, – говорит белка, – здесь дожидайся, а я к хозяину сбегаю.

Белка в нору забежала.

– Ну и что, – спрашивает кошка, – принес медведь лося?

– Притащил. Крупного рогача!

– Иди и скажи ему, чтобы еще он оленя принес. Да, скажи побыстрее.

Белка вышла. Медведь, уставший, сидел на широкой кочке. А она говорит:

– Дедушка-медведь, хозяин мой дал еще одно задание.

– Что за дело?

– Задание такое. Убей оленя и быстрее принеси сюда же.

– Кой, – отвечает медведь. – Это задание уже полегче.

Медведь, высоко подпрыгивая, отправился за новым заданием. Увидел оленя, тут же прибил, закинул на спину и понес к норе. Белка в нору забежала.

– Ну и что? – спрашивает кошка.

– Принес медведь оленя?

– Принес такого тучного и жирного.

– Хорошо, – сказала кошка. – Иди и скажи медведю: пусть подальше уйдет отсюда и никогда здесь не показывается!

Побежала юркая белка и все рассказала медведю. Обрадовался от этих слов медведь, мол, так легко отделался. Недолго думая, он подальше удалился.

А кошка с белкой смеются:

– Теперь нам еды на целую зиму хватит!

ЗАЯЦ И МЕДВЕДЬ

На одном из островов-пугоров в приобской тайге жил-поживал серый заяц. Жил он безбедно, но однажды с верховьев Оби в низовье хлынула Большая вода и затопила все кустарники и травы в поймах – лишь кое-где оставались островки осоки.

А какая жизнь без еды? Крепился-крепился заяц, и когда совсем отощал – отправился на осоку. Изголодавшись, ел он осоку и до крови нарезал себе язык и губы. Больно было зайцу – кровь заливала рот. Пробовал он вылечить, но ничего не помогло.

Злой на всех, побрел он по тропинке, а тут навстречу – медведь.

– Что с тобой, шовар? – спросил медведь.

– Что, что, – передразнил заяц. – Ты бы, апсие (ласкательное слово медведя), такое поел – и с тобой то же самое было бы. Чем попусту языком молоть – помог бы...

– Нет! Сам виноват – сам и расхлебывай, – сказал медведь.

А боль у зайца все сильнее и сильнее. Язык разбух. Думал, думал косоглазый, что делать, – и вновь вышел на медвежью тропу. А тут и сам медведь подоспел.

– Вуся, Утан Ултат (живущий в лесу)! – вежливо сказал заяц. – Помоги мне – дай кусочек жиру!

– Снова пришел? Прочь уходи! – сердито сказал медведь.

– А это не я был!

– А что с тобой? – спросил медведь.

– Ты бы такое поел – и с тобой то же самое было бы, – не вытерпел заяц. – Помоги!

– Нет! Сам виноват – сам и лечись! – сказал медведь и ушел.

Совсем приуныл заяц. Повесил голову, как осенняя трава, уши – будто стебельки трав под снегом. Что делать? Пробовал он лечить так и эдак – не помогает, все хуже и хуже. Язык уже совсем во рту не умещается. И решил он снова пойти к медведю.

Подвязался он и вышел на медвежью тропу. Увидел медведя – спрятался в кустах и стал хвалить-нахваливать медведя. А медведь слышит, что кто-то его хвалит, а не видит кто. Пошел он на голос, видит – заяц.

– Вуся ула, сот хоятпи ляль (зверь имеющий силу ста лучников-воинов)! – сказал заяц. – Вуся ула!

– Опять ты?! – рявкнул медведь. – Снова пришел?!

– Может, кто-то другой был. О, я в первый раз!..

– А что ты, шовар, еле языком ворочаешь?

– О, сот хоятпи ляль! Пока хвалил Вас, Вашу силу, Ваш ум, язык мой до крови истерся...

Медведю это понравилось, подобрел медведь – отрезал он кусок жирного сала и дал зайцу.

Вылечился заяц – длинными прыжками помчался, вытягиваясь в нитку...

НЕ РАДУЙСЯ НЕСЧАСТЬЮ ДРУГИХ

В давние времена, может быть, десять, а может быть, сто тысяч лет тому назад (счет тому потерян) жили-были Глухариный зоб, Соломенный половик и Бородач.

Однажды они решили собраться на охоту. У Глухариного зоба не было ни съестного, ни одежды, потому что он был ленивым. Видя, что товарищи укладывают в карточки хлеб, оленье

мясо, жирных муксунов и прочую пищу, Глухариный зоб обрадовался, что наконец-то он вдоволь поест. К тому же за чужой счет.

Он тоже стал налаживать свою старую, уже почти развалившуюся нарточку. Посмеиваясь, он вывернул свой грязный гусь из оленьего меха и положил туда всякого хлама, чтобы друзья подумали, что и у него тайком много всякой пищи.

– Продукты на охоте будем вместе есть, – сказал перед выездом Глухариный зоб. – Пусть будет общий котел. Так будет лучше. Наши отцы и деды всегда так поступали.

– Конечно, – согласились друзья. – Какой же охотник будет в лесу питаться отдельно. Мы что, с ума сошли?

Когда все уложили, надели широкие лыжи, обитые мехом из оленьих лап, и направились далеко в лес промышлять зверя. Долго ли, коротко ли тащились, наконец пришли к месту охоты.

Соломенный половик предложил Бородачу развести огонь, а сам вместе с Глухариным зобом стал развязывать карточки и таскать еловые лапы. Бородач начал поджигать веточки, но они были сырые и плохо разгорались.

– А ты на них подуй, – предложил Глухариный зоб, а сам незаметно усмехнулся: «Как бы пламя охватило их обоих – вот было бы здорово! Все продукты бы достались мне одному».

Бородач и вправду стал раздувать изо всех сил огонь. Дул, дул, и вдруг огонь вспыхнул, да с такой силой, что у Бородача загорелась борода. Он в испуге стал бегать и тушить ее, но напрасно. Борода еще пуще пылала. Тогда он начал звать на помощь друзей.

Вместо помощи Глухариный зоб сильно расхохотался. Правда, Соломенный половик подбежал к Бородачу и стал тушить огонь, но из этого ничего не получилось. Уж больно борода была огромная и сухая.

Хуже того, огонь мигом перепрыгнул к Соломенному половику. Сухая солома горела сильнее бороды.

Горящая борода и половик неожиданно навалилась друг на друга и быстро сгорели дотла. Тем временем Глухариный зоб все хохотал и хохотал. От радости у него затмилось в глазах.

– Вот выпало мне счастье! Вот выпало счастье! – повторял он. – Надолго хватит мне всего этого добра теперь. Эх вы, дура-

ки! Обхитрил я вас, как лисица зайцев! – крикнул Глухариный зоб, катаясь и подпрыгивая. Он так раздулся от смеха и зависти, что вот-вот лопнет, но не замечал этого и продолжал валяться на хвойных ветках. И тут случилась беда. Острые еловые иглы прокололи до крайности надутый Глухариный зоб.

Он с резким шумом лопнул, разлетевшись на множество кусочков. Звук этот получился такой сильный, что, казалось, гром прогремел.

Так Соломенный половик и Бородач погибли из-за жадности и коварства Глухариного зоба. Но и он не остался жив.

Так ему и надо было.

Вопросы и задания

1. Чем отличается легенда от мифа?
2. Согласны ли вы с мнением Е. С. Роговера, что легенды Р. П. Ругина можно разделить на зоогонические и географо-топонимические? Обоснуйте свое мнение.
3. Проанализируйте произведение Р. П. Ругина «Остров Шиян»? Определите жанр произведения.
4. Какое произведение Р. П. Ругина из представленных в хрестоматии вы бы отнесли к жанру мифа? Обоснуйте свой выбор.
5. Дайте определение сказке. Какие виды сказок выделяют исследователи сказочного жанра?
6. Выполните анализ сказки Р. П. Ругина «Человек ростом с мизинец».
7. Согласны ли вы с мнением исследователей творчества Р. П. Ругина, что в основе сказки «Человек ростом с мизинец» лежит «бродячий» сюжет? Аргументируйте свой ответ.
8. Отределите вид сказки Р. П. Ругина «Не радуйся несчастью других».
9. Напишите собственную сказку (можно использовать «бродячий» сюжет).

ДУМА О СЕВЕРЕ

Милый мой Север меня одарил
Всеми своими щедротами,
Дымом пастушьих костров окурил
Под снеговыми широтами.

Обские волны качали меня
С детства военного, скудного,
Дух закаляя и мышцы граня
Впрок – для пути многотрудного.

Ветер железный в полярной ночи
Голос мне ставил заранее:
«Эй, постарайся-ка, перекричи,
Мальчик, мое завывание!»

Соком березы поила весна –
Дивной природной микстурою,
Чтобы душа оставалась ясна
В непогодь самую хмурую.

Лето, как лебедь, над тундрой летя,
Песню мне пело старинную:
«Светом, теплом запасайся, дитя,
На зиму длинную, длинную!»

Долгие наши полярные дни
Слово шептали заветное:
«Радугу в сердце своем сохрани,
Чудо ее семицветное!»

Осенью небо, как тусклая жесть,
Тоже учило по-своему:
«Жизнь принимать, какова она есть
Следует мужу и воину!»

Север учил, ничего не тая.
Помню его попечение!
Что же в ответ подарю ему я?
Чем расплачусь за учение?

***

С той поры, когда в родном селенье
Стал я понимать людскую речь,
Врезалось мне в память наставленье:
Нашу землю вечную беречь.

Мать с отцом негромко и спокойно
Помогали истину постичь:
По земле всегда ступай достойно,
Попусту ножом в нее не тычь.

Сердцем от нее не отдаляйся,
Радость и печали с ней деля,
Пляшешь – не куражься, не кривляйся,
Помни: под ногой твоей – земля.

От нее – и зверь лесной, и рыба,
И кедровых шишек урожай.
Говори ей мысленно: «Спасибо».
Словно мать родную, уважай.

Как она добра, щедра, красива –
Достоянье отчее твое!
И не только мускульная сила,
Ум и сердце – тоже от нее.

Ведь не зря по дедовским законам
Свято мы традицию блюли:
Под подушку только что рожденным
Класть на счастье горсть родной земли.

Иногда – щепоть песка речного,
Камешек обкатанный со дна...
Это все земля, она – основа
Нашей жизни. Это все – она!

Пусть ее живительные токи
Юный мозг пронижут навсегда,
Чтобы после в жизненном потоке
Нас не пересилила беда.

Пусть земля родная будет с нами
В странствии, в бою, в кольце врагов,
В маленькой, бросаемой волнами
Лодке вдалеке от берегов!

Ну, а если путь твой оборвется
Где-нибудь вдали, в ином краю,
И душа, прощаясь, обернется,
Чтоб взглянуть на Родину свою,

И друзья, собравшись, ни любовью,
Ни мольбой тебя уж не спасут, –
Пусть, как при рожденье, к изголовью
Горсть земли родимой принесут...

Отчая земля, леса и недра!
Я всю жизнь перед тобой в долгу.
Ты всегда мне помогала щедро –
Чем тебе сегодня помогу?

***

Я родился в хантыйском рыбацком селенье
У Оби – величавой сибирской реки.
Поразъехалось нынче его населенье,
На другие угодья ушли рыбаки.

Здесь теперь заповедник, здесь травы густые,
Чуть пониже – осока, чуть выше – пырей,
И места, где стояли жилища людские,
Поспешили об этом забыть поскорей.
Что ж, пусть так!
Это время велело, я знаю,
Все равно каждый год приезжаю сюда,
И мне кажется: добрая фея лесная
Привечает меня у родного гнезда.

Вот земля, что с рожденья любить мне досталось!
Я брожу над рекой, свежим ветром дыша.
Кто сказал – ни души здесь теперь не осталось?
Если что и осталось, так только душа.

Это – Родины милой душа, это с нею
Я неслышно беседую здесь в тишине,
И становятся чувства светлей и острее,
И высокие мысли приходят ко мне.

Для меня никогда он не пуст, не заброшен,
Край, где детство мое протекло.
И всегда, и в любую погоду хорош он.
Здесь грущу я порою, но здесь мне тепло.

Здесь душа моя радуется и страдает,
Здесь мне память о детстве покоя не даст —
Так порывистый ветер упрямо строгает
В зимней тундре морозный, слежавшийся наст.

А когда я мой берег родной покидаю,
Прикоснувшись к земле, где учился ходить, –
Ощущаю: Отчизну, большую без края,
В чем-то стал я сильнее и глубже любить,

Я родился в хантыйском рыбацком селенье,
Где играют у берега волны Оби,

И толчки моей крови, и сердцебиенье
Говорят: «Не забудь!»
Говорят мне: «Люби!»

НЕДРУГАМ

Я бывал в семи краях тайги,
Даже ночевал не раз там.
Проходил арканами пурги
И заледенелым настом.
Семь буранов я преодолел,
Семь тревожных гроз вечерних,
Семь я видел самых важных Дел
И делишек семь – Никчемных.

Я спешил идти своей тропой,
Не считая понапрасну,
Сколько мне подкинуто судьбой
Под ноги узлов опасных,
Чтобы где-то сбился я с пути,
Чтобы ум зашел за разум,
Чтоб рванул рубаху на груди,
Потеряв дыханье сразу!

Вот такой вот горестный финал –
Радость для того большая,
Кто меня недобро поминал,
Исподлобья взгляд бросая.

Для такого нету Важных Дел,
А куда важнее, братцы,
Поглядеть на горький твой удел,
Счастье отыскать
В злорадстве.
На зубах скрипуча, как песок,
Злость.

И голос сердца – черный.
А душа –
Прогнивший туесок,
Ягодой недоброй полный.

Как сказать хотелось: – Не греши,
Ведь понять совсем несложно:
Ядовитой ягодой души
Самоотравиться можно.
Туесок, подумай-ка, гнилой, –
Долго ли живут гнилые?
Люди посмеются над тобой,
Ягоды растопчут злые...

По семи тропинкам я прошел,
Семь преград в пути я встретил...
Недругов я знаю хорошо,
Но душой остался Светел.

***

Каждый живущий на этой земле
Счастья имеет в той мере,
Сколько он отдал друзьям и семье:
Вознаграждение – по вере.

Этот вот хитрость избрал «ремеслом»,
Бога и то не боится,
Быстро в карьере его вознесло,
Ну а делов – с полмизинца.

Умница этот и тих, и стыдлив,
В жизни запросов немного.
Но остается в потомках он жив,
Ибо открыл им дорогу.

Как человек изначально живет,
Что ему наша эпоха,

Где он дыханье для жизни берет,
Как он почувствовал Бога?

Думаю, дело в работе сердец.
Мало об этом мы знаем...
И уж совсем не узнает подлец,
Завистью тайной снедаем.

Если отнинывать лень и тоску
Сможешь ты, как мухоморы,
Счастья рука прикоснется к виску,
Славы узнаешь просторы.

Будет тропа и тверда, и легка.
И, целый мир обнимая,
Вырвется дух твой за облака,
Щедрость земли понимая.

***

Это место сердцу свято.
Сколько раз я здесь бродил!
Десять елочек когда-то
Здесь отец мой посадил.
Были тоненьки и хилы
Молодые деревца.
«Мать-земля вольет в них силы!»
Помню я слова отца.

И еще отец добавил
В наступившей тишине;
«Это, сын мой, я оставил
Людям память обо мне,
В путь, мой сын!
С открытым взглядом
Мир огромный обойди,
А когда вернешься – рядом
Десять елок посади!»

Срок пришел, в родном поселке
Оказался я опять,
Вижу выросшие елки,
Но... Всего лишь только пять!

Сердце сжалось безотчетно.
Пригляделся – боже мой:
Кто-то ехал беззаботно
Здесь на тракторе зимой.

Ехал, может, с песней звонкой,
Пролагал по снегу путь.
Поленился взять сторонкой,
Поленился обогнуть.
Мертвым елкам – не подняться.
Стиснув зубы, ухожу.
Что ж, не десять, а пятнадцать
Завтра елок посажу!

ДОБРОТА

Маленький народ мой, вечное спасибо,
Что в тебе родиться было мне дано!
Ты одна чешуйка великанши рыбы,
Ты в тайге бескрайней деревце одно!

Что с того! На свете ты немало значишь:
Добротой велик ты, щедростью высок,
Помыслы и чувства от людей не прячешь
В погребок под снегом, в тайный туесок.

Ты ладонь открытой подаешь при встрече
В знак доверья к людям, вечной доброты,
Как ручей весенний, прямодушны речи,
И, как снег таежный, помыслы чисты.

Добрый ты не только к брату или куму,
А ко всем, кого бы к нам ни занесло.
И дорога к сердцу – как дорога к чуму,
Где всегда для гостя – пища и тепло.

Я твоя частица, мой народ, и мне ли
Умолчать о том, что в жизни непростой
Мелкие людишки издавна умели
Пользоваться ловко этой добротой.
«Ах, народ-ребенок, он такой наивный...» –
После повторяли, смеха не тая.
То при всех обидах стойкой, неизбывной
Все же оставалась доброта твоя!

Жалости слезливой вовсе не просила,
И твердить готов я нынче неспроста:
«Разве это слабость? Это признак силы!
Славься же, святая сила – доброта!»

Добрый наказ
Отец и мать наказывали мне:
В лесную глубь и глушь не забирайся,
От дома удаляться не старайся –
Того, что близко, хватит нам вполне!

Достанет здесь и ягод, и зверья,
Бери богатства осторожно, с краю –
И за любовь твою к родному краю
Тебе спасибо скажут сыновья.

И сердцем я воспринял тот завет,
Хотя не раз тайгу мою родную,
Как будто сеть рыбацкую сквозную,
Из края в край прошел за много лет.

Я Севера природу понимал,
Берег ее, как сын, в глаза ей глядя,
И никогда кедровой шишки ради

Живой зеленой ветки не ломал.

Таскал сухие сучья для костра,
Расчистив круг на берегу высоком,
И в ствол живой, налитый вешним соком,
Не всаживал напрасно топора.

Как нельма, лодка по воде плыла,
Легко плыла, следа не оставляя,
Ненужным треском тишь не оскорбляя,
Раскинув весла, словно два крыла.

Я кочевал в тайге не раз, не два,
Не позабыв, чему учили предки:
Где ты прошел, пусть вновь сомкнутся ветки,
Примятая расправится трава!

И лес меня за то вознаградил,
Исполненный и щедрости, и мощи.
В березовой, легко шумящей роще
Я в знойный день прохладу находил.

Я слушал голоса бессчетных птиц –
Все щебетало, тинькало, свистело,
И сердце, как под парусом, летело,
И не было для радости границ.

И ягод я напробовался всласть –
До сытости, до сладостной истомы.
Моя тайга, мы так с тобой знакомы,
Коль заблужусь я – ты не дашь пропасть.

И я тебе, тайга, пропасть не дам!
Все сохраню, что было сердцу любо,
Роскошную твою живую шубу
Не разрешу попортить, не продам.

Шуршит листва, моих касаясь плеч,
Бурлит ручей на перекате звонком,
И мать-тайга мне кажется ребенком,
Которого обязан я беречь.

Моя тайга, во мне – твои черты,
Мне без тебя весь мир и пуст, и пресен.
Тебе я спел бы столько нежных песен –
Да жаль, что слов не понимаешь ты!

ПОЕДИНОК

Он встал на мысу изваяньем
И вскинул зарю на рога –
И, красным облитый сияньем,
Взревел, выкликая врага.

Глаза его жадно горели,
Летела земля от копыт.
Казалось, в напрягшемся теле
Нездешняя сила кипит.

Шерсть – дыбом, и ноздри раздуты,
И хвост – от азарта – торчком.
Сохатого в эти минуты
И хищник обходит бочком!

И зов его снова и снова
Послышался в кущах густых,
И лес от могучего рева
Испуганно замер, затих.

Но вызов соперник услышал!
Раздвинув листву головой,
Навстречу сородичу вышел –
И грянул отчаянный бой.
Здесь вялых ничьих не бывает,

Здесь бьются, но после того
Лежачего не добивают,
Ногами не топчут его...

ЛЕСНЫЕ ТРОПИНКИ

Лесные тропинки, лесные тропинки,
Где ваши начала, что ждет вас в конце?
Лесные тропинки, вы словно морщинки
На близком давно и знакомом лице.

Кто скажет, как много вас нынче на свете,
На светлых просторах родимой земли?
Вы, словно подборы раскинутой сети,
Опушки, болотца кругом оплели.

Здесь часто охотники шли на охоту,
И кажется: хвойный и лиственный шум
В себе сохраняет поныне работу
Их мыслей серьезных, размеренных дум.

Где нынче па зверя поставить капканы?
Где белку стремительную подстеречь?
Стою на тропинке, у края поляны.
И кажется, слышу негромкую речь.

Ложилась на землю сухая пороша,
Шел к дому охотник, закончив дела,
И в радость была ему тяжкая ноша,
А легкая ноша печальна была.

Тропинки, ведете вы в дальние дали,
И сразу не скажешь, какая верней.
Случалось и так, что с пути вы сбивали
И даже губили упрямых парней.

Лесные тропинки, лесные тропинки,

Вы, словно арканы, сплелись на земле.
Хочу вас, как строчки, читать без запинки
И утром, при солнце, и ночью, во мгле.

Настала весна, оседают сугробы.
Змеитесь, тропинки, сводите с ума
И фею лесную запутайте, чтобы
Навстречу охотнику вышла сама!

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ

Когда я вижу брошенных собак,
Такая боль одолевает сердце,
Что затмевает белый свет в глазах,
И камень давит на душу; и деться
Куда от той сжимающей тоски,
От темной наплывающей печали,
Когда я вижу, как они, скучая,
Подолгу бродят улицами, ждут
Чего-то, вечно сидя у помоек,
Как будто грязь отбросов стерегут,
Как будто ждут, что позовут домой их.

Я думаю: за что же человек
Наколдовал им эту злую долю?
Как можно друга вышвырнуть на снег,
К бездомной жизни брата приневолить?
На то ли разум человеку дан?
Их жизнь – что плод на стебельке увядшем:
Подкарауливать кусок дразнящий,
Чтоб у помойки волю дать зубам;
Отстаивать у жизни каждый час,
Когда судьба так безучастна стала...

Собака эта руки вам лизала
От радости, когда встречала вас!
Она бы снова дом ваш стерегла,
Она детей бы из беды спасала.

Но человеку дружбы стало мало,
Или в душе огонь уже угас?
Бывало, ханты свято берегли
Помощников своих четвероногих.
Есть или нет еды, а поделись
С собакою. Я не встречал убогих
Таких животных в Северном краю,
Им там, как нищим, кус не подают.
Ужель и я смогу привыкнуть сам
К голодным их и жаждущим глазам?..

МОЙ НАРОД

Мой народ,
В каком краю Земли
Ты рожден Природою предвечной?
Сквозь туман веков тебя вели
Труд
И сила щедрости сердечной.

По преданьям,
Начался твой путь
У предгорий – на степных равнинах.
Шел ты,
Ветру подставляя грудь –
Под покровом крыльев лебединых...

От врагов, от мира, от невзгод
Брел на север –
К вьюгам и морозам...

Как разбитый о пороги плот,
Был по лесотундре ты разбросан.
Но среди сугробов и лесов,
Слушая ночное завыванье
Снеговеев
И летящих сов,

Ты хранил, хранил свое дыханье!

Взял в друзья крутые холода,
Звездный свет – неяркий и тягучий,
Что струился,
Как из-подо льда,
Сквозь оконца узенькие в тучах...

Радости и горести сложил
Вместе...
И под этим небом низким
Укрепился... И остался жив
В стороне,
Уже для сердца близкой...

В тайники глухие заглянул
И, увидев щедрый мир природы,
Сердце настежь – к свету – распахнул,
Словно Обь
Весной – большие воды...

Ты, бывало, и раздоры знал:
Лили кровь сверкающие стрелы...
Но всегда
На помощь разум звал —
И стремление к единству зрело!

Средь других народов – невелик
(Как один орех в кедровой шишке).
Мой народ,
Ты смысл добра постиг
Всей душою, а не понаслышке...

Ласков с приходящими людьми,
Ты не ведал хитрости и страха –
Мысли сокровенные твои
Никогда не крались росомахой...

Словно белой ночи глубина
(Где пути прозрачны
И открыты),
Чистая душа твоя видна —
Добротой
Полны ее порывы...

От земли своей
И от воды,
Как хозяин – бережно и честно,
Столько зверя брал и рыбы ты —
Чтоб они вовеки не исчезли...
Для людей,
Что в будущем придут,
Здесь —
На северных просторах древних —
Зацветет
Твой неустанный труд,
Словно плодоносные деревья!

ДРУЗЬЯ

С хорошим другом жизнь проходит ладом,
Его лыжня с моей лыжнею рядом.
Его тайга с моей тайгой сроднились,
Его костер с моим объединились.

В конце охоты – шутки, прибаутки.
Мы греем души от одной закрутки.
Я научился дружбе в раннем детстве:
На речку вместе, за морошкой вместе.

На нартах быстрых весел колокольчик,
Мы сочиняем песню среди ночи,
Олени мчатся, и собаки лают,
И звезды светляками пролетают.

Давным-давно я понял, что за дружбу
Порой с самим собой бороться нужно.
Пускай забавы детские далече –
Я с детства знаю, что с друзьями легче.
Друг тоже знает, что в шальную вьюгу
Не отступлю и помогу я Другу.

***

Хорошо, когда с березки пестрой
Листья косо падают, легки,
Словно день, уже морозно-острый,
Маленькие крутит оселки.
Я, как все поэты, осень славлю,
Листья разноцветные люблю.
Вот ладонь летящему подставлю,
Жизнь его воздушную продлю!

Хорошо, когда легко слетает
Тихий дождь из тучки надо мной
И струится, словно бы сплетает
Гимку – с небосвод величиной.
Не сидится мне в уютном доме,
Выбегу под дождик на крыльцо
И подставлю лодочкой ладони –
Освежить усталое лицо.

Хорошо и в пору снегопада:
С высоты течет со всех сторон
Теплый снег, насколько хватит взгляда,
В сеть меня завертывает он.
Подставляю руку я снежинкам
И любуюсь, как во все концы
По ладони, по ее тропинкам,
Горностаи скачут и песцы.
Мне любезна Севера природа,

Я смотрю с восторгом с детских лет,
Как съезжают звезды с небосвода,
Как за ними остывает след.
Тех маршрутов нет на звездных картах,
Но зато отлично помню я:
«Ездят в гости звездочки на нартах», —
Объясняла матушка моя.

И представьте, как мне больно это:
Взглядом проводив полет звезды,
Вспомнить вдруг, что для кого-то где-то
Стало небо символом беды.
Знать, что где-то день в смертельном стоне
Бомбами расколот на куски...
И тогда открытые ладони
Я сжимаю с хрустом в кулаки,
Тем, по чьим приказам гибнут дети,
Кто к живому мстительно-жесток,
Не хочу оставить на планете
Места – даже с малый ноготок.
Я хочу, чтобы на землю с неба
Падали на радость вам и мне
Только звезды, только хлопья снега,
Только листья в чуткой тишине!

***

Прилетела белой птицей
В край наш северный зима.
Белой гостьей лес гордится
И от ревности с ума
Сходит: неужели где-то
Есть подобная краса,
Обласкала гостья эта
И соседние леса?
И поверьте, я не буду
Уговаривать его,

Потому что всюду – чудо,
Волшебство и колдовство,
Сказка снега и мороза –
Я дивлюсь, не надивлюсь:
Вот красавица береза
Нарядилась в белый гусь,
Ель – хозяюшкой в хоромах,
Вся – величье, стать и власть,
И толпа ее знакомых
К ней на праздник собралась.
Будет солнце их касаться,
Обнимать и целовать...

Я и сам уже, признаться,
Начинаю ревновать!

МЕТЕЛЬ НА ЛАДОНИ

Протяни ладонь в метель –
Пусть метель на ней шаманит.
Пусть раскрутит карусель
И от пляски не устанет!

Целый мир – твоя ладонь,
Мир страстей и наваждений,
Танцев, свадеб, и погонь,
И смертей, и возрождений.

Миллион снежинок враз
Налетит, меж пальцев тая,
Словно это дразнят нас,
Прячась в норы, горностаи.

Побегут во все концы
Вдаль по линиям-дорогам
Зайцы робкие, песцы...
И для них ты будешь богом!

Прогонять их не спеши,
Потерпи, постой немного,
Свежим ветром подыши,
Руку вытянув с порога.

Успокоится пурга,
И само собою выйдет,
Что ни бога, ни врага
Этот мир в тебе не видит.

В сердце ясно и светло,
Как в большом уютном доме.
...Вдруг почувствуешь тепло
Ты в обветренной ладони,

Словно добрым костерком
Солнце выплыло из мрака,
Словно лижет языком
Руку верная собака!

ЗИМОЮ

Когда угомонятся вьюги,
Багульник низкий заметя,
И лягут всюду по округе
Сугробы, спинами блестя,

Когда мороз тугим арканом
В реке задушит полынью.
И звезды светят северянам,
На вахту заступив свою, —

Всегда отыщется приезжий
С душой, восторженной весьма:
«Ах, дивный край! Ах, воздух свежий!
Как я люблю тебя, зима!»

Что ж, добрый гость, и в самом деле
За похвалу спасибо – но
Легко на стужу и метели
Глядеть из номера в окно!

Что знаешь ты, с твоей любовью,
Про зиму Севера! Она,
Согласно старому присловью,
Как шея лебедя, длинна.

А ветер! Если приласкает –
С ним не столкуешься добром;
Он человека подсекает
Под корень, словно топором.

И коль слаба твоя одежда –
Сам на себя тогда пеняй:
Как недозревшая морошка,
Замерзнешь в камень, так и знай.

Ну как? Не знал, что есть на свете
Такие, братец, холода?
А если нужно, скажем, сети
Еще тащить из-подо льда?

Иль, скажем: дом, тепло от печки,
Дверь приоткроешь – и сама,
Как в белых шубках человечки,
Вбегает с улицы зима?..

Зато в дороге, в каждом чуме,
Знаком ты или незнаком,
Тебя накормят без раздумий
Оленьим сочным языком.

Из нельмы белой строганиной
И сладким чаем угостят.

В беседе искренней и длинной
Часы неслышно пролетят.

И не предмет для разговора –
Ты зрелый муж или юнец:
Не дрогнув, снежные просторы
Прошел ты – значит, молодец.

И значит, свой! И значит, можешь
Здесь жить, как все, своим трудом.
И там, где шапку ты положишь,
Есть для тебя и стол, и дом.

И значит, вправе ты, дружище,
Сказать, что любишь этот край.
Укореняйся, строй жилище
И свадьбу шумную играй!

МЕЛОДИИ СНЕЖИНОК

На кусты, на речные изгибы
Опускается снег поутру,
Будто в небе огромные рыбы
Изобильную мечут икру.

Или так я сказал бы: слетая
С неба хмурого, с облачных груд,
Словно маленькие горностаи,
Легкий танец снежинки ведут.

И на землю притихшую лягут,
Образуют живые пласты,
Не убавят забот нам и тягот,
Но прибавят земле красоты.

Разукрасят поляны, овраги,
Чтобы радость к нам в души вошла,

Как тепло от березовой чаги,
В жаркой печке сгоревшей дотла.

А кого-то и грусть посетила,
А кого-то – и память, и боль...
И откуда такая в них сила,
В этих звездочках, белых как соль?

Никакая, должно быть, наука
Не ответит на этот вопрос.
Есть в них музыка – только без звука,
Есть в них песня – без слов и без слез.

На лесной заметенной тропинке
Я стою и тихонько молю:
Подарите мне радость, снежинки,
Поврачуйте вы душу мою!

НЕ ТОРОПИСЬ, ЗИМА...

Не торопись в края мои, зима!
Не разоряй осенние палаты!
Что дашь взамен ты? Серебро – не злато,
Ведь ты об этом знаешь и сама.

Чем ты богата? Чем заменишь ты
Лесной брусники пламенные вспышки,
Могучих кедров бронзовые шишки,
Глядящие на землю с высоты?

Почувствовав дыхание твое,
Сожмутся шишки и простятся с кедром,
Падут на землю, сорванные ветром,
И стукнутся затылком об нее...

Постой, зима, не торопись пока
Сковать морозом ток древесной крови

И листьев речь прервать на полуслове,
Лишив леса живого языка.

Не торопись, пожалуйста, зима,
Срывать с лесов их шубу золотую
И под ноги бросать себе, лютуя,
Чтобы она погибла задарма!

Не торопись наполнить облака
Чешуйками бесчисленными снега,
Чтобы на землю их обрушить с неба –
На лес и дол, на реки и луга.

На солнечные пальцы не спеши
Напялить ледяные рукавицы
И женщине любимой на ресницы
В усилии холодном не дыши.

В свой белый невод землю не лови,
Пускай еще продлится хоть немного
Усыпанная листьями дорога
Моей осенней трепетной любви…

***

Говорят, услышать стоны выпи –
Это к смерти, это не к добру.
Что-то есть такое в этом всхлипе,
Ну, а что – и сам не разберу.

Но душа сжимается от боли,
Бесприютно делается ей,
И перебираешь поневоле
Родственников близких и друзей.

Пусть минует эта доля злая
Всех, кто в мире дороги для нас!

Люди смертны – да, конечно, знаю…
Да, когда-нибудь... Но не сейчас!..

Мы начитанны, у нас ответы
Наготове на любой вопрос,
Почему же старая примета
До сих пор нас трогает всерьез?

Почему, не веря, все же верим?
Или, с замиранием в душе,
К неизбежным будущим потерям
Исподволь готовимся уже?

Где-то стонет выпь... И в те минуты
Мы, одной причастные судьбе,
С болью вспоминаем почему-то
О других. Совсем не о себе!..

ХИЩНИКИ

Вот орел по синеве небесной
На крылах распластанных летит,
Падает и лапою железной
Жертву беззащитную когтит.

Как прекрасен все же он в полете,
Как прекрасно каждое перо...
Виноват ли он, что жаркой плоти
Жаждет всеорлиное нутро?

Сам поел – спеши к птенцам на помощь.
Целый день пищать не устают
Хищные младенцы, – не накормишь
Вовремя – друг дружку заклюют.

Вот в лесу бежит волчище серый,
Мне, друзья, противен волчий род,

Потому что волк не знает меры:
Более погубит, чем сожрет.

Щука под корягой обитает,
Нрав ее разбойничий таков:
Если голодает – поедает
И своих сородичей мальков.

Хищные от века твари эти
И пребудут хищными вовек.
Но порой встречается на свете
Хищнику подобный человек.

Не зубами хватит, не когтями –
По примеру волка и орла, –
Действует коварными путями,
Оговором бьет из-за угла.

Яд в словах, что в кулаке свинчатка,
Стыд – пустяк, на совесть – наплевать,
Не людская, хищная повадка:
Вгрызться, впиться, выхватить, урвать.

Я охотник. Сердцем принимаю,
Понимаю жизнь лесов и рек.
Я орла-красавца понимаю,
Даже щуку в чем-то понимаю,
Даже волка в чем-то понимаю,
Хуже волка – хищник человек.

ПРИМЕТЫ

Как много было дедовских примет!
Иных из них давно уж нет в помине.
Другие сквозь десятки зим и лет
Дошли до нас и вот – живут поныне.
Нельзя, они гласили, называть
По именам зверей и птиц, иначе

Тебе вовек в любом лесу не знать
Ни счастья на охоте, ни удачи.

Нельзя плевать в костер – огонь всерьез
Обидится и дом спалит твой сразу.
И там бывать, где жертву ты принес,
Чтоб не бояться порчи или сглазу.

Ни снег не смел обидеть, ни грозу,
Ни землю, ни свирепый океан ты
И должен был беречь зверей в лесу,
Что духами родов считали ханты.

Приметы! Вы прошли святой тропой.
Бывали и в забвении, и силе,
Случалось, что удачу за собой
Иль невезенье людям приносили.

Сам рассуди, где мудрость в них, где ложь,
И оцени старинные советы.
Но ты греха на душу не берешь,
За то, что помнишь отчие приметы.

РАДУГА

Если радуга выплыла в небо –
Никогда не обманет она:
Значит, вынырнет солнце, как нельма,
Дождь иссякнет, придет тишина,

Если ж в ясную встала погоду –
Это значит, что, наоборот,
Словно с только что поднятой гимки
Дождик с неба закаплет вот-вот.

Кто с природой в согласии добром,
Тот уверен: правдивее нет

Этих самых простых и надежных
И в народе живущих примет.

Знать, недаром красавицей девой,
Самых высших достойной похвал,
Самой чистой и самой правдивой
Семицветную предок назвал.

Знать, недаром в минувшие годы,
Устремляя глаза свои ввысь,
В том, что скажут правдивое слово,
Светлой радугой ханты клялись.

Эта клятва – священная клятва,
И нарушить ее не моги,
А не то – небеса покарают
Или грозный Хозяин тайги.

Я избрал себе долю поэта,
К правде жизни я сердцем тянусь,
В том, что буду правдивым и честным,
Светлой радугой, люди, клянусь!

ОБЫЧАЙ

Так бывало: дочку или сына
Женщина в свой срок родит на свет –
И в руках свернется пуповина...
Как с ней быть?
Важней вопроса нет!

Тут напрасно время не теряли:
Загадав желание свое,
Где рожали – там и оставляли
На здоровом дереве ее.
Если дочь – березка постройнее
Выбиралась неспроста:
В жизни пусть не расстаются с нею

Стройность, нежность, красота.

Чтобы льнули к ней, другим на зависть,
Парни, сердцем горячи,
Чтобы взгляды их ее касались,
Как листвы – лучи.

Если сын – на лиственнице крепкой
Надо пуповину повязать,
Чтобы в жизни плыл не утлой щепкой,
Силу мог и удаль показать.

Чтобы волны в споре им сдавали
И теченья мощная струя,
И с почтеньем травы целовали
Малицы охотничьей края...

А привяжутся к ребенку хвори –
Поступали предки так:
Пуповину скармливали вскоре
Самой лучшей из собак.

Пусть и это вам не будет странно:
Издавна в краю обском
Знали все: любые можно раны
Врачевать собачьим языком.

Эти дни уж больше не вернутся,
Навсегда остались далеко,
Но до нас сумели дотянуться,
Словно нить, продетая в ушко,

Думы предков, как они желали
Каждому наследнику добра!
В этом переспорят их едва ли
Лучшие на свете доктора!

ЗДРАВИЦЫ

В праздничном застолье сберегая
Дедовский обычай и обряд,
Первым делом, чарки содвигая,
«Счастье, здравствуй!» – ханты говорят.

Если кто-то завтра – в путь с порога,
Сквозь туман и, может быть, пургу,
Скажут так: «За добрую дорогу
И за след хороший на снегу!»

Выпьют за удачу, за охоту.
А не то, подняв с вином сосуд,
С хитрецой таинственное что-то,
Словно наговор, произнесут:

«Счастливо-живительно,
Печенисто-икрянисто!»

Это значит – скоро молодая
Девушка покинет отчий дом.
И опять, обряд же соблюдая,
Говорят загадочно о том.

Если кто-то взгляд метнет колючий
На другого, зло в душе тая,
Есть присловье и на этот случай.
Слыхивал его когда-то я:

«Чтобы мысли были бы здоровы, –
Скажут, чарку осушив до дна, –
Чтобы не осталось чувства злого,
Как на дне – ни капельки вина!»

И с последней чаркой задушевно
Тоже произносится не зря:
«Чтобы завтра было белодневно!» –
Солнечно, короче говоря!

Мудрость несомненная, большая
В здравицах, рожденных в старину.
Только надо, предкам подражая,
Помнить мудрость их еще одну:

Всяк в застолье меру знать обязан.
Чарки ограничивать в числе.
Чтоб его живой и светлый разум
Не растаял, будто лед в тепле!

ЗАРУБКИ

Вот палочка – она в зарубках вся,
Ее отец, сквозь годы пронеся,
Мне передал и так сказал при этом:
«Она расскажет лучше всяких слов
Тебе, твоим сынам, сынам сынов,
Как мне жилось в былом, зимой и летом.

Взгляни – четыре грани у нее,
И каждая твердит мне про свое.
Вот здесь, мой сын, на первой грани длинной
Мой долг записан толстому купцу,
Грабителю народа, хитрецу, —
Немалый долг и рыбой, и пушниной.

Здесь, на второй – припомнить все хочу!
Отмечен долг «вос-ёху», богачу,
На третьей – долг шаману за камланье,
В четвертый раз на палочку смотрю —
И вспоминаю: русскому царю
Долг обозначен на четвертой грани...»

Была жестокой палочка-судьба:
Из человека делала раба,
Всю молодость отцовскую вместила.
Вот в руки я беру ее опять:

Невелика она, всего лишь с пядь,
Но страшная в ней чувствуется сила.

Страдая кратким летом от мошки,
Раскуривая гаснущую трубку,
Как много мой отец растратил сил,
Как много он кисов поизносил
За каждый долг, за каждую зарубку.

Сжимал он, хмурясь, палочку в руке:
Зарубки – словно волны на реке,
Но стихнет ветер – исчезают волны,
Лежит спокойно ровная вода,
Зарубки же, казалось, навсегда
Останутся, зловещи и безмолвны.

А мне зарубки палочки-судьбы
Сегодня вдруг напомнили горбы:
Гляжу на них, задумавшись, и мнится,
Что плач детей я слышу в час ночной,
И предков проплывает предо мной,
Согнувшихся под ношей вереница...

ЭЛЕГИЯ

Завернут небрежно, лежит он в амбаре,
Свой век доживает никчемно, бескрыло.
Ни ветер попутный в него не ударит,
Не вспыхнет над ним заревое светило.

Гниет на полу он, от времени старясь.
Насквозь его кромки прогрызли мышата.
Смотрю на него я, и жалко мне парус,
Летавший над Обью широкой когда-то.

Его бы опять на речные дороги,
На крепкую мачту, в рассветный огонь,

Чтоб солнечный лучик и ветер безногий
Зажал он, как прежде, в тугую ладонь.

Чтоб ветром студеным и солнышком полный,
Летел он, на быструю чайку похож,
Чтоб резала лодка высокие волны,
Как жирную нельму отточенный нож...

Ведь парусу снятся и ветры, и грозы,
Высокие волны, раскатистый гром,
И рыбьи чешуйки, как светлые слезы,
Еще до сих пор серебрятся на нем.

Мне жаль этот парус. Мне слышится снова
Отцовская просьба к седым небесам: –
О небо! Пошли нам большого улова
И ветра – рыбацким тугим парусам!

МОЛИТВЫ ХАНТОВ

Пустеют у хантов запасы былого,
Все реже услышишь старинное слово.
Как северный ветер, научный прогресс
К молитвам и мифам гасил интерес.
Хоть в книгах записаны сказки и были,
Что в долгих трудах фольклористы добыли,
Но стал телевизор для нас звонарем,
Все реже те книги мы в руки берем.

А были у хантов когда-то ловитвы –
На сон, и на гон, и на счастье молитвы,
Молитвы о долгой по тундре ходьбе,
Молитвы о щедрой в сорах неводьбе.

Молитвы о ливне, молитвы о ветре,
Молитвы о соболе, белке и вепре.
Молитвы о Матери доброй – земле,

Молитвы о солнце и вешнем тепле.

Молитвы о мире, молитвы о море.
Молитвы о жадном чиновнике-воре.
О тате ночном, и о злобе дневной,
И даже молитвы о жизни с женой.

Давай-ка последние вытряхну крохи
Из тощей сумы отошедшей эпохи.
Узнаю, вернувшись к былым берегам,
Каким наши деды молились богам.

ЯЗЫК ХАНТЫ

Отчий язык мой, зовущий
К правде и свету язык!
В малом народе живущий,
Разве он впрямь невелик?

Кладезь немеркнущих знаний:
В нем сохранились, точны,
Сотни для снега названий,
Сотни – для резвой волны.

Сотня имен и для ветра
В нем на сегодня жива...
Нет, не впустую так щедро
Он расточает слова!

Наша за ними природа,
В них никогда не умрут
Нашего – ханты – народа
Опыт, и разум, и труд.

Мощен, как прежде, и волен
Северный древний язык,
Кто говорит, что он болен,

Высох, зачахнул и сник?

Годы его не сгубили,
Меток он, гибок, богат,
Если вы что-то забыли,
Это ж не он виноват!

Шел я по нашему краю,
Множество рек пересек,
Ягодки слов собирая
В берестяной туесок.

Тысячу лет проживете,
Перешагнете века –
Знаю: никто не увидит
Донца того туеска.

Недрам сибирским подобен,
Где над пластами пласты,
Тонок язык наш, подробен,
Полон живой красоты.
Высказать все он способен –
Всю глубину доброты!

Может, как быстрая речка,
Песню весеннюю спеть.
Может, как жаркая печка,
В стужу людей обогреть.

Может взреветь ураганом,
Нельмой на солнце блеснуть,
Может ременным арканом
Горло врага захлестнуть.

Если ж явление ново –
И для него в свой черед,
Сыщет, придумает слово,
В русском подчас призаймет.

Отчий язык мой, зовущий

К счастью и свету язык!
В братстве народов живущий,
Разве ты впрямь не велик?

ВЕСЕННИЙ РУЧЕЙ

Когда воткнутся в землю, грея,
Мильоны солнечных лучей,
Как золоченые хореи, –
В снегу рождается ручей.

И тает снег, его питая,
Не замедляясь ни на миг,
Сначала, вроде горностая,
Бежит он – гибок, невелик.

Потом, окрепнув понемногу,
Он начинает матереть:
Летит оленем по разлогу,
Крушит преграды, как медведь.

Несется, ласковый и грубый,
И лишь тогда найдет покой,
Когда с налета, губы в губы,
Вдруг поцелуется с рекой!
Таких ручьев должно немало
К реке сбежаться всякий год.
Чтоб наконец она взломала
Свой потемневший толстый лед.

Теки, широкая, работай!
Но, отражая белый свет,
Кому обязана свободой,
Скажи, ты помнишь или нет?

СОВЕТЫ ОТЦА

Всего нагляделся. Объездил полсвета.
Узнал, как живут племена и народы,
Но помню и ныне отцовы советы, –
Не властны над ними ни годы, ни моды.

Умел он советовать мне без нажима,
Зарубкою слово его становилось:
– Будь смелым и твердым, но не одержимым
И случаю не отдавайся на милость.

Достоинство наше храни родовое.
Будь скуп на слова. Не мели, как Емеля.
Болтливый язык, как весло кормовое,
Ломается на полдороге до цели.

Наловишь ли рыбы, добудешь ли зверя –
Не надо кичиться своею удачей.
Гласит же старинное наше поверье:
Молчун – па коне, хвастунишка – на кляче.

И в ведро с друзьями дружи и в ненастье.
Проверь, а помог ли ты в жизни кому-то.
Чтоб ждать не пришлось понапрасну участья
Тебе самому в грозовую минуту.

Не жадничай. Древний закон запрещает
Транжирить запасы природы живые.
Бери сколько надо, Земля не прощает
Тому, кто зорит у нее кладовые.

В дорогу собрался – умом запасайся,
Ведь знанье важнее мясного припаса.
И раны чужой осторожно касайся,
И в жизни чужой никогда не копайся.

Без правды душа – словно печь без отдушин.
Без горечи жизнь – словно пища без соли.
Не будь подозрителен и благодушен,
Сдружи в своем сердце и чувство, и волю.

Всего нагляделся. Объездил полсвета.
Узнал, как живут племена и народы,
Но помню и ныне отцовы советы, –
Не властны над ними ни годы, ни моды.

БАЛЛАДА ОБ ОРЛЕ

Мальчишеской порой, в далекие года
Увижу, как летит орел ширококрылый, –
И робкая душа становится тверда,
Исполнившись в мечтах его небесной силы.

Чье сердце не пленит величие орла,
Когда на свете нет могущественней птицы?
Распластывает он просторные крыла –
Влекомый вышиной без края, без границы.

И с этой неземной, чудесной высоты,
Где им изучен мир, его лесной обычай,
Он камнем упадет в сторожкие кусты,
Чтоб миг спустя взлететь с весомою добычей.

И человек не зря орла-богатыря,
В преданьях наделив судьбой необычайной,
Издревле почитал за Птичьего Царя,
Владевшего досель неведомою тайной.

А мой народ его признал как божество,
Хранящее очаг с отеческой любовью.
Спокойствие несло могущество его
Богатому жилью и нищему становью.

Обиды от людей не ведали орлы –
Герои вековых распевов и сказаний,
Ведь освящал дома, их красные углы,
Животворящий дух орлиных изваяний.

Такие вот дела... И мне на ум пришла
Из тех же детских дней история другая:
На улице села увидел я орла
С простреленным крылом – узнать бы негодяя...

Подумайте: орел – и вбитый в землю кол.
Затянута узлом па голени веревка.
Поодаль – ребятня, хоть кто бы подошел
К подранку, на земле сидящему неловко.

Боятся – и визжат! И лишь безродный пес
Испробовать решил на пленнике силенку —
Да только ноги он в тот миг едва унес
От сабельных когтей, метнувшихся вдогонку!

А дети, хохоча, швыряют сгоряча
В пернатого царя огрызки, рыбьи кости –
Презрительно в ответ глядит он, клекоча,
Лишь землю иногда когтит в бессильной злости.

И грозно, тяжело косится на крыло.
Прислушайся к его болезненному стону –
В нем тщетная мольба, чтоб небо помогло
Взлететь и заскользить, как встарь, по небосклону.
Но глух небесный свод, и явственен исход,
И пленник, потеряв последнее терпенье,
Повисшее крыло в отчаянье клюет,
Да так, что брызжет кровь, пятная оперенье.

Ворочаясь, крутясь, расшвыривая грязь,
Неволей тяготясь куда сильней увечья,
Он плоть свою долбил – пока не поддалась
Истерзанная кость увечного предплечья.

Все силы истощив, от боли еле жив,
Наивный! Он и впрямь уверовал в свободу, –
Здоровое крыло с обрубленным сложив,
Надеялся взлететь навстречу небосводу.

Вот мышцы напряглись... На полсажени ввысь
Взметнулся – и упал пернатый полонянин.
Пытался вновь и вновь – а силы пресеклись,
Учился небом жить, а был землею ранен.

С ночною темнотой, обманутый мечтой,
Он ткнулся головой в дорожные каменья...
Не мог, наверно, жить в разлуке с высотой
Ни месяца,
ни дня,
ни часа,
ни мгновенья...

МЕЛОДИИ ЛЕСА

Здесь, в лесу, полно мелодий –
Словно ягод в туеске:
На бугре и на болоте,
И вблизи, и вдалеке.

По весне тут всем не спится,
Сон летит отсюда прочь:
Белой ночью свищут птицы
И озвучивают ночь.

Жизнь я счел бы неудачной,
Если б мне не довелось
Слышать, как в тиши прозрачной
В день осенний
Трубит лось,
Слышать, как на зорьке росной,
На пороге зимних дней

Сам Хозяин рявкнет грозно —
Листья падают с ветвей!

А зимой, когда потонут
Дали в клубах снежной мглы,
Слышно, как деревья стонут,
Стонут старые стволы...

Льется музыка лесная,
То печальна, то бодра,
Словно белка молодая,
Мысль становится быстра.

Берегите ж многострунный,
Достающий до небес,
Старый, вечный,
Вечно юный
Музыкальный, звучный лес!

***

Земля моя,
Ты чахнешь на глазах,
Как нищенка, разута и раздета.
Давно ль ты в разноцветных торбазах
Встречала глухариные рассветы?
Давно ли ты на берегу Оби
Веселые кружила хороводы.
А ныне...
Что за мусор там в глуби?
И что за нечисть испятнала воды?

Где раньше утки прятались в сорах
И где таймени холки наедали,
Теперь клубится омертвелый прах
И грай вороний оглашает дали.

Пуста сегодня пазуха тайги,
И все вокруг пропахло едкой гарью.
Ужель теперь мы кровные враги
С тобой, мое родное Приполярье?

В тяжелых шрамах, в тысячах морщин
(Елозят вездеходы-скарабеи!)
И вся тайга от впадин до вершин,
И тундра вся до самого Тамбея.
На «временных» гляжу и не пойму –
Ведь вроде с добрым делом приезжают.
Почто ж они сорят в чужом дому,
Почто ж они хозяев обижают!

***

Человек с Природой шел в сраженье!
Потоптавший тысячу невзгод,
Он шагал, веками, как саженью,
Времени отмеривая ход!

Одолел морозы он и вьюги,
Тундру покорил и приручил –
Словно шкуру жесткую зверюги,
Выделав искусно, умягчил.
Победил и выси он, и дали –
И, родную землю одаря,
Ей на грудь, как синие медали,
Понавесил новые моря!
Славьте, славьте, славьте Человека –
Только с ним приходит в мир Добро!
Так писало, кажется, от века
Не одно достойное перо.

Но сегодня сто противоречий
Населяют голову мою:
Надо ль, чтобы разум человечий

Был всегда с Природою в бою?

Неужели стоило рождаться
Под его высокою звездой
Только для того, чтобы сражаться
С небом, и с землею, и с водой?

Разве, друг, тебе грозят, пугая,
Небеса, земля или вода?
Нет!
Нависла над тобой другая,
От тебя идущая беда.

Страшная открылась перспектива
Перед нашей маленькой Землей:
В пламени неслыханного взрыва
Стать однажды пеплом и золой.

Рухнут скалы, испарятся воды,
Даже время остановит бег.
Выведавший тайны у Природы,
Что на это скажешь, человек?

Где бы ты ни жил на этом свете –
Но другой планеты не найти.
Защити леса и реки эти,
И себя, и Землю защити!

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Память о войне во мне осталась,
И ничем ее не оскрести.
Все при мне, что в детстве мне досталось
Перевидеть и перенести.

Хлебные едва увижу крошки –
Вспомню, как в лихие времена

Мать, собрав, глотала их с ладошки,
Будто целовала их она.

Я теперь и сам уже немолод,
Но и нынче, в мирной тишине,
Зимний холод, мимолетный голод
Мне напоминают о воине.

Вспоминаю все, что за плечами,
Все, что было пройдено в былом:
Как пришлось рыбацкими ночами
Мне, мальчишке, действовать веслом.

И с ладоней давние мозоли
Не сошли – укрылись в глубине,
И в спине внезапный приступ боли —
Это тоже память о войне.

Много лет прошло, но если нынче
Женский плач услышу в стороне, –
По какой бы ни был он причине,
Он напоминает о войне.

Но и та, сильнее год от года,
С той поры звучащая во мне
Вера в несгибаемость народа –
Это тоже память о войне!

ДЕТИ ВОЙНЫ

Нас было много – юных, чьи отцы
Остались под Москвой и под Берлином.
Впрягались в лямку жизни мы, мальцы,
Зимой морозной, летом комариным.

Забыв надолго детскую игру,
Садясь в колданку-лодку на рассвете,

Мы торопились в заводи – в сору –
Обследовать поставленные сети.

Волна плескала снизу, сверху – дождь,
Куда ни поглядишь, вода повсюду.
Казалось, от простуды не уйдешь,
Но мы плевать хотели на простуду!

Пусть воздух пахнет близкою зимой,
Остры мороза первые уколы, –
Успей сдать рыбу, заглянуть домой
И, чуть обсохнув, добежать до школы.

А вечерами, с наступленьем тьмы,
У слабого огня ссутулив плечи,
О, как отцов и братьев ждали мы,
Какие им придумывали встречи!

Глуша в себе короткий детский всхлип,
Еще ночами долго мы не спали:
А вдруг погибший – все же не погиб,
Пропавшие без вести – не пропали?

Нам эта вера помогала жить
И, не сломившись в испытаньях многих,
За тех, кто не вернулся, послужить
И за слепых, безруких и безногих.

Не вешний луг, блестящий от росы, –
Мне снятся вновь, покоя не давая,
Промокшие, обмерзшие кисы,
Отцовский «гусь» – одежда меховая.

Недетская работа, боль потерь...
Сейчас, конечно, жизнь кругом иная,
По детство наше трудное – теперь
Я ни на что, друзья, не променяю.

Оно – мое сокровище и честь,
И если мир светлее для кого-то –

Я знаю: и моя тут капля есть,
Пускай не крови, так хотя бы пота!

ГОРСТЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Всю войну и четверть века после
Сына в отчий дом ждала она.
Солнце светит, ливень ли, мороз ли –
Все не отходила от окна.

Все напрасно! И тогда решила
Побывать хотя бы в том краю,
Где его солдатская могила,
Где сложил он голову свою.

Только где, в каком далеком месте
Ей рассыпать горсть родной земли?
Сказано о нем: «Пропал без вести...»
А другие вести не дошли.

Но решилась. В дальний путь пустилась.
И однажды на исходе дня
Тихо на колени опустилась
На гранит близ Вечного огня.

Это место для народа свято,
И не вянут здесь поверх плиты
В память Неизвестного солдата
Все цветы, цветы, цветы, цветы.
На граните – белизна и алость,
Разноцветным – нет цветам числа!
Мать, вздохнув, впервые растерялась:
Ведь она цветов не принесла,

Ведь природа Севера сурова,
Лето – кратко, холода – круты,
Нет у нас обычая такого –

На могилы приносить цветы.

Краешком платка отерла слезы –
И туда, па камень, где легли
Георгины скорбные и розы,
Робко положила горсть земли.

И опять в молчании застыла,
Но сквозь боль и полузабытье
Материнским сердцем ощутила:
Люди рядом поняли ее.

И молчала, сына вспоминая,
И лежала серой горсткой там
Та земля, что всюду нам – родная,
Та земля, что мать любым цветам.

ПЛАЧ ПО ПОГИБШИМ СЫНОВЬЯМ

Наше селенье война обездолила.
Не было сил.
Плач матерей, не дождавшихся радостной встречи,
От одинокой березы,
К которой народ приносил
Память свою, –
Разносился ветрами далече.

Духа березы святой
Этот горестный плач потрясал.
Почва у комля слезами насквозь пропиталась.
Как я, мальчонка, по старшему брату тогда тосковал!
Где запропал он?
Следа на войне не осталось.

В горе всеобщем, как лодка,
Когда между двух берегов
Волны и пена,

Береза от плача качалась,
В кротком убранстве тряпиц и отростков оленьих рогов,
Как наши матери, счастье увидеть отчаясь.

Обь замедляла свой бег,
Скорбь понятна, родимой, и ей.
Боль материнская!
Дали тобой наполнялись.
Солнце стояло недвижно,
В леса упирая хорей,
Гордые елок вершины и те преклонялись.
В черных платках были матери возле святой из берез.
Ветер касался их,
И тяжелел он от слез.

...Многие годы прошли,
Но забыть не могу я беду.
Плач матерей угасал угольками в ночах.
К прежней березе сегодня опять я неспешно иду –
К памяти ходят несуетно,
Чувствуя жизнь на плечах.

Как поседела береза!
Иссохла она, словно боль,
Боль воплощенная.
Нету травы у ствола:
Может быть, слез материнских горячая скорбная соль
В те еще годы ей стебли и корни сожгла!

Плача с годами в селении меньше.
О, времени власть!
Кладбище лет тех растет и растет...
У живущих в сердцах,
Будто стельки кисов, улеглась
Старая скорбь
И затянута нынче узлом.

Все это так.
Но всеобщее чувство вины

Душу мне жжет:
И сейчас плачут матери часто.
Люди, подальше упрятать бы нарту войны,
Грозный хорей ее переломать бы на части!

ВЕСНА

На северной земле моей весна
В своих правах упрямо утверждается.
И с каждой птицей к нам летит она,
И с каждой почкой лопнувшей – рождается!

И кажется: с пришествием весны
Со всей природы снят обет безбрачия.
Березки, словно девушки, стройны,
И светится сквозь кожу кровь горячая.

Они звенят, они к себе зовут,
И запахи весны неизъяснимые
От них под ветром в воздухе плывут,
Как парусные лодочки незримые.

И скоро темень полномочья сдаст:
Ночь убывает, как ни упирается, –
Так, шоркая весной о льдистый наст,
Полозья нарт упругие стираются.

...Но это все пока – мечты и сны.
Кругом снега и льды угрюмо щерятся.
Ах, песня, песня! Сколько до весны
Еще тебе с морозом силой мериться?

***

Пойдем со мной в наш тихий лес,
Там есть черника и морошка,

Там всевозможнейших чудес
Сто тысяч – и еще немножко!

Смотри: на скулах у ложбин
Сквозь листья светится смородина
Так звезды светят из глубин
Таинственного небосвода.

Мы соберем их в туесок,
А сердце выпустим на волю:
Пусть погуляет хоть часок,
Как скажешь ты, как я позволю.

Присев под кедром отдохнуть,
Вдохнем смолистый запах шишек,
И пусть ровней задышит грудь,
Стряхнув усталости излишек.

Садится солнце вдалеке,
И день, собравшийся в дорогу,
Как ягодка на языке,
Истаивает понемногу.

Пора и нам. Спасибо, лес!
Бежит, как ручеек, дорожка.
Теперь ты знаешь: здесь чудес
Сто тысяч – и еще немножко!

***

Путь, что мне остался, – все короче.
Тают невозвратные года.
Но глаза твои – таежные две ночи –
Светят мне, как прежде. Как тогда.

Черные – а светят! Что за чудо!
Но и вправду свет их для меня
Летом и зимой, везде и всюду
Ярче света солнечного дня.

Волосы, как ягель, поседели,
Грузом – возраст на моих плечах,
Но – дивиться этому тебе ли?
Вновь тону в твоих очах-ночах!

Помню, как тонул я в них впервые,
Увидав тебя к лицу лицом, –
Словно встретил волны грозовые
Слабым и неопытным пловцом.

То взлетал на гребень я, то круто
В глубину бездонную летел,
Но при всем при том ни на минуту
Выбраться на берег не хотел.

Как ни стыдно в этом признаваться,
Вздумай кто-нибудь меня спасти,
Я руками стал бы отбиваться,
Я ногами стал бы отбиваться,
Ты меня, спаситель мой, прости!

Не смогу покинуть никогда я
Эту чернь и глубь, мою тайгу.
Видно, только так вот – погибая! –
Жить с тех пор на свете я могу...

ГЛАЗА

Глаза – как две струящихся реки.
Они, как реки, тихие бывают –
Тогда они бездонно-глубоки
И мысли в них как рыбы проплывают.

Вот нельма драгоценная блестит,
Скользнул налим-хитрец, не дастся в руки!
Проплыл осетр – и важен, и мастит,
А вот возник оскал зубастой щуки.

Глаза – как реки... Могут иногда
Разлиться щедрым, теплым половодьем.
Вдруг обмелеть заставит их беда –
На дне их камни острые находим.

В них отразится радуга порой –
Невеста неба в ярком одеянье,
И месяц юный тешится игрой,
По ним рассыпав нежное сиянье.

То, потемнев, нахмурятся всерьез,
Шторм забушует, устали не зная,
А там, глядишь, навалится мороз,
И все затянет корка ледяная.

То глянут по-весеннему, не зло,
И все ж – поберегись, неосторожный:
Бывает в них обманчивым тепло,
И глубина подчас бывает ложной.

Я изучал их многие года,
Я вопрошал их: «О глаза людские,
Не лучше ль быть прозрачными всегда,
К чему, скажите, сложности такие?»

И неизменно приходил ответ:
«Ты в нас находишь то же, что и в мире!
Есть в мире солнца благодатный свет
И ветер ледяной в осенней шири.

Есть в мире чистота и глубина,
Но есть и чернота, и страх, и муки,
Гнилье и темень илистого дна,
Налимья скользкость, жадность хищной щуки.

Освободясь, как реки, ото льда,
Под голубеющими небесами,
О, быть бы нам прозрачными всегда!
Об этом, брат, мечтаем мы и сами...»

***

Скажу вам без обиняков:
Люблю смотреть в глаза людские,
В глаза детей и стариков,
Девичьи, женские, мужские.

В том видишь вечную слезу,
В том – простодушье, в том – хитринку...
Но я, рыбак, в любом глазу
Ищу волшебную икринку.

Мне в этот миг всего важней:
Сквозь все, что призрачно и зыбко,
Понять, какой характер в ней
Запрограммирован, как рыбка?

Такой ли, скажем, как муксун:
Спокойный, важный, величавый?
Не забияка, не драчун,
Он доброй пользуется славой.

Такой ли, скажем, как налим?
Играя скользкими боками,
Он крутится, неуловим, –
Не схватишь голыми руками!

Такой ли, как – прошу простить!
Зубастая и злая щука,
Что не смутится заглотить
Щуренка – собственного внука?

Я вроде опытный рыбак,
Не юноша – пора бы вроде
Мне разбираться, что и как
И в рыбьей, и в людской природе.
Но вот опять, свой суд верит,
Не угадал! Опять – ошибка!

Неуловимая душа,
Ты – ускользающая рыбка!

ХАНТЫЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Когда б ни спросили, с достоинством я признаю:
Прекрасны, как лебеди, женщины в нашем краю.
Иная посмотрит – и ты полыхаешь в огне.
Забыв про тревоги, что так донимали во сне.
И сердце сорвется и вскачь полетит с крутизны,
Как маленький камень в потоках бурлящей волны.
И сам ты, как лодка, плывешь в никуда без весла.
Она ж посмотрела и, легкая, мимо прошла.
Как звонко лепечет весною прозрачный ручей, –
Так весело плещется в воздухе звук их речей.
Улыбка их – радуга, льющая радостный свет.
Похода тиха, как встающий над миром рассвет:
Скользят они легче, чем пух или солнечный луч.
Такую полюбишь и будешь, как солнце, могуч.
У женщин хантыйских – проворные, умные руки.
Они вышивают любимым узоры в разлуке!
Как затканы золотом летом земные просторы.
Так шиты ягушки у хантов лучистым узором.
Он четок и чист, будто след горностая в снегу.
Пусть годы, хантыйские женщины, вас берегут.
Пусть жизнь ваша будет светла и любовью полна,
Вольна и покойна, как в тишь голубая волна.

БЕРЕЗА

Всех деревьев ты нарядней
В шали нежно-золотой,
Всех красивей, всех приглядней
На ветру шумишь листвой.

Ведь недаром, в самом деле.
Предки наши, столь мудры,
Стали делать колыбели
Из березовой коры,

Ведь недаром даже грозы,
Радуясь красе такой,
Редко-редко ствол березы
Тронут огненной рукой!

Есть рассказ, давно известный,
Что береза та была
Дочкой радуги небесной –
И на землю к нам сошла.

Потому-то в белой роще
Поброжу я – и уже
Станет чище, легче, проще
И светлее на душе.

Нет следа заботы черной,
Неудачи – все не в счет,
Будто в теле животворный
Сок березовый течет.

Я б тебя укрыл, береза,
Белоствольная сестра,
От метели, от мороза,
От шального топора.

Ведь недаром даже грозы.
Радуясь красе такой,
Редко-редко ствол березы
Ранят огненной рукой!

МАТЬ

С первого пронзительного крика
До молчания смертельного
У нас,
Даже если ходим далью дикой,
Нету ближе материнских глаз.

Горе сына стянется арканом
И на сердце матери моей.
Мать меня считает мальчуганом
Даже и на склоне моих дней.

Добрые ж дела сынов, как птицы,
К матерям летят среди зимы.
Нам во сне любое может спиться,
Ну а мамам снимся только мы.

Снится: сын опять не пообедал!
Снится: сын опять летит не к ней.
Эти наши радости и беды
Молодят иль старят матерей.

Солнце не лучится в непогоду,
Вечно в доме не сберечь тепло.
Только сердце матери сквозь годы
Светит одинаково светло.

Снова по ночам не спится мамам.
Вновь тревожно им за сыновей.
…Знаешь что? Пойду и телеграмму
Я отправлю матери своей.

Вопросы и задания

1. Назовите основные темы и мотивы поэзии Р. П. Ругина.
2. Перечислите лирические жанры, к котрым обращается Р. П. Ругин в своем творчестве.
3. Определите концепт «Родина» в поэзии Р. П. Ругина.
4. Составьте систему поэтических средств, используемых поэтом в своих произведениях. Какому тропу отдает предпочтение Р. П. Ругин?
5. Выполните анализ стихотворения «Баллада об орле».
6. Сравните стихотворение «Мама» Р. П. Ругина со стихотворениями других хантыйских поэтов, в которых они обращаются к образу матери. Какая деталь, черта в образе матери важна для Р. П. Ругина? Аргументируйте свой ответ.
7. Сравните образ березы, созданный Р. П. Ругиным, с образом березы, созданным М. К. Вагатовой. Образ березы кого из поэтов вам ближе? Поясните свой выбор.
8. Сравните стихотворение «Язык ханты» Р. П. Ругина со стихотворением М. И. Шульгина «Язык». Какие свойства языка выделяют поэты?
9. Согласны ли вы с утверждением Е. С. Роговера, что в стихотворении «Горсть родной земли» Р. П. Ругин создал монументальный образ Родины-Матери в стихах? Обоснуйте свой ответ.
10. Какие фольклорные жанры встречаются в поэзии Р. П. Ругина? Приведите примеры.
11. Какие доминанты природы выделяет поэт в пейзажной лирике?
12. Можно ли утверждать, что в стихотворении Р. П. Ругин «Бродячие собаки» отразились в поэзии анималистические традиции? Обоснуйте свое мнение.
13. О каких традициях своего народа рассказывает Р. П. Ругин стихотворными строками? Иллюстрируйте свой ответ цитатами из текста.
14. Можно ли утверждать, что поэзия Р. П. Ругина носит философско-мировоззренческий характер? Аргументируйте свой ответ.
15. О каких событиях истории страны рассказывает Р. П. Ругин в своих стихотворениях?
16. Можно ли согласиться с мнением, что в поэзии Р. П. Ругина автор и есть лирический герой?
17. Выучите наизусть понравившееся вам стихотворение Р. П. Ругина.

СЛЕД ЛЕВШИ

Весна нынче стояла долгая, длинная, как шея лебедя. На исходе месяц Ветров – март с привычной в это время года оттепелью. Снег почти везде осел, стал липким и тяжелым.

Но вот Север снова очнулся. Ударили морозы. Заснеженные леса, поля, реку затянуло ледяной коркой.

После школы четвероклассник Тавет спешит поесть и сразу на лыжи! Подбитые оленьим камусом, они быстро несут его к реке. Там, на острове Лорнум пелак, отец расставил петли на куропаток. Штук сорок.

До острова от поселка километра четыре. Остров зарос тальником – любимым лакомством куропаток Тавет редко возвращается с пустыми руками. При хорошей добыче он несет куропаток так, чтобы их замечали издали, даже на спину закидывает. С добычей Тавет идет по поселку весело, задрав нос. Будто и нет за плечами длинного, утомительного лыжного следа, точно измерившего путь.

Вообще-то тащить десять-пятнадцать куропаток, да еще навстречу ледяному мартовскому ветру, не так просто и весело. Но Тавет – паренек крепкий. Про таких, как он, говорят: «Целый день – колесом!»

Все свободное время Тавет проводит на улице, загар не сходит с его лица. Девчонки прозвали Тавета Краснокожим. Среди сверстников он выделяется крупной головой. Поэтому есть у него и другое прозвище – Головастик. Он, конечно, немножко обижается, но в долгу не остается, тоже придумывает меткие прозвища. Даже взрослые заметили: если уж Тавет приклеит кому-нибудь кличку, у того язык немеет, словно у кукушки к концу лета.

Сегодня Тавет пошел на охоту с отцом. Накануне налетел буран, и теперь надо отыскать под снегом петли, переставить их.

В одной из затянутых петель от куропатки остались лишь перья.

– Длиннохвостая пожаловала, – сказал отец.

То ли с досадой, то ли радостно он рассматривал еле заметную на гладком насте цепочку лисьего следа. Обычно при малейшей неудаче на охоте отец сердился и крепко ругал виновника. Сейчас он спокоен, даже доволен.

Изучал след, определял, куда ушла рыжая.

– Однако шибко голод ее одолел, сынок! – Деревянной лопаткой он потрогал еще не отвердевший помет. – Совсем недавно прошла здесь. Видно, мышковать негде.

Калой – так звали отца – смахнул иней с шапки и бровей, закурил.

– А теперь, сынок, кое-что запрячем в снег. – Он снял со спины кожаный мешок, развязал. – Вот видишь, понадобились... Далеко ли идешь, близко ли, – всегда бери капканы и ружье, плечи от них не отвалятся! Тайга-кормилица, река-трудяга чем угодно удивить могут. И озолотят, и с голыми руками оставят...

...На расстоянии ружейного выстрела от петель заметил отец небольшой холмик.

– Здесь и устроим ловушку, меньше снег заметать будет.

Калой аккуратно расставил полукругом пять капканов. В середине разложил приманку – кусочки чуть протухшей рыбы и мясо ондатры. Метелкой из лошадиной гривы присыпал ловушку снегом. Неопытный глаз ничего не заметит.

Отец посмотрел в сторону леса, откинул на спину шапку, завязанную у подбородка. Лысая голова охотника была похожа на покрытый ягелем холм, заросший по краям мелким ельником. Пробормотав что-то себе под нос, отец вдруг то ли запричитал, то ли запел:

Капканы плохие, капканы ржавые,
Какой к вам зверь подойдет и поверит?
Вам лишь бы болтать языками-жалами —
Вы разве услышите шорох зверя?
Вы разве повадки его припомните,
Его осторожную лапу прихлопнете?..

– Зачем ты говоришь такие слова?

– Капканы злее будут. Постараются не подвести нас.

– А почему повернулся к лесу?

– Чтобы усыпить Лесного духа – покровителя зверей. – Отец надел заплечный мешок, взял ружье и весело посмотрел на сына:

– Капканы, сынок, – твои. Я дней на десять, до конца охотничьего сезона, уезжаю в тайгу. Не ленись проверять.

Калой вытащил самодельную трубку; закурил. Тавет посмотрел на красивый узор, которым отец когда-то украсил трубку, на большие натруженные руки отца, на его обветренное лицо, покрытое сеткой морщин. Отец доверяет ему, Тавету, добыть лисицу! Сердце мальчика не колотилось, а плясало от гордости. Еще бы! Кому из ребят в поселке взрослые доверяли охоту на лису?! Вон Семан Толстогубый (так его прозвали в классе) в шестом учится, но только нынче поймал первого зайца. А шумел на всю школу!

Вдали заколотилось холодное весеннее солнце. А Тавету казалось, что по небу бежит лиса. Летучая мягкая полоска дыма струилась из отцовой трубки, а мальчику чудилось, будто лиса метет хвостом небосвод.

Сегодня Тавет не чувствовал усталости на обратной дороге. Он ловко скользил по лыжне отца. А в голове, как сполохи северного сияния, появлялись и гасли озорные мысли: «Теперь-то Семан Толстогубый узнает, кто из нас охотник! Ему и не снилось охотиться на лису!»

Весеннее солнце тысячами лучистых хореев будило землю от полярной спячки. Скоро земля вздохнет полной грудью. Неповторимое время! Весь мир вокруг охотников серебрится и переливается, как рыбья чешуя, наверное, так же хорошо было и на душе отца.

С этого дня остров Лорнум пелак, что означает – лежащий за протокой, стал для мальчика самым желанным и привлекательным местом во всей округе.

Тавет повадился в школьную библиотеку, книги брал только про лисиц. Оказалось, о них написано немало сказок, рассказов, стихов, басен. Тавет читал и удивлялся лисьей хитрости, осторожности, сообразительности. Каких только зверей она не обманывала, каких только людей не перехитрила. А теперь Тавет должен перехитрить ее.

Мальчик знал: в их поселке Ханты-Питляр не каждому охотнику это удавалось. Только самые опытные иногда добывали за сезон до десятка рыжих. Другим она только след свой оставляла. А Тавет уже сегодня чуть не заметил лисицу! Сказал же отец, что лиса, утащившая куропатку из петли, унесла свой хвост перед их носом.

Отцу Тавет верит! Отец давно обучает его охоте и рыбалке. Тавет помнит тот день, когда Калой впервые взял его с собой: голова мальчика едва торчала из-за борта лодки-колданки, он важно сидел на корме и рулил легким кедровым веслом. Отец специально для него сделал маленькое весло.

Калой любил повторять: «Набирайся силы, сынок. Сегодня плеск твоего весла слабее плеска утки-чирка. Завтра твое весло взорвет воду, как хвост могучего осетра».

И в тайге, и на реке отец подробно объясняет сыну повадки зверей, доверяет свои промысловые секреты. Но всегда предупреждает, что охотничьи тайны нельзя передавать другим. Эта прежняя тяжелая жизнь северянина привычно давит на отца. Не всякий добрый человек скоро забывает недоброе время.

«Только бы выжить. Лишь бы побольше и пораньше других добыть таежного счастья себе и семье своей немалой» – так рассуждал прежде охотник... Уже поздно. Тавет никак не может уснуть. Впечатления дня переполнили маленького охотника и бьются в нем, как второе сердце.

На следующий день после занятий Тавет забежал домой только на минутку. На ходу поел, уроки отложил на вечер и снова на лыжи. Проверять капканы! Свои капканы!

Тавет любил ходить на лыжах не торопясь, вглядываясь в каждый знак на снегу. Сейчас мальчик почти бежал, часто и сильно отталкиваясь деревянной лопаткой. Он не сразу почувствовал, как взмокла на спине рубашка, не замечал стекавших к носу капель пота. Тавет обдумывал, как будет действовать, если рыжая уже в капкане. Вчера, пока катили они домой, Тавет подробно расспросил отца, что в таком случае делать.

Молодой охотник представил: вот он возвращается с пойманной лисицей. Подходит к поселку. Останавливается у колхозных амбаров за кустистой ольхой. Удобнее, так, чтобы огромный пушистый хвост свободно раскачивался при ходьбе, укладывает красавицу на плечи и ждет, когда на улице соберется побольше народу, особенно сверстников. Теперь пора! И Тавет важно шагает к дому. Взрослые кругом громко ахают, ребята восторженно замерли, вытаращив восхищенные глаза. Дома отец и мать теряются от неожиданности и, наконец, овладев собой, бросаются к сыну, обнимают, целуют.

Гладкие мысли Тавета неожиданно прерывает шум крыльев. Совсем близко пролетает стая куропаток. Тавет постукал лопаткой по лыжам – стряхнул снег – быстро зашагал вперед. До острова не больше километра.

Лисы нет. Тавет осматривается: вдруг она где-то рядом. Отец говорил, лисы кормятся рано утром и во второй половине дня.

Тавет идет к стогу сена, наполовину занесенному снегом, взбирается на него. Как настоящий разведчик, он внимательно оглядывает местность. Кругом молчаливые сугробы, огромные камни в снежных шапках да искрящиеся льдинки у лунок для рыбацких сетей. Как ни напрягает Тавет зрение, ничего движущегося не замечает.

«А может, она подходила к приманке, да чего-то напугалась?» – подумал Тавет, сползая со стога.

Он приблизился к ловушке метров на десять. Ближе отец не советовал подходить. Но и отсюда видно – приманка не тронута... Тавет не спеша обошел вокруг капканов и, кроме еле заметных вчерашних лисьих следов, ничего не увидел.

Огорченный охотник направился к поселку.

«Почему же лиса не пришла? Отец уверял, что голодная лисица обязательно вернется к тому месту, где однажды нашла добычу. Значит, вчера она чего-то напугалась».

Разные мысли приходили ему в голову. Они сталкивались и запутывались, как рыба в сетях. Времени до закрытия охотничьего сезона остается чуть больше недели.

«Неужели мне не повезет, неужели не улыбнется охотничье счастье?» Мальчик вспомнил, как прошлой весной старший брат совершенно случайно нашел у речки в версте от поселка мертвую лисицу. Видно, съела что-то отравленное или так проголодалась, что обессилела и замерзла.

Лису мог найти и Тавет. По старой лыжне они с братом обычно вдвоем ходили осматривать заячьи петли. Но в тот день Тавет не пошел: стоял крепкий мороз, и он притворился больным. А не притворился бы – лису нашел... Ему снова снятся следы лисицы, хрустальное северное сияние. Но вот оно перестает переливаться, постепенно гаснет и превращается в какую-то связку с длинными пушистыми хвостами. Связка плавно падает на Васькин стол... Тавет вскрикивает.

– Что с тобой? Почему кричишь? – спрашивает мама.

– Сон приснился, – бормочет, просыпаясь, сын.

Больше Тавет не уснул...

Рано утром он внимательно осмотрел лыжи. Тайком от матери уложил в рюкзак хлеб с маслом, сахар, несколько коробков спичек.

День выдался теплый. Солнце будто протягивало земле ласковые руки-лучи.

В полдень Тавет вышел на последнюю в сезоне охоту. Вначале шел медленно, подставляя ласковому солнцу загорелое лицо. Он еще ночью решил не спешить. Выпал мягкий, сухой снег. Идти легко. Повернул к острову и почти сразу же наткнулся на совсем свежий лисий след! У него перехватило дыхание. Лыжня весело зазвенела.

Тавет еще раз вспомнил, что нужно делать, если зверь в капкане.

Лиса, судя по всему, направилась по кромке острова к его приманке. Тавет не шел, он летел к своим капканам. Ближе, ближе...

Что такое? Ловушка растревожена. Капканы захлопнулись, – но где лиса?

«Может, зарылась в снег?» – подумал мальчик и только теперь заметил незнакомую широкую лыжню. Видно, рано утром кто-то с другого конца острова подходил к его капканам, затем развернулся и по собственной лыжне ушел к мысу Ёлта-пухал.

Тавет пересчитал капканы. Все пять на месте, и все захлопнулись. Догадки теснили одна другую, как волны на Оби: «Может быть, незнакомый охотник вынул лису и закопал где-то рядом? Нет, кругом снежная целина. Только лисий след да чужая лыжня и заметны».

Возле одного капкана капля крови. «Лиса могла перегрызть собственную лапу и уйти на трех? Но тогда был бы еще один след...»

Тавет дважды обошел капканы, выходящего следа не было.

«Видно, лиса все же как-то освободила лапу и ушла в сторону мыса, – наконец решил он. – А незнакомец на широких лыжах пошел по ее следу».

Тавет хорошо знал: ханты никогда не крадут друг у друга добычу. Увидит охотник глухаря, попавшего в чужую петлю, вынет его и повесит на ветку, чтобы звери не съели. Тавет не раз встречал такое. «А здесь, рядом с поселком, и подавно никто не мог взять, – убеждал он себя. – Да и лыжный след на виду. Нет, виноват капкан.

С досады Тавет лупил деревянной лопаткой по капкану, пока щепки не полетели.

«А ведь сегодня из тайги должен приехать отец. Что ж, скажет, проспал лисицу-то! Не мог проверить капканы пораньше? Или в следах не разобрался?»

Тавет заспешил в поселок. Отец действительно уже приехал. Он разгружал нарты, но сразу заметил – мальчик расстроен.

– Что случилось, сынок?

Всхлипывая, Тавет выдавил из себя:

– Я упустил лисицу...

– Как это случилось? – отец был спокоен. – Вспомни все по порядку.

Тавет еще не все рассказал, когда отец перебил его:

– Влезай на нарты! Едем на остров, еще раз осмотрим местность.

...Калой долго разглядывал капканы и следы. Потом встал на лыжи, метров пятьдесят прошел по чужой широкой лыжне и сразу вернулся.

– Думаю, лису украли. В двух местах на лыжне капли крови. Едем на мыс Ёлта-пухал! Вдруг неизвестный охотник все-таки оставил ее в кедровнике, чтобы птицы не поклевали.

Нарты быстро домчали до мыса. Лыжня уходила в чащу. Отец и сын прошли с полкилометра, внимательно осмотрели каждое дерево у лыжни.

– Поворачиваем обратно, сын. В наших краях объявился охотник-вор... И кажется, из нашего поселка. Далековато успел уйти, верст за двадцать, наверное. Да и вечереет. Ничего, никуда он не денется.

На обратном пути Калой заметил на другом берегу протоки ту же широкую лыжню. Отец спрыгнул с нарт. – Погоди, сынок... Я знаю этот след! Это Шолтыкул Мартин шел. Он левша. Видишь, лопатку держит в левой руке? И только он охотится без

собаки, ее волки зимой разорвали. Охотник!.. Украсть добычу у ребенка! Подлец!

Тавет молчал.

...Шолтыкул Мартин объявился в поселок через три дня. Калой и председатель сельского Совета отправились к нему. Но еще и котел на плите не закипел, как отец вернулся.

– Долго, мерзавец, отпирался... – устало сказал он. Отец вытащил из мешка лису-крестовку и протянул Тавету. Смущенно кашлянул, неловко потоптался на месте и добавил:

– Я его, сынок, по щеке огрел... За тебя. За твою украденную надежду...

Тавет смотрел на лисицу. Она была так не похожа на ту, которую он столько раз представлял себе. И на тех, что лежали на столе в конторе Кул-Васьки... Эта казалась тусклой, невзрачной. Мех растрепался, торчал клоками.

Тавет вспомнил каждый день своей самостоятельной охоты. Он заново переживал все, что было, чего ждал, на что надеялся. Тяжелые, горячие слезы застилали глаза, мешали дышать. Мальчик вздрагивал, будто от холода. Не дотронувшись до лисицы, Тавет отвернулся от нее, бросился на кровать, уткнулся лицом в подушку и горько заплакал.

Вопросы и задания

1. Составьте характеристику Тавета – главного героя рассказа Р. П. Ругина «След Левши».
2. Почему герою важно было самостоятельно добыть лису в рассказе Р. П. Ругина «След Левши»?
3. Какой след оставил Левша с жизни героя рассказа Р. П. Ругина «След Левши»?
4. Определите место и время действия в рассказе Р. П. Ругина «След Левши».
5. Определите сюжет и композицию рассказа Р. П. Ругина «След Левши».
6. Напишите сочинение на тему: «Случай из моего детства».

ПО СЛЕДУ

Пиляп и Мартин разложили на прошлогодней сухой траве дымящееся жаркое – двух жирных самцов-шилохвостей, добытых сегодня утром. Вкусный запах возбуждал аппетит и обещал хороший обед.

Устроившись поудобнее возле костра, охотники принялись за еду. Мартин первый с хрустом переломил жареное утиное крылышко.

– Вкусно, – сказал он, облизывая губы. – Первая удача на весенней охоте!

– Да-а, – ответил Пиляп. – Щедра природа дарами. Не забыл нас Вой Шавиты-Ики.

– Это кто такой? – спросил не слишком искушенный в старых хантыйских поверьях Мартин.

– Идол, охраняющий дичь. – Пиляп почему-то медлил с едой, подозрительно поглядывал по сторонам и вдруг тревожно завертел головой:

– Тихо! Подожди! Слышишь?

Мартин насторожился. В прибрежном тальнике что-то колыхнулось, раздался треск сухих сучьев.

Охотники переглянулись: что за зверь?!

Треск за протокой усилился. Потом над крутолобым, просевшим с южной стороны сугробом вдруг резко обозначился в слепящем солнечном свете силуэт огромного косматого зверя.

– Старик! – сдавленно прошептал Пиляп. – Он! Поставь кружку, не время языки мочить.

Медведь зашевелился и, мотая головой, медленно двинулся вдоль протоки Ай-Варов. Полоса серебряной талой воды шириной метров в двести отделяла его от охотников.

– Что будем делать? – спросил Мартин и потянулся к ружью

– С ума сошел? Утиной дробью по Старику палить вздумал? Постой, я с ним поговорю.

– Поговоришь?! – удивился Мартин.

И усмехнулся: – Ну поговори, поговори, а я послушаю, что он тебе ответит...

Но Пиляп на эти слова не обратил никакого внимания. Прикрыв глаза и обернувшись лицом к медведю, забормотал:

- Кой, Старик! Зачем ты вышел из лесу к нам на луга? Разве здесь есть для тебя пища? И мыши сейчас не найдешь! А найдешь – удастся ли тебе ее сцапать? Ведь ты ослаб в своей зимней берлоге, обленился. Возвращайся в тайгу! Вон она, синеет у тебя за спиной. Там ты все найдешь, что тебе нужно! Прошу тебя, Старик, уходи!

Медведь, словно услыхав обращенную к нему речь, остановился и затоптался на месте. Затем развернулся и медленно удалился в низкий тальник.

Пиляп с облегчением вздохнул.

– Видишь, я все же договорился с ним!

– Договорился... но ведь он все равно обратно пожалует. Сам знаешь.

– Знаю.

Пиляп задумался. Это надо же, чтобы мойпар весной на заливных лугах показался! Редкий случай. И он снова вздохнул, на этот раз озабоченно: медведь, объявившийся не вовремя и не в своих местах – большая опасность. Он голоден, свиреп и хитер, как сам дьявол. Пиляпу вдруг стало жарко, он откинул назад капюшон малицы: суеверная мысль обожгла его, а что, если это тот самый мойпар?! И пришел неспроста, а потому, что Ему настала пора встретиться именно с ним, с Пиляпом?

Ветер трепал седые волосы старого охотника, но он не замечал этого, не чувствовал. Волнение охватило его.

Мартин тем временем осматривал охотничье снаряжение.

– Н-да! – заявил он. – Плохи наши дела. Я думал, может, хоть одна пуля в мешке завалялась.

– Так ведь на уток шли, – очнулся Пиляп. – Откуда же ей быть, пуле? Ну ладно, давай доедим дичину, чаю попьем. Пустой желудок ни ума, ни силы не прибавит. А тут вопрос непростой...

Они молча принялись за еду, и каждый из них думал примерно об одном и том же. Днем, конечно, медведь их не тронет, а вот ночью – покоя не жди. И почему только собак в этот раз не взяли? Конечно, от весенней ледяной воды их уберечь хотели, –

да кто же знал, что такое случится? Надо бы поскорее уйти... Но как расстаться с заветными охотничьими местами? Ведь столько ждали эту охоту, столько снилась она в долгие зимние ночи...

Пиляп и Мартин переглянулись и поняли друг друга без слов: первым делом нужны пули.

– Может, перелить попробуем? Дроби хватит, – предложил Мартин.

Пиляп кивнул и тут же сам взялся за дело. Принес из лодки-колданки жестянку, срезал с сетей четыре пенопластовых поплавка-балбера.

– Давай расколю, – предложил Мартин, берясь за острый нож-сёхар.

– Только режь аккуратней, с дулом ружья сверься.

Скоро были готовы две круглые формочки для пуль шестнадцатого калибра. Сквозь маленькие отверстия залили туда расплавленный свинец, слегка остудили, затем комочки металла подправили и чуть раскатали. Получилось шесть довольно приличных пуль, с которыми уже можно было чувствовать себя спокойней. Мартин весело подмигнул Пиляпу:

– А что? Может, попробуем поискать Старика? Наверняка залег где-то поблизости.

– Уж больно ты расхрабрился, голову до небес вскинул, – проворчал Пиляп. Но ружье зарядил: ему не терпелось проверить свою догадку.

– Так как? – подзадорил старшего друга Мартин. – Пойдем или нет?

– Погоди, не царапайся языком. Дай подумать.

– А чего тут думать, растягивать мысли в длину женского волоса?

Пиляп нахмурился:

– На Старика идти – затея нешуточная. Уж я-то знаю. Когда с оленями кочевал по Уралу, повидал всякого – чуть не за руку с мойпаром здоровался. А четырех – домой привел.

Мартин засмеялся:

– Привел! Словно о корове говоришь.

– Не зубоскаль! Не знаешь разве? По старым обычаям про медведя нельзя говорить «убил». Духи прогневаются.

Мартин притих и тоже зарядил двустволку. Он хорошо знал охотничий азарт своего товарища – еще минута, и тот сдастся. Именно так и вышло.

– Ладно, – заявил Пиляп. – Садимся в лодку. Нож не забудь.

На крутоносой широкой колданке, тихонько подгребая, они переправились на противоположный берег протоки. Приткнулись к затянутой илом коряге.

Пиляп выбрался из лодки и устроился с ружьем на влажном стволе, положив рядом свои охотничьи лыжи.

– Я здесь останусь. А ты поезжай дальше, за тальник. Думаю, он на остров подался. Услышишь – гони на меня. А я учую – к тебе направлю. Не стреляй только раньше времени – на половину броска аркана сперва подпусти.

Мартин кивнул в ответ и, оттолкнув колданку, бесшумно заскользил к видневшемуся за зарослями тальника мысу.

Пиляп достал из кармана свою трубку, не торопясь набил ее махоркой, сделал пару глубоких затяжек. Над водой поплыл голубоватый дым. Трубка у старика самодельная, когда-то Пиляп собственноручно выточил ее из кирпичного, обкатанного рекой таша – грузила для невода. Трубки из березового капа, которые делали местные умельцы, быстро прогорали, никаких других в продаже в ту пору не было. Вот и пришлось мастерить самому. Трубка получилась тяжеловатой, зато – надежной.

Накурившись, Пиляп надел лыжи, взял ружье и решил сам пойти поискать медведя. Подтаявший снег проседал под его тяжестью, несколько раз он проваливался до колен. Идти приходилось медленно, с большой осторожностью: здесь, под хрупким настом, могла оказаться вода. Минут через двадцать Пиляп сильно вспотел под своей малицей. «А каково Старику? – подумал он. – Тоже ведь в шубе! Я хоть на лыжах...».

На сером мокром снегу отчетливо виднелся отпечаток могучей медвежьей лапы. Пиляп нагнулся, чтобы получше разглядеть его – в последнее время зрение резко ухудшилось. Один глаз уже почти затянуло пленкой. Если б не это, он, конечно, по-прежнему пас бы оленьи стада, кочуя по предгорьям Поляр-

ного Урала. Но и охота, и рыбный промысел были для него делом привычным – он с младенческих лет на реке да в тайге.

Медведь шел назад тем же путем, каким выбирался к протоке. Следы вели к густому тальнику, темневшему неподалеку.

Пиляпа так и тянуло в этот тальник, но он сдержал себя: Старик – не волк и не лось, весной с ним один на один, да еще без собаки, в зарослях, лучше не встречаться. Пошел дальше по следу.

Примерно через полкилометра опять выбрался на луга.

Ага, снег раскидан, помята прошлогодняя трава. Здесь Старик лежал до того, как почуял охотника. Потом он, вспахивая вокруг снег, побежал дальше.

Пиляп понял: он где-то рядом, придется гнать его в сторону Мартина. Только бы тот не струсил, не выстрелил раньше времени, не выдал себя суетливым движением!

В эту минуту раздались один за другим два выстрела.

Сердце Пиляпа тревожно забилось.

Он замер и тут же увидел, как по луговине навстречу ему мчится здоровенный мойпар.

– Остановитесь! Остановитесь, Старик! – прошептал Пиляп, следуя обычаю старых хантыйских охотников, утверждающих, что при таком заклинании зверь непременно должен остановиться.

Но медведь и не думал останавливаться. Он продолжал мчаться вперед, не замечая опасности.

«Странный какой-то», – мелькнуло в голове у Пиляпа, а руки тем временем сами привычно взялись за ружье...

Медведь рявкнул, затряс задней лапой и ринулся в сторону протоки.

Пиляп оторопело смотрел ему вслед. Как же так? Почему не попал? Что помешало ему хорошенько прицелиться?

И снова суеверный страх заполз в душу. Этот медведь еще надеется встретиться с ним, иначе не ушел бы от пули!

Пиляп повернул назад. Выйдя к протоке, увидел, как Старик, сильно загребая лапами, наискосок пересекает полоску блестящей на солнце воды. Вот он выбрался на другой берег, отряхнулся и, внезапно обернувшись, пристально взглянул на Пиляпа,

словно стараясь его хорошенько запомнить. Потом, почувствовав себя в безопасности, спокойно ушел в сторону тайги.

Пиляпу стало не по себе. Как у всякого старого ханты – а ему перевалило за шестьдесят, – у него были весьма запутанные отношения с медвежьим племенем. Он верил многочисленным преданиям о них, в юности не раз участвовал в знаменитых медвежьих плясках, а бессонными ночами, случалось, размышлял о том или ином мойпаре, с которым сводила его охотничья тропа. Ведь каждый из них особенный, не похож на другого!

Вот и этот Старик – кто он такой? Что ему надо? Зачем появился на его, Пиляпа, пути в неурочный час?

Над этим нужно было серьезно подумать, и охотник опять присел на берегу.

Вскоре из-за мыса показалась колданка. Взбудораженный Мартин издали размахивал рукой и что-то кричал – видно, встреча с медведем не прошла для него даром.

Пиляп поднялся ему навстречу, помог подтащить лодку.

– Промазал я! – заявил запыхавшийся Мартин. – Сам не пойму, как такое случилось!

Пиляп усмехнулся: чего уж тут непонятного? Разнервничался, заторопился, ну и выпалил, ничего толком не видя. Впрочем, и сам он нынче стрелял не лучше.

– Ничего, – утешил он Мартина, – ушел, значит, так надо. По-моему, больше он не вернется – отстояли мы свои охотничьи угодья! – И, помолчав, добавил, словно убеждая самого себя: – Не наш был Старик. Не к нам приходил.

– Может, не к нам... Только я узнал его...

– Узнал?!

– Да! Это позапрошлогодний шатун. Честное слово – он! С белым ободком на шее. Я хорошо разглядел! Он на расстоянии броска аркана от меня был. Белый ободок – редкая примета.

– Белый ободок… – сдавленно прошептал Пиляп. – Не может быть...

– Он, он!

– Ладно, давай к палатке, чаю попьем. Греби! – сказал Пиляп, стараясь не выказать своего смятения.

Мартин взялся за весла, Пиляп сел к рулю, и колданка плавно вывернула на середину протоки Ай-Варов, упруго ударяясь носом в поднявшуюся под внезапно налетевшим ветром волну.

«Нен-гась, нен-гась» – монотонно поскрипывали уключины, нарушая окрестную тишину. И под этот скрип Пиляп в тайной тревоге думал свою думу...

«Неужто сегодняшний медведь и в самом деле тот самый, с белым ободком?! Тот, который...».

Не в силах додумать фразу до конца, Пиляп даже застонал. Но тут же притворно закашлялся: зачем до поры до времени будоражить Мартина?

Конечно, в пылу охоты можно и ошибиться. А вдруг белое пятно – просто снег, налипший на медвежью шерсть? Тогда возникала куча новых сомнений...

Старика упустили – это хорошо или плохо?

С одной стороны можно быть спокойным: у ханты существует примета – шатун должен попадаться медвежатнику седьмым. Справился с ним – без страха охоться дальше. Нет – пеняй на себя, удачи потом не будет. Нынешний же мойпар явился Пятым. Значит, все было правильно? Но если это действительно Белый Ободок и он уже второй раз ускользает от охотника целым и невредимым?

От такой путаницы в мыслях Пиляп нервно выхватил изо рта недокуренную трубку и в сердцах с громким стуком выбил ее о край лодки. Мартин удивленно посмотрел на товарища.

Лодка тем временем мягко ткнулась в прибрежный песок.

Возле купы тала темнела их четырехместная палатка.

– Хорошее место мы выбрали для стоянки! – залюбовался Мартин. – Здесь тебе и Обь, и сор рядышком, и коса песчаная! Уток сюда так и манит. Пойду-ка я постреляю...

Мартин ушел, а Пиляп нырнул в палатку и лег ничком на оленьей шкуре в надежде уснуть.

Сон, однако, к нему не шел...

Позапрошлой зимой Месяц Замерзания Оби выдался пуржистым и снежным. Из низких темных облаков так и сеяло

крупными белыми хлопьями – словно кто-то снимал чешую с огромной рыбы.

Помнится, в тот день снегу нанесло особенно много. Пиляп еле-еле выбрался утром из своего зимовья и невольно залюбовался розово-белым пушистым покрывалом, укутавшим тайгу. Мартин и Курпелак-Ванька, рыбачившие вместе с ним в ямах-живунах на вершине Ханты-Питлярского сора, ворчали: «Опять берись за лопаты и откапывай самого себя из-под снега!»

Однако за завтраком они успокоились и, благодушествуя за горячим чаем, стали мечтать. Курпелак-Ванька вспомнил, что у Пиляпа в кармане целых две неиспользованные лицензии на отстрел лосей.

– Денек-то какой, а? – начал издалека Мартин.

– Снег... Небольшой ветерок... – вторил ему Курпелак-Ванька. – Тальник шумит. Лось слышать перестает.

– Точно! С подветренной стороны – бери его голыми руками.

– Я вчера сам следы видел.

– Рыбу есть уже невмоготу. Надоела!

– Вот бы лосятинки! Представляю, до чего она сейчас жирная... Вкусная...

У Пиляпа от этих разговоров засосало под ложечкой: что правда, то правда – самый подходящий день тропить лося! Не хотелось только сразу соглашаться с товарищами (такой уж у него характер), чтобы не выдать вспыхнувшую в нем охотничью страсть.

– Я бы сам ружьишко подхватил да пошел, – прижал руку к груди Курпелак-Ванька, – деревяшка проклятая мешает! – и он потряс в воздухе костылем.

– И я пошел бы! – вздохнул Мартин. – Только Ваньке без меня не управиться.

Все это было ясно как день, но Пиляп для виду еще немножко поупирался, не спеша покуривая свою трубку. И наконец не выдержал, широко улыбнулся:

– Пожалуй, правильно говорите. Пойти, что ли, потаскаться по тайге часок-другой?

– Пойди, пойди, – обрадовались рыбаки. – На вот, поешь как следует.

Перед Пиляпом сразу выросла горка тающей во рту строганины из муксуна, задымилась чашка тетеревиного наваристого бульона. Он не возражал – на охоту надо отправляться сытым: всякое может случиться, иной раз тайга так заведет, так закружит, что и через два дня не выберешься.

Наевшись, Пиляп выглянул на крыльцо. Все еще шел снег – перед глазами словно мельтешила мелкоячеистая сеть. «Надо полегче одеться, – подумал он, – тяжелая одежда быстрее намокнет – и какой тогда из меня охотник?»

Минут через десять, тщательно почистив лыжи, обитые оленьим камусом, сменив малицу и перекинув через плечо двустволку, Пиляп отправился в путь.

Сперва он шел густым кедрачом, затем пересек Карасевое озеро, взобрался на Горелый холм. Местность отсюда открывалась довольно угрюмая – чахлый кустарник, одинокие черные лиственницы с засохшими ветвями, вдали новые холмы, на одном из которых темнел силуэт топографической вышки. Вряд ли тут могло бы понравиться лосям, если бы не молодой осинник, видневшийся в ближней ложбине...

Пиляп достал походный бинокль, осмотрелся. Сквозь налипающий на стекла снег все же разглядел – или ему почудилось?! – два силуэта.

– Сохатые! – невольно вскрикнул он. – Сохатые!! Он быстро зарядил ружье пулей и, бесшумно скользя на лыжах, устремился к осиннику. Путь ему преградила протока

видимо, Пор-Ёхан. Сверху он ее не заметил: тонкий еще ледок замело снегом. Похоже, придется идти в обход. Пиляп огорчился – это сильно удлиняло путь.

Время приближалось к полудню.

Ветер усилился, идти по открытой местности было трудно. Но он все же достиг осинника, остановился передохнуть. И тут вдруг с оглушительным треском из близкого уже леска выдрались два больших лося и, срезая копытами тонкие деревца, припустили к видневшемуся у Пор-Ёхана мысу, поросшему редким березняком.

Догнать их теперь невозможно. Кто знает, где они остановятся... Лось может бежать без передыху несколько часов кряду.

– Э, какой из меня лосятник! – посетовал на себя Пиляп. – Староват, видно, стал для такой охоты! Зря взялся!

Он решил отдохнуть и подкрепиться. Смахнул снег с поваленной ураганом лиственницы, достал из походной сумки кусок вареной тетеревятины, краюху хлеба.

Присев, почувствовал усталость. «Это все непогода, – решил Пиляп. – Вон как облака свои подолы распустили!»

Прежде, когда был помоложе, он развел бы большой костер, заночевал бы в тайге, а спозаранку снова побежал преследовать зверя... Теперь силы были уже не те... Придется возвращаться ни с чем...

Он тяжело поднялся с лиственницы и пошел к зимовью, думая о том, что сегодняшняя неудача не обошлась, конечно, без вмешательства недоброго духа и не иначе как он, Пиляп, в чем-то повинен и терпит за то наказание.

Подумал он и о том, что лосей в осиннике кто-то вспугнул. Волки, наверное.

Быстро темнело, и к охотничьей избушке Пиляп добрался уже в полной мгле.

Мартин и Курпелак-Ванька выскочили ему навстречу.

– Пиляп?! Ну, наконец-то! А мы тут места себе не находим!

Было, конечно, приятно, что напарники беспокоятся, но Пиляп тем не менее удивился: впервой, что ли, он в тайгу ходит? Есть из-за чего волноваться!

Он пожаловался на сумасшедших лосей.

– Как бешеные сорвались – только я их и видел! Не отведать вам нынче лосятины. Может, я еще завтра за ними побегаю?

Но Мартин с Курпелаком ничего не сказали, только озабоченно переглянулись.

– Слушай, а Старик тебе не встречался?

Пиляп засмеялся:

– Кой! В берлоге у него небось теплее, чем в нашей избушке!

Но приятели не оценили шутку. Мартин сказал:

– Он сегодня был здесь, пока мы рыбачили. Под окнами натоптал. Сети трогал.

Пиляп насторожился:

– Когда приходил?

– Днем, перед обедом. Мы как следы увидели – извелись.

Думаем: Пиляп-то один, без собаки. Еще немного, и пошли бы тебя искать.

− Так вот кто напугал лосей...

Как всегда при упоминании о мойпаре, Пиляп взволновался. Перекинув через поперечный шест малицу – просушить возле печки, достал из кармана трубку: обычно он перед сном не курил.

«Прямо с утра отправлюсь за ним, – решил он. – Далеко не уйдет... Иначе этот Старик натворит беды – рядом-то оленье пастбище...».

− Завтра пойдем его искать, – словно подслушав его мысли, сказал Мартин. – А то он жизни никому не даст!

Утром Курпелак вскочил спозаранку, жарко натопил железную печь. За окном нехотя разгоралась волчья заря.*

Курпелак распластал острым ножом четырех икряных карасей и принялся колдовать над ухой, кипятить чай.

Пиляп поспешил к оленям, пригнал упряжку к зимовью. Мартин напоил свою лошадь, снарядил сани.

− Уха готова! – гордо объявил Курпелак-Ванька. – По-моему, ничего получилась – есть можно.

− Сейчас посмотрим, коль обманываешь – берегись... – шутливо пригрозил ему Пиляп.

Мартин достал с полки три миски.

− Четвертую давай! – строго сказал Пиляп.

− Для кого это?

− Для Старика. Пусти-ка, я налью ему ухи! Может, тогда у него злобы поубавится!

Курпелак одобрительно взглянул на Пиляпа, а Мартин, как всегда в таких случаях, рассмеялся: чудят старики, все в сказки верят – что с них возьмешь? Уха и в самом деле удалась – так и светилась янтарным жиром, а хлопья икры таяли на языке.

- Ну, спасибо, Курпелак! Накормил в дорогу. Теперь сиди здесь, жди вестей. – Пиляп первым поднялся из-за стола и взял стоявшее в углу ружье: – Пошли, что ли?

* Волчья заря – время, когда волк уходит с охоты.

Медвежьи следы отчетливо видны были на свежем снегу: чтобы разглядеть их, не надо было даже слезать с упряжки.

Оказывается, мойпар почти все время сопровождал Пиляпа на вчерашней охоте. Двигался сзади, метрах в трехстах, а иногда забегал сбоку и шел почти параллельно с лыжней. Значит, лосей в осиннике он заметил одновременно с охотником. И успел опередить его, проскочив тальником. Он тоже не решился преследовать добычу – понял, это бесполезно. И на охотника Старик нападать не стал, побоялся.

Пиляп усмехнулся: до чего же умен! Кто говорит, что медведи не умеют думать?

Потерпев неудачу, мойпар поспешил наведаться к рыбакам, на остров Ём-Пухар. Там он действительно обнаружил сеть, заброшенную накануне Мартином и Курпелаком. Из сетевых лунок выудить ничего не смог, но сложенных на снегу щурят подъел. Они, конечно, не могли утолить голода, и Старик с досады разломал ручку лежавшей на льду пешни и далеко откинул топор.

Потом ушел в дремучий кедровник.

Ём-Пухар далеко выдается в сор и соединяется с берегом длинной узкой косой, поросшей рябиной и талом. Пиляп с Мартином остановились посовещаться. Старик на острове – это ясно. Обратных следов нет. Наверное, он забрался в чащу и залег там. Главное сейчас – не спугнуть его, затаиться, выждать.

– Но и проверить, там ли он, не мешает, – сказал Мартин. – А вдруг ускользнет, кустами проскочит?

– Да, – согласился Пиляп. – Он хитрый, этот Старик.

Наконец порешили так: Мартин возьмет оленей и объедет остров по окружности, а Пиляп «замкнет» косу – другого выхода с Ём-Пухара нет.

Мартин прыгнул в нарту и, взмахнув хореем, тихо присвистнул. Упитанные хоры, раскидывая копытами снег, скрылись за поворотом.

Пиляп принялся кружить на месте, посасывая холодную трубку – закуривать он не стал, ведь Старик может учуять запах дыма.

Минут через двадцать Мартин вернулся.

– Здесь он! Точно, – сообщил шепотом. – Вокруг острова чисто.

Пиляп велел Мартину пойти вперед, по следу медведя, тем более что с ним была охотничья лайка Пеля – умная, надежная собака, умевшая, когда нужно, молчать, а когда нужно – лаять без устали. А сам остался подкарауливать зверя на прежнем месте, предварительно заведя оленью упряжку в густой рябинник и привязав вожжи к копылу нарты.

Позицию для себя он выбрал очень удобную – скрылся за стволом большой ели, одиноко стоявшей на косе.

Вскоре послышался яростный лай собаки. Пеля явно облаивал мойпара.

«Сейчас поднимут Старика», – определил Пиляп, взводя курки своей двустволки, и забормотал свое обычное заклинание:

– Остановитесь, Старик, остановитесь...

Зверь послушался, на расстоянии броска аркана вдруг резко притормозил и присел – словно опрокинулся на задние лапы.

Пиляп прицелился, задержал дыхание и хотел было уже нажать на спусковой крючок, но... не выстрелил.

Как он мог забыть, безмозглая голова, что шатун должен быть седьмым?

Не нужны вы мне... Уходите! – сказал он Старику, по древнему хантыйскому обычаю обращаясь к нему на «вы».

Несколько долгих, как вечность, секунд они пристально смотрели друг на друга – человек и зверь. На мохнатой шее медведя отчетливо виден был ободок.

Но вот Старик двинулся на Пиляпа...

Охотник выстрелил в воздух.

Медведь рявкнул, подскочил на месте и... побежал.

– Кой! Кой! – завопил ему вслед Пиляп. – Быстрее! Кой!

Старик вихрем промчался по косе и скрылся в лесу.

Пиляп вытер ладонью вспотевший лоб: только сейчас он почувствовал все неимоверное напряжение этих минут.

Когда прибежали Мартин с Пелей, он без колебаний соврал:

– Промахнулся!

Это была его первая встреча с белошеим мойпаром.

* * *

А когда же произошла вторая? Кажется, осенью, вскоре после того, как Пиляп вышел на пенсию и ездил в Салехард к глазному врачу. Он вернулся из города в начале Месяца Подъема Щекура.

...Воспоминания охотника прервал выстрел. Это Мартин отводил душу, стреляя пролетавших над косой уток. Да, место для охоты они выбрали удачно...

Пиляп вышел из палатки, выплеснул на землю спитой чай.

Ветер стих. Вода на протоке блестела и лоснилась, словно смазанная жиром. Вечернее солнце неподвижно застыло, усевшись на оленьи рога лесных верхушек. Закат горел, как раскаленные бока железной печки. Со стороны речушки Сорт-Ёх тянуло весенней сыростью.

Погода для охоты тоже была подходящей.

Можно было от всей души радоваться этому дню, но бродяга с белым ободком на шее вторгся на их территорию и теперь грозил сорвать им охоту.

Пиляп казнился, что не узнал его сам – видно, подвело-таки зрение. А Старик, конечно, разглядел, кто поднял на него ружье и ранил в бедро. Недаром он так пристально смотрел на него сегодня из-за протоки! Он-то хорошо запомнил Пиляпа!

Сердце старого охотника исходило тревогой. Он облегченно вздохнул, когда из тальника наконец вынырнул Мартин с целой связкой дичи.

– Садись, садись, – Пиляп захлопотал у костра. – Сейчас я тебе чаю согрею.

Но и Мартин, видно, неотступно думал о мойпаре.

– Простить себе не могу, что промазал! – сказал он, бросая добычу на землю. – Это же не медведь – преступник! Ведь ты знаешь, что он натворил в поселке Питляр?

– Знаю, – помолчав, глухо отозвался Пиляп и схватился за трубку: она всегда успокаивала его в такие минуты.

– Слушай, – не унимался Мартин, – а прошлой осенью, на Мелексимском сору, мне Иприньговорил, вы с ним охотились, медведи вам попались – этого среди них не было?

– Был, – опять помолчав, сказал Пиляп.

– Расскажи подробнее.

Пиляп сделал глубокую затяжку.

– Лил дождь. Мы забрались с Ипринем в палатку. Сидели, чай пили. Что еще делать в такую погоду? Вдруг что-то как бы ударилось о брезент снаружи. Сильно ударилось. Я хотел выйти, а Ипринь говорит: «Брось, это сушняк ветром свалило». Сидим, пьем чай. Вдруг собака залаяла – Нявар мой. Потом слышим, Старик заревел. Схватили мы ружья, выглянули из палатки...

– Ну и что?! Что вы увидели?! – Мартин сгорал от нетерпения.

– Медведицу увидели. И двух медвежат. Притихли, смотрим.

– А потом? Потом?

– Из пырея Старик вывалился. Страшный, лохматый. Медведица и та его испугалась: так и шарахнулась. И детей в кусты погнала.

– Так это что же – наш шатун был?

– Похоже, он.

– С белым ободком?

– С белым.

– И что же вы?

Пиляп выпустил изо рта струю сизого дыма:

– А что мы? Погрузили в лодку палатку, взяли Нявара да уехали... Их все же целая семья была...

– Да-а, – протянул Мартин. – Если медведица с медвежатами, тут уж надо поскорее сматываться. Что верно – то верно.

Пиляп усердно попыхивал трубкой, уставясь взглядом на полыхающий закатным жаром солнечный диск. Лучше бы Мартин не поминал того, что взбудоражило весь поселок Питляр, – теперь впереди бессонная ночь...

В прошлом году кто-то повадился разорять неподалеку от поселка древнее родовое кладбище. Ханты не роют глубоких могил – их заменяет невысокий, с оленью нарту, деревянный сруб, закрытый сверху досками и плотно заложенный мхом.

Разворошить такое захоронение легко. Но кому придет в голову тревожить вечный покой ушедших?

Однажды люди вернулись с кладбища перепуганные, потрясенные: несколько срубов кто-то разворотил, и на земле белели следы варварского, страшного пиршества.

От такого хоть у кого волосы встанут дыбом!

Преодолевая суеверный страх, Пиляп сходил тогда на кладбище, тщательно осмотрел землю вокруг осквернённых могил и понял: тут побывал медведь. Он, конечно, сразу подумал о белошеем, и смутное, тяжелое предчувствие закралось ему в душу. Но прямых доказательств не было – это мог быть и какой-то другой, ошалевший от весенней голодухи, бродячий мойпар.

Люди стали по очереди дежурить подле кладбища, и мохнатый мародер, видно учуяв опасность, больше не появлялся.

...В конце Месяца Замерзания Малых Ручьев Пиляп с племянником Митри рыбачили на своих родовых угодьях – вокруг полузаброшенного селения Ханты-Питляр. Здесь хорошо ловилась рыба – муксун, щекур, сырок – нагулявшая жир в тихом сору. Утром поставишь сеть – вечером бери богатый улов.

Пидяп с племянником вялили рыбу, подсаливали ее то мелкой, то крупной солью. Днем они уходили в кедровник, где

Митри шишковал, а сам Пиляп на склонах брусничных ёхамов* ставил петли на глухарей да тетеревов.

Тайга была к ним щедра.

В лиственничном дровянике на вешалках уже красовалось с полтора десятка упитанных глухарей, лежало два мешка кедровых орехов, стояли бочонки с соленой рыбой и сочной ярко-красной брусникой.

Начало подмораживать. Ночью уже выпадал иней, белым неблюевым мехом ложась на крыши; мелкие речки кое-где прихватывало ледком.

Как-то вечером Пиляп при свете керосиновой лампы «молния» готовил ужин – ощипывал глухаря, варил суп. Митри в ожидании еды сидел рядом.

Вдруг, насторожив уши, заскулили собаки – Нявар и Лопас.

– Пет! – прикрикнул на них Пиляп. – Лежать!

– Лошадь, наверное, прошла, – предположил Митри. – Пой-

* Ёхам – небольшой холм.

ти посмотреть?

– Сиди, – сказал Пиляп. – Вон, еда уж готова. Давай положу.

Но собаки не унимались.

Пиляп прикрутил фитиль в лампе. Стало темно, зато высветлилось небольшое оконце.

– Ох! – тихо выдохнул Митри. – Гляди, дядя Пиляп!

В окне, за стеклом, на фоне затухающей вечерней зари четко вырисовывался силуэт огромного медведя, ухватившегося передними лапами за наличник.

– Сейчас выдавит стекло... – прошептал, бледнея, Митри.

– Не бойся. Там валерная сетка...

Пиляп, подавляя невольный страх, приблизился к окну. Теперь медведь был от него на расстоянии вытянутой руки. Явственно слышалось его сиплое, тяжелое дыхание, видны были маленькие свирепые глазки, вцепившиеся в дерево когти, настороженные, изогнутые уши.

На шерсти, покрывавшей горло, проступал белый ободок.

Опять он! Шатун, пятый – и тем самым недоступный для него, Пиляпа!

– Дядя! Ну что же ты! Вот ружье! – Митри заметался по избе.

Собаки зашлись в неистовом лае.

Но Пиляп словно ничего не слышал. Он отпрянул от окна и рухнул на лавку, закрыв руками лицо.

Наконец совладав со своим смятением, он сказал Митри:

– Ладно, высунь в дверь дуло – пальни дробью вверх, пугни его.

– Но ведь у нас пули есть?!

– Делай что велено! – прикрикнул на него Пиляп.

Митри схватил двустволку и бросился к дверям.

А Пиляп обернулся к окну и еле слышно проговорил, словно увещевая медведя:

– Ну что же вы? Грешно через окно лезть!

Грохнул выстрел, гулким эхом отозвавшись в окрестной тайге. Медведь отпрянул от окна и скрылся в кустах. Собаки выскочили на улицу. Их лай стал удаляться в сторону сора, к мысу Торнанг Вош. Значит, Старик подался туда.

Митри вернулся в избу. Взглянув на дядю, он поостерегся выказывать недовольство. Они молча поужинали и легли спать.

На рассвете повалил снег, белоснежными песцовыми шкурами устилая землю. Оголенные березы преобразились, словно накинув на себя узорчатые хантыйские платки с кистями.

Медвежий след, конечно, основательно замело, так что охотники не сразу разглядели, что дверь дровяника чуть поцарапана – на старых высохших кедровых досках, словно острыми гвоздями, было прочерчено пять линий. Старик, видно, пытался здесь похозяйничать, да не смог, что-то помешало ему.

Митри выругался, а Пиляп тихо проговорил:

– Зачем вы так? Не стыдно ли? Все другие мойпары уже ложатся в берлоги. Листья осыпались, снег выпал, а вы все шастаете!

Племянник с удивлением выслушал эту странную речь – молодым не понять взаимоотношений старых ханты со зверем, с тайгой, они выросли в другое время – и суеверный страх старших им неведом. Однако, уважая Пиляпа, промолчал.

Вернулись в избу. Надо было одеться потеплее, да пойти проверить сети. Но оба отчего-то медлили – ведь ночной гость был явно неподалеку.

– Ай! – вдруг воскликнул Пиляп, схватившись за левый висок. – Ай! Как стрельнуло!

Это была плохая примета.

– Напрасно ты так, – упрекнул он собственный висок. – Зачем несчастье пророчишь?

Пиляп снова представил злобные глазки старого знакомца – медведя с белым ободком на шее. Не иначе как беда придет от него...

Опасаясь за своего племянника – у Митри как-никак жизнь впереди, – Пиляп решил, что пора, наверное, заканчивать промысел. Разве только напоследок еще разок закинуть сеть, чтобы увезти домой свежей рыбы.

– Поедем на плавной песок, – сказал он Митри. – Там более серьезная рыба ловится.

Нумпан, плавной песок, лежит километрах в трех от Ханты-Питляра, вверх по Оби.

Митри, пока ехали, подготовил сеть.

– Попадись, попадись большой осетр, попадись, попадись большая нельма! – приговаривал Пиляп, забрасывая в свинцовую воду конец сети.

И река словно послушалась старика. Вскоре они вытащили с десяток крутогорбых муксунов и одного икряного – килограммов на тридцать – осетра. Какая удача! Осетр настолько заплыл жиром, что боковые хрящи его еле видны.

Пиляп даже усомнился вдруг в верности недоброй приметы, встревожившей его утром. Сбудься она, вряд ли бы так расщедрилась кормилица Обь!

Осетр бревном лежал на дне лодки, она даже осела под его тяжестью.

По древним обычаям, ханты, поймав осетра, сразу идут на кладбище навестить близких. Четыре года назад, в глубокой старости, скончалась мать Пиляпа. Покоится она неподалеку от родного села Ханты-Питляр. Самое время проведать ее, угостить хорошенько, показать, как удачлив в рыбной ловле ее сын...

...Вернувшись в избу, они разделали осетра и, выбрав самый лучший кусок, положили его в мешок. Прихватили еще четырех вяленых муксунов, несколько рябчиков. Пиляп достал из чемодана припасенную еще в Питляре бутылку марочного портвейна.

Приплыв к кладбищу, Пиляп, прежде чем пойти к могильному срубу, отстегнул и бросил в лодку свой широкий кожаный ремень, украшенный четырьмя медвежьими клыками – по числу приведенных им мойпаров.

– Зачем ты это сделал? – поинтересовался Митри.

– Не хочу мать пугать, – кивнул в сторону сруба Пиляп. – Если она увидит клыки – ни за что не подойдет к нашему угощению. И тогда не узнает, на что я еще способен. Набери-ка в ведро воды да чайник возьми...

– А вода для чего?

– Мать угостится – захочет чаю попить.

Митри зачерпнул в эмалированное ведро воды, и они зашагали вверх по прибрежному склону.

Пиляп шел к могиле матери справлять поминальный обряд, но настроение у него, как ни странно, было светлым, приподнятым. Его грело горделивое чувство, что он исполнит этот

обряд достойно, как настоящий мужчина – рыбак и охотник – и что не зря, значит, живет он на белом свете.

Маленькое лесное кладбище густо заросло кустарником и травой, что сейчас, осенью, топорщилась высохшими прутьями и будыльями. Только мшистые верхушки срубов еще бархатно зеленели среди присыпанных сентябрьским снегом голых ветвей. Многие холмики были тут Пиляпу знакомы. Проходя по кладбищу, он, по хантыйскому обычаю, постукивал кулаком по крышкам срубов, под которыми покоились его близкие и дальние родственники.

– Надо же всех поприветствовать! – объяснил он племяннику. – Вот, смотри! Когда-нибудь и со мной будешь так здороваться.

Впереди, гордо вскинувшись ввысь, словно часовой на карауле, встала темная густохвойная ель. Еще несколько метров, и Пиляп склонит голову у последней материнской постели.

Он откинул капюшон малицы и зашагал быстрее.

Митри немного поотстал, давая возможность дяде побыть одному. Он даже отвернулся, но тотчас вздрогнул, услышав хриплый крик.

Бросившись вперед, Митри увидел застывшего в ужасе Пиляпа, – тот даже не опустил ноги, поднятой для очередного шага. Лицо его было страшно искажено.

– Что?! Что случилось?!

Говорить Пиляп не мог – губы его дрожали. Он только указал рукой вниз.

Митри перевел взгляд и тоже оторопел.

Могильный сруб был взломан. Кругом валялся раскиданный дерн, поломанные доски, домашняя утварь, которую ханты обычно кладут в свои захоронения. Внутри чернел искромсанный, помятый гроб.

Они, оцепенев, долго стояли молча, не решаясь приблизиться к могиле.

Потом Пиляп, закрыв лицо руками, упал на землю. Митри не знал, что делать. Наконец он поднял старика, обхватил за плечи, пытаясь утешить:

– Ветер недавно был... Настоящий ураган! Вот, наверное...

– Нет, нет! – застонал Пиляп. – Нет! Я знаю, кто это сделал...

– Может, лось пробежал, задел невзначай...

– Какой там лось! Старик это! Тот самый. С белой шеей! – И он затрясся, запричитал, затопал ногами. – Кой! Что тебе моя мать сделала?! Что?! Чем я перед тобой провинился?! – Тут Пиляп резко выбросил вперед правую руку. – Тем провинился, что не убил тебя раньше! Позволил безнаказанно по тайге бегать! Все думал, раз ты пятый – тебя и трогать нельзя! За темноту свою я наказан! Ведь знал, что не мойпар ты – разбойник. В Питляре еще знал. Вот он – мой левый висок!

Митри обхватил Пиляпа за плечи:

– Успокойся, дядя! Пойдем! Шатун здесь недавно был – может вернуться. А у нас ни собак, ни ружья...

Пиляп вдруг сник, ослабел.

– Забудь, забудь, что я сейчас сказал... И ты тоже ничего не говорил... Нельзя на кладбище Старику грозить...

– Идем же!

– Нет! Прибрать надо.

Все еще глухо постанывая, Пиляп собрал разбросанную утварь, сложил ее в сруб. Достав топор, нож, привел в порядок доски, заложил ими могилу. Митри собирал мох, уже успевший промерзнуть, и клал его ровными рядами сверху.

Когда все было закончено, Пиляп сказал:

– Разжигай, Митри, костер. Раз мы пришли справлять по минки – справим их как положено.

Над костром он повесил ведро с водой. Митри быстро почистил и нанизал на прочный сук рябчиков, просолил свежую осетрину. Когда все было готово, Пиляп разлил по кружкам портвейн.

– Вот, мать, гляди! Мы пришли к тебе и принесли хорошее угощение. Будь добра, посиди с нами, попробуй рыбы, поешь жареной дичи – все это мы добыли своими руками!

Перевалившее полуденную черту оранжевое солнце безмолвно глядело на них из своих небесных глубин, внизу под обрывом холодно блестела осенняя Обь...

Пора было ехать.

Они спустились на песчаную, застывшую от первых морозов отмель и сели в лодку. Пиляп яростно рванул шнур мотора.

Надо было завернуть в Ханты-Питляр, чтобы забрать припасы. Они бросили якорь у обрывистого берега и направились в поселок. Навстречу им уже бежали их лайки – Нявар и Лопас, обе сильно взбудораженные.

Пиляп и Митри, не сговариваясь, сразу устремились к дровянику. Щелястая дверь висела на одной петле, поскрипывая на ветру.

Митри заглянул в сарай.

– Пусто! Ни глухарей, ни рыбы. Посмотри, дядя, что он тут натворил...

Опрокинута бочка с брусникой, ягода вся раздавлена, на земляном полу кедровые орехи, перемешанные с глухариными перьями...

Пока они ездили справлять поминки, Старик побывал у них дома. Он словно насмехался над людьми!

Пиляп сильно расстроился. Он ведь уважал мойпаров – так за что же Старик наказывает его? Нет, такую обиду охотник ему не простит... Теперь Пиляп не успокоится, пока не найдет белошеего...

Если б не Митри, он, наверное, прямо сейчас пустился бы по следу мойпара, но парень торопился домой, в Питляр, а оттуда в оленье стадо, на практику – Митри учился на зоотехника. Отпустить племянника одного Пиляп не осмелился.

Мартин и не знал, какие воспоминания одолевают сейчас его старшего друга, вроде бы задремавшего на теплой оленьей шкуре.

Но Пиляп не спал. Он мучительно решал для себя вопрос: что делать со Стариком? Теперь он твердо верил, что упущенный им шатун – его личный враг, мойпар с белым ободком на мохнатой шее. Да, он пришел пятым, как и в прошлый раз. Ну и что? Может, не стоит придавать значения приметам? Вон молодые, не больно-то в них верят... Надо найти белошеего... Надо

встретиться с ним один на один, пока тот не натворил еще большей беды...

Можно бы пойти по следу прямо утром, но нужны собаки – без них на медвежьей охоте нельзя. Кроме того, нужны настоящие пули, а не те комочки свинца, которые они отлили с Мартином в пенопластовых балберах.

Да, он пойдет на мойпара один, только заглянет ненадолго в Питляр – взять снаряжение. Мартину он ничего не скажет. Во всяком случае, сейчас. Просто попросит кого-нибудь из поселковых передать охотникам: мол, Пиляп в тайгу ушел, если долго не будет – отправляйтесь искать.

Пиляп заворочался, забормотал:

– Что ж, Старик! Сам виноват – вынудил поднять на тебя громкокричащую палку! Будь ты другим...

По старинным поверьям, ханты, беседуя с медведем, нельзя называть ружье ружьем – требуется какое-нибудь иносказание. И Пиляп, ненавидя белошеего, не решился все же нарушить древний закон. Хорошо, что Мартин к этому времени уже спал и не слышал его заклинаний.

Дома, в поселке, Пиляп прежде всего хорошенько накормил лаек. Смазал, почистил, трижды перепроверил двустволку. Весь вечер он старался ни о чем серьезном не думать – на медвежьей охоте нужны крепкие нервы, ясная голова.

Наутро легкая колданка заскользила в сторону знакомой протоки Ай-Варов. Нявар и Лопас, насторожив чуткие уши, сидели на носу лодки, зорко вглядываясь вдаль, словно зная, что им предстоит важное дело.

Вот и коса, на которой они с Мартином вчера охотились на уток, остров Ём-Пухар, поросший рябиной и тальником, сверкающая полоса протоки. Начинать поиски надо отсюда, хотя, конечно, Старик мог за сутки уйти далеко.

Вытащив на песок лодку, Пиляп постарался припомнить то место, где он в последний раз видел медведя и где тот на него пристально посмотрел. Там обязательно должны быть следы.

Пустив вперед лаек, Пиляп медленно шел вдоль протоки, оглядывая каждый куст.

Как он и предполагал, след нашелся довольно быстро. Зверь припадал на одну ногу – значит, это был тот, кого он искал.

Нявар и Лопас глухо заворчали и ринулись вперед.

Через пару часов – за это время Пиляп так разогрелся в быстрой ходьбе, что ему захотелось сбросить малицу, – он заметил в талом снегу свежий медвежий помет: значит, мойпар был здесь совсем недавно.

Пиляп вытер ладонью покрывшийся испариной лоб. Огляделся. Тальник остался позади, впереди синел густой ельник. Лопас с Няваром исчезли там – только хвосты мелькнули.

Еще секунду-другую передохнув, Пиляп пошагал за ними.

Теперь он читал медвежьи следы, как линии на раскрытой ладони.

Мойпар долго шел по лесной тропе, ведущей к речке Сорт-Ех. Достигнув истока, он не стал пересекать болотистые верховья, а направился вниз, продираясь через кусты багульника и мелкий тальник.

Пиляп уговаривал себя не спешить, но невольно все прибавлял и прибавлял шагу. Хвоя разлапистых елей и сосен колола руки, лицо, за ноги цеплялись низкорослые карликовые березки. Потом идти стало еще труднее – медведь свернул в сторону топкой низины, покрытой крутыми, пружинящими кочками. Ноги с них так и соскальзывали – приходилось переваливаться с боку на бок, чтобы не увязнуть в трясине, лишь сверху затянутой тонким весенним ледком. Такое передвижение изматывало, и Пиляп стал нервничать.

– Кой! – пробормотал он, обращаясь к медведю. – Зачем в такие дебри забрался? Я тебя все равно найду!

Сейчас ему не хотелось называть мойпара на «вы», как обычно.

Уже в сумерках охотник остановился передохнуть. Выбрал место посуше, положил в снег рукавицы и сел на них. Достал из заплечного мешка флягу, кусок хлеба и вяленую рыбу и совсем уже было приготовился перекусить, как вдруг услыхал стремительно приближающийся собачий лай. Из зарослей выскочил Нявар и, покрутившись возле хозяина, снова исчез в тайге.

Это был верный знак!

Пиляп взволновался, сунул обратно в мешок еду, схватил ружье. Собаки надрывались где-то совсем рядом. Он пошел на их голоса и вскоре очутился на открытой поляне, за которой виднелся молодой кедрач.

Медведь наверняка прячется там.

Пиляп приблизился к кедрачу на бросок аркана. В чаще шла схватка – хвойные ветви покачивались, взлетали вверх комья снега, доносилось громкое рычание собак и рев озлобленного мойпара.

Лайки старались удержать Старика в кедраче, не выпустить его на поляну. Охотнику входить в такой момент в гущу леса – все равно что безоружным выйти на разъяренного зверя.

Пиляп громко кашлянул. Лопас с Няваром поняли его сигнал и повернули к опушке кедровника. Охотник укрылся за стволом ближнего дерева.

Он видел, как резко качнулись, словно подрубленные, молодые кедры. Одна из лаек вылетела вперед, и вслед ей молнией метнулась простертая медвежья лапа. Собака кувыркнулась в воздухе и душераздирающе завизжала. Это был Нявар.

Тотчас показался лающий взахлеб Лопас, за ним – Старик.

Мойпар попытался достать и эту собаку, однако не смог. В ярости он присел, оскалил клыки и глухо зарычал.

Пиляп вскинул ружье. Зверь метнулся вправо и скрылся за невысокой елкой. Сквозь хвою белел ободок на его шее.

Стрелять было нельзя – пуля могла срикошетить. А если испуганный Старик подастся обратно в кедрач, его оттуда больше не выманишь.

Пиляп, стараясь не дышать, сделал шаг-другой...

Теперь медведь увидел его. Они снова взглянули друг на друга – глаза в глаза.

Охотник выстрелил. Но за какую-то долю секунды до этого мойпар резко рванулся в сторону, и пуля, видимо, угодила ему в правую лопатку.

У Пиляпа заныло сердце – этот зверь был словно заколдован!

- Остановитесь, Старик, остановитесь... – машинально прошептал он побледневшими дрожащими губами, но мойпар, подскочив, развернулся и бросился назад в кедровник.

Видимо, он все-таки был сильно ранен – на мокром снегу остались пятна крови.

Охотник рванулся по следу, но тотчас опомнился: нужно было помочь покалеченному Нявару.

Раненый пес жалобно скулил, мотал головой и дергал передними лапами. Пиляп опустился перед ним на колени, ощупал теплое тело собаки. Нявар притих, с надеждой уставился на хозяина. «Плохи дела... – сразу определил охотник. – Перебит позвоночник...» А вслух сказал:

– Прости, друг, не уберег я тебя...

Взрывая снег, подполз Лопас, лег рядом с Няваром, лизнул его языком.

Медлить было нельзя. Зачем продлевать мучения верного друга? Пиляп достал из вещмешка капроновый шнур, подозвал Лопаса и, отведя его в сторону, за деревья, крепко привязал к стволу могучего кедра.

Затем вышел на открытое место, повернулся лицом к югу, где находился Ампат-Лух – залив Священной Собаки и тихо запричитал:

– Гляди, гляди, мать Священной Собаки! Ты видишь, как мучается мой Нявар. Чем я могу помочь? Ничем! Мне остается только одно – прекратить его страдания. Пойми меня и укрепи в этом тяжелом решении! Ты все понимаешь, мать Священной Собаки!

Уже в темноте прозвучал одинокий выстрел...

– Слушай, слушай, мать Священной Собаки! Все кончено...

Долго стоял Пиляп, понурясь и не в силах тронуться с места, возле несчастного Нявара. Потом разгреб снег, собрал мох и укрыл им собаку. Сверху набросал сучьев.

Надо было идти дальше, но Пиляп почувствовал себя обессиленным и опустошенным. Ноги словно одеревенели, поташнивало от голода – ведь он так и не успел поесть.

Он подошел к Лопасу, ласково потрепал его по загривку. Тот жалобно тявкнул в ответ.

– Вот мы с тобой и остались одни, – сказал Пиляп. – Будем устраиваться на ночлег.

Согревшись возле костра, Пиляп накормил Лопаса. Но тот, против обыкновения, ел вяло. Да и сам он без всякого аппетита пожевал вяленой рыбы, запил кипятком.

Потом, поплотнее завернувшись в малицу, попытался уснуть. Сон, однако, не шел. Мысли о коварном мойпаре бередили душу.

Старик снова обидел его – отнял любимого пса. Но Пиляп отчего-то больше не чувствовал к нему ненависти, той, что горела в нем утром, когда он шел на охоту. На смену ей пришли мысли о вечном единстве людей и природы и вечном противоборстве. Вот он, Пиляп, старый ханты, в тайге рожден и вскормлен тайгою. Чем был бы он без нее? Что делал бы в жизни? Однако, вооружась «огнедышащей палкой», он рыщет по лесу, разыскивая медведя и страстно желая его убить. Не зря, видно, древние ханты обожествляли мойпаров, обращались к ним на «вы»... Они сознавали свой грех перед живущими на земле...

Пиляпу теперь хотелось, чтобы Старик ушел подальше в тайгу, чтоб скрылся в глубокой чаще... И в то же время он знал: как только забрезжит рассвет, он снова пойдет по медвежьему следу...

Наконец Пиляп задремал, но и сквозь дрему он продолжал терзаться сомнениями. Ведь Старик с белым ободком на шее не был Седьмым – он пришел Пятым! Значит, по закону, трогать его нельзя... Но он решил, решил отомстить коварному зверю... И он настигнет его, он отомстит... И это будет его последней медвежьей охотой...

Заскулил Лопас...

Пиляп поднялся, подбросил в затухающий костер сучьев, вскипятил чай.

Небо поголубело, верхушки деревьев позолотили первые солнечные лучи. С шумом пролетели, растопыря веерами хвосты, тетерева.

Пиляп взял собаку на поводок и углубился в лес – он не хотел рисковать второй лайкой: раненый медведь страшен и зол, как сот хоятпи ляль – зверь, равный по силе ста лучникам.

Следы Старика хорошо были видны на снегу. Вдоль всей цепочки следов тянулись алые пятна крови. Километра через полтора зверь начал терять силы – он какое-то время отлеживался в

густом ельнике, зализывал рану. Шаг его сделался тяжелым и неуклюжим – он то и дело проваливался в рыхлый весенний снег.

Пиляп шел почти машинально, преодолевая в себе желание повернуть назад...

Да, странная это была охота. След вел к устью Сорт-Ёха, к Ханты-Питлярскому сору.

Взобравшись на небольшой холм, покрытый прошлогодними прибрежными травами – муксутунем и осокой, – Пиляп осмотрелся. Лопас рванул поводок и встал на дыбы, заходясь неистовым лаем: он первым увидел медведя!

Прихрамывая и озираясь, мойпар торопливо ковылял к руслу сора, где чернела на песке перевернутая колданка.

«Видно, Курпелак-Ванька ее здесь оставил», – подумал Пиляп: он знал все лодки своего поселка.

Сор поблескивал истончившимся ноздреватым весенним льдом. Едва ступив на него, мойпар провалился в воду. Выскочил на берег и стал отряхиваться. Затем, будто давая выход своей злобе, принялся крушить колданку.

Пиляп спустился с пригорка, приблизился к зверю.

Когда между ними осталось метров пятьдесят, он пал на колено и, тщательно прицелившись, выстрелил.

Промах!

Выстрелил снова – и опять промазал.

– Лопас! Вперед! – крикнул Пиляп.

Мойпар завертелся на месте, рыча и махая лапами, затем бросился обратно в сор и, круша лед, понесся прямо по мелководью.

Пиляп еще раз выстрелил. Но неведомые силы словно оберегали этого шатуна: пуля – в который раз! – прошла мимо.

– Нет! Не уйдешь! – прошептал Пиляп. – Ни за что не уйдешь!

Он подбежал к разломанной лодке, выбрал два обломка бортовой доски и капроновым шнуром привязал их к подошвам, соорудив нечто наподобие лыж. Сделав два-три пробных шага по льду, Пиляп пустился в погоню.

Медведь пересекал русло. Бежал медленно, тяжело. Лопас мешал ему: он громко лаял, заходил то спереди, то сзади.

Приблизившись к берегу, Старик обернулся и, как показалось Пиляпу, взглянул на него торжествующе: видно, он считал себя в безопасности.

Но охотник уже настигал его.

Подняв ружье, он нажал на спусковой крючок.

Медведь взвыл, дернулся и повалился на влажный песок. По горлу с белым ободком прошла волной предсмертная судорога...

Пиляп, охваченный смятением, смотрел, как уходит жизнь из мощного тела могучего зверя...

Потом, отойдя в сторону, он упал лицом в снег, и плечи его задрожали. Лопас ткнулся носом в руку хозяина, заскулил.

Пиляп приподнялся, сгреб ладонями снег и бросил комочек в своего верного друга.*

1986 г.

Вопросы и задания

1. Составьте характеристику Тавета – главного героя рассказа Р. П. Ругина «След Левши».
2. Почему герою важно было самостоятельно добыть лису в рассказе Р. П. Ругина «След Левши»?
3. Какой след оставил Левша с жизни героя рассказа Р. П. Ругина «След Левши»?
4. Определите место и время действия в рассказе Р. П. Ругина «След Левши».
5. Определите сюжет и композицию рассказа Р. П. Ругина «След Левши».
6. Напишите сочинение на тему: «Случай из моего детства».
7. Как вы думаете, почему Р. П. Ругин назвал рассказ «По следу»? Аргументируйте свой ответ.
8. Можно ли утверждать, что между Пиляпом и медведем идет дуэль: медведь проверяет человека на прочность следования традициям? Обоснуйте свой ответ.

* Когда убивают медведя,ханты, по обычаю, бросают снег в человека или в любое другое живое существо, отдавая таким образом дань уважения медведю, по преданию – предку человека.

ТРИ ШКУРЫ

I

Не пристало солидному человеку впадать в такое ребячество. Но Микипур не мог справиться с охватившими его чувствами. Сердце колотилось, подскакивало в груди плоским камешком-голышом, который в детстве вот здесь же, над обской водой, от руки Микипура плясал, подпрыгивая веселее и дольше, чем пущенный любым другим мальчишкой... А если подумать, так отчего бы ей быть, этой сегодняшней радости? Начальник похвалил? Но Заинди Жадиевич любит расхваливать шофера своего «уазика». Иногда и похлопает по плечу совсем не начальственно, а по-товарищески просто: «Молодец ты у меня! Джигит! Настоящий джигит!..»

Нет, не от похвалы все-таки эта радость. Слово сдержал! Вчера ведь начинало казаться: опростоволосился! Провалился! Не слово того самого джигита, каким называет его Заинди Жадиевич, а пух-перо утиное, которое во время летней линьки птицы здесь над глухими протоками, дальними озерами гоняет ветер.

Микипур смирял себя, шагал размашисто и твердо, походкой, пожалуй, появившейся именно тогда, когда он принял машину начальника управления, но радостный голос Заинди Жадиевича звенел в ушах, сбивал на мальчишескую разудалость.

«Две?.. Даже целых две? Значит, одну для меня? Орел, вот орел! Джигит!»

Две. Да, две. Конечно, Микипур сразу знал, что едет за двумя. Но... приятно сделать хорошее. Тем более человеку, которого уважаешь.

Какая тут история? А вот такая. Позавчера, когда Заинди Жадиевич, большой, могучий, с трудом умещавшийся на сиденье рядом с шофером, ехал домой на обед, Микипур заметил, что начальник взволнован. Он словно не в модном костюме и не на мягком сиденье служебной машины – а будто в плавках или совсем без плавок и сидит на песчаном пляжике, усыпанном сосновыми шишками. Никак не может удобно устроиться. Подчиненному нехорошо напрашиваться на разговор. Но, может,

правильно дружки по интернату говаривали: «У Микипура язык впереди мыслей на семь поворотов реки».

– Что-то вас сегодня шибко тревожит, Заинди Жадиевич? Лицо как тайга перед дождем.

– Не говори, Микипур. Сплошная нервотрепка. – Заинди Жадиевич пропаще взмахнул рукой. – Начальник главка аж из Москвы к нам собирается. Предупредили хорошие люди. Говорят, через недельку заявится. И – по всем нашим объектам!..

– Так и хорошо.

– А что хорошего? Наши сопли прибирать?.. Недоделок же сколько кругом! – Заинди Жадиевич, хотя в машине было не жарко, расстегнул ворот холщовой рубахи. – Промоют нам мозги. Устроят щекотку. Начальство мастера на такие дела.

– Так вы бы что-нибудь придумали. Как у нас в народе говорят: помажь кончик языка жирком, и разговоры и дело сами собой поедут.

Заинди Жадиевич внимательно, как будто впервые увидел его, посмотрел на Микипура. Ответил как товарищ товарищу:

– Сказать легко – помажь... Начальник-то новый. А как в нашем народе говорят: не зная клинка, не балуйся с ним, пальчик можешь ненароком обрезать!

– Новый – это даже лучше, Заинди Жадиевич. – Нет, язык сегодня действительно на семь речных поворотов обгонял мысли, жил как бы сам по себе, Микипур не мог удержать его за зубами. – Значит, на нашем Севере еще не бывал!

– И что же? – Заинди Жадиевич, кажется, все более заинтересовывался словами Микипура, он даже поворотился, насколько мог, к нему, уставился своими голубыми глазами.

– Что же? А ничего! Преподнести сувенир. Только необычный. Наш, северный. Чтоб не мог отказаться.

– Какой? Ну-ка, говори, говори...

Микипур слегка скинул газ, на тормоза чуток надавил и этак неторопливо, небрежно (хотелось, говоря словами самого Заинди Жадиевича, пощекотать начальника) бросил:

– Ну, скажем, медвежью шкуру...

– Медвежью? Шкуру? – Заинди Жадиевич усмехнулся. И словно сразу потерял всякий интерес к Микипуру: не почита-

емый им шофер, не товарищ рядом, а так, дурачок дурачком. – А ты поди, убей медведя. Сними шкуру. Может, пока снимать будешь, он с тебя три снимет. С головой вместе. С потрохами. А? – И Заинди Жадиевич даже засмеялся.

Но в данном случае он ошибался. Он еще не очень хорошо знал своего Микипура. У того хотя и за семь поворотов язык от мыслей, но все-таки уж не совсем такой, чтобы попусту ни с того ни с сего всякую чепуху молоть.

Микипур почему сболтнул про шкуру? На днях он получил письмо от своего дружка Унтари. Вместе учились, на военную службу вместе пошли. Унтари потом вернулся в родной поселок да и осел там. А Микипура, который приобрел в армии профессию шофера, сманили к себе строители газопровода.

Унтари теперь вот, в своем поселке выучившийся на тракториста, спрашивал прежнего дружка: нельзя ли устроиться на работу в их стройуправлении? В совхозе ему надоело, хотел бы он тоже, пока еще не оженился, перебраться в Лабытнанги.

В письме, помимо прочего, Унтари рассказал, что недавно помогал родителям Микипура переезжать на новую квартиру. Им ее выделил совхоз. Вне всякой очереди. Как семье фронтовика. (Да, Микипур знал, что отец его, «старый Семан», как звали его в совхозе, воевал немного. Доехал до фронта. Был сразу бой, и его сильно ранило). Унтари в письме сообщал, что, кроме всех прочих вещей, он перевез хорошо уложенные на нарте, как будто навечно упакованные, две медвежьи шкуры. Эти шкуры, как узнал он от старого Семана, тому оставил действительно на вечное хранение оленевод Логин. Сам Логин этой зимой из-за ухудшившегося зрения навсегда распрощался с пастушеским делом. И ввиду того, что, уйдя из бригады, где постоянно был среди людей, остался один, он махнул рукой на свой дом, на все свое хозяйство и уехал в Тюмень к сыну, работающему там преподавателем пединститута. Отец Микипура, никогда сам не охотившийся на медведей, стал обладателем двух шкур.

Унтари еще писал, что он попросил Семана уступить ему одну шкуру. Но тот на него рассердился и не стал разговаривать. Или дорожит подарком – Логин был ему большим другом, или еще почему-то...

Всего этого, конечно же, не мог знать Заинди Жадиевич, так весело обсмеивавший своего шофера.

– А почему убить? – хмуро спросил Микипур, показывая, что слегка обиделся на Заинди Жадиевича, которого бесконечно уважал, можно даже сказать, любил. – А если шкуру... достать?

– Достать? – начальник стройуправления опять насмешливо улыбнулся. – Это лет двадцать назад, когда тут только все начиналось, еще можно было что-то, – последнее слово он произнес прямо-таки с издевкой, – достать. Теперь оленью шкуру, – голос его зазвучал возмущенно, – и то не купишь. Ты посмотри, сколько тут одних туристов! Целые теплоходы! И все за сувенирами охотятся. Да появись где эта самая шкура медвежья, за нее такую цену заломят! Такие деньги!

– А почему – деньги? И без денег можно. Знаю один адресок.

Заинди Жадиевич поворотился всем своим тучным телом к Микипуру. Голубые глаза его сделались серьезными, даже строгими.

– Где?

– Секрет.

– Ну!.. От меня-то!

– В нашем поселке. В моем родном. У отца...

Заинди Жадиевич покачал головой.

– Вы, местные, ну и скрытный народец! Вон ты... Уже который месяц ты у меня работаешь. И вроде бы – говорун. Говоришь иногда, говоришь. А вот о том, что шкура медведя у отца на крыше сакли... тьфу, в чулане где-то лежит, – ни слова. Надо было, видишь ли, начальника главка дождаться! Ну и ладно. Может, и хорошо! Останавливай машину. Глуши мотор.

Микипур сбросил газ и выключил зажигание. Смотрел на начальника, в глазах которого светился, разгорался огонек радости – так разгораются под дохнувшим вдруг ветерком угли притухшего костра.

– Так вот, слушай, – Заинди Жадиевич широкой ладонью крепко сжал руку Микипура, лежавшую на баранке руля. – После обеда берешь командировку. На пять дней. Хватит? И сегодня же езжай. Был бы наш выездной катер на месте, я бы тебя катером отправил! Но он будет только через три дня. Ждать

нельзя. Езжай на перекладных. А уж оттуда – вывезу. Как самого большого начальника. С шиком. Договорились?

Микипур, пожимая руку Заинди Жадиевича, отметил, что она не такая сильная, как с виду. Просто – очень широкая, мягкая.

Это было позавчера. А вчера, под вечер, Микипур, чувствуя себя вроде бы совсем новым человеком, с ответственной бумажкой в кармане, на которой нужно было поставить печати в поссовете и отметки «прибыл», «убыл», с палубы рейсового теплохода «Родина» сошел на знакомый до каждого камешка, до каждого кустика, до каждого столбика берег.

II

Отец встретил его тут же, на берегу. Он только что вернулся с рыбалки и снимал с кормы дюралевой лодки-«казанки» мотор «Ветерок-8». В поселке он, пожалуй, единственный ездил на таком слабосильном моторе. Все остальные, особенно молодежь, любили прокатиться действительно с ветерком, непременно на мощных моторах, таких, как «Вихрь-25», «Вихрь-30». Но как быть Семану? – полученное в войну ранение в правое предплечье сделало его инвалидом, и он не мог заводить подвесные моторы с сильной компрессией.

Отец, как всегда, был рад Микипуру. Чувствовалось, что ждал его в эти дни, так как началась уже та самая пора, когда сын обычно приезжал в отпуск, месяц Лор Хойты Тылась – время ската рыбы с соров.

Богатое, сытное время. Рыба, нагулявшая жир на мелководье – в огромных пространствах речной поймы, в сорах, сейчас вместе с убывающей водой скатывается в речное русло. Идет протоками, знакомыми ей речками и ручьями. Рыбацкие бригады знают эти извечные дороги пожировавшей вдоволь рыбы. Ждут ее с неводами, ставными сетями. У отца, вернувшегося с рыбалки, видать, тоже хороший улов: «казанка» сидит низко – огрузла.

– Усят, сынок! – поцеловал он Микипура своими толстыми, мясистыми губами. За глаза все зовут Семана «Улы тупа тарап» – «У которого копытоподобные губы». Доля правды, конечно, в

этом прозвище есть: у отца при разговоре губы иногда действительно пошлепывают, как оленьи копыта при ходьбе.

Оглядев внимательно Микипура, отец долго держал руки на его широких, сильных плечах.

– Рыба хорошо скатывается. Какая нынче нельма в твоем любимом сору Васяват Лор! Вовремя приехал. Молодец! Носом чуешь добрую рыбу. Хороший малосол с собой повезешь. Город небось и захудалым чебаком не порадует.

Когда с берега принесли домой вещи отца из «казанки», перетаскали ведрами улов, когда все важнейшие сельские новости отцом и матерью были сообщены, Микипур стал осторожно объяснять цель своего приезда.

Отец слушал внимательно, настороженно. Поняв, что сын приехал совсем не за рыбой, а чтобы забрать принадлежащее Логину, долго молчал. Затем осуждающе посмотрел на Микипура:

– А зачем тебе апсие сахал?* Разве это игрушки?

– Да не мне, отец. Начальнику моему.

– Хм. Начальнику. Пусть сам бы и ехал. Искал себе, если понадобилось. Небось ружье-то у него есть. Теперь у всех ваших начальников ружья да карабины.

– Так это же подарок, отец. Сувенир необычный...

– Подарок... Сувенир... Вот подкараулит тебя где-нибудь на таежной тропе твой братец. Помнет бока. Покажет, что он не сувенир. Умнее будешь. Или забыл, как народ его величает? Сот хоятпи ляль – зверь, имеющий силу ста лучников!

– Ну, отец. Пойми меня. Обещал я. И притом же я, отец, не даром. Заинди Жадиевич за них все, что нужно, отвалит. Доски, краски нужны – завтра же тебе доставят. Деньги нужны – пожалуйста. Сто рублей за них дам. Сто!

Отец метнул на него злой взгляд, разворошил старческими пальцами седые волосы на голове.

– Если так, сынок, тропа разговора оборвется на этом. За деньги вздумал! За деньги ты и шерстинку мойпара в мешок не

---

* Апсие сахал – шуба братца, то есть медведя. По преданиям ханты, медведь и человек одного происхождения. Медведь – младший брат человека. И у него не шкура, а шуба.

положишь! Я еще не лишился ума, чтобы шубу мойпара за деньги продавать! Кой!

− А почему не хочешь, отец? Они все равно у тебя в сарае пылятся. Сгниют напрасно.

− Так это его, мойпара, дело. Исстари так заведено. Сами по себе и кончатся. Рассыплются. Сами. Не то, что у твоих начальников. Бросят на пол и топтать будут. И мужчины, и женщины особенно. Грех! Тьфу! – Он сплюнул в сторону. – Да чтобы я мойпару такое наказание приготовил! Что он мне плохого сделал? Нет! С такими мыслями подальше отплывай. Не пойдет дело...

Старик решительно встал, заложил руки за спину – левое, раненое плечо у него как будто бы отвисало. Потоптался недолго и нетерпеливо крикнул в соседнюю комнату:

− Как там, старуха, у тебя? Стол накрыла?

− Немного еще поговорите, – донесся голос матери. – Вот разрежу малосольную нельму.

Необычная собранность отца, сердито-неприступный взгляд щурившихся глаз сказали Микипуру, что с ходу его не взять, нужен какой-то иной, окольный путь. И Микипур начал лихорадочно соображать, что бы такое придумать, чем можно переубедить старого. Рыбой, переполнившей мотню невода, забурлили его мысли. И, кажется, он нашел тот довод, который бы произвел впечатление на Семана.

− Отец, ты немного не понял меня. Не так понял. Вот ты сказал, что шкуры топтать будут...

− А для чего их берут? – перебил его Семан. – Конечно, топтать. А то я не знаю... Слышал я от одного русского. Расстелят шкуру на полу. Ляжет хозяин на мойпара, локтем в него упрется. Бутылка рядом стоит. Смотрите, мол, какой я всесильный! На шкуре мойпара пирую. Тьфу! А встретился бы с ним в тайге! Вот тогда и посмотрели бы, как он пировать станет. Забыл бы не только о бутылке, но и из штанов бы выскочил, удирая. Мойпар – не игрушка. Кой!

Нет, трудно было сладить с суеверным стариком. И хотя Микипур сам не знал, где будут держать Заинди Жадиевич и начальник главка медвежьи шкуры, он решил идти до конца и принялся врать.

– Отец, они шкуры на стену повесят. Вместо ковра. Я же разговаривал с ними. Я тебе правду говорю: вместо ковра они им нужны.

Видя, что эти слова возымели некоторое действие, Микипур продолжал с еще большим напором:

– Сам подумай, отец. Здесь у тебя – просто лежат в сарае. Света белого не видят. А там – чистота! На побеленной стене! Ведь туда не каждую шкуру повесят. Разве собаку или зайца на такую стену допустят?

– Этого еще не хватало! – возмутился отец. – Собаку или зайца! Им-то за что бы такой почет!

– Вот, вот, отец. В городе только шкуры достойных зверей на стену вешают!

Семан засомневался, и Микипур, словно река в половодье, все напирающая и напирающая на только что тронувшийся лед, наседал на отца.

– И еще тебе скажу. Я много книг прочитал. Знаю, как другие народы живут. У них тоже есть священные животные. Только другие.

– Ну?

– Вот ты послушай. На далеком востоке нанайцы живут, ульчи, сроки. Помнишь, я рассказывал, когда учился в восьмом классе, про Дерсу Узала?

– Помню, помню. Добрый охотник был. Уважал зверей. Почитал их. Особенно того полосатого, забыл, как его...

– Во-во, отец. Тигром того полосатого называют. Так его шкуру не просто на стену вешают. А молятся перед ней.

Семан ухмыльнулся.

– Твои начальники что, тоже будут на шубу мойпара молиться?

– Не будут! – Микипур понял, что слегка переборщил. С отцом, хотя он мужик простой, деревенский, держи ухо востро! – Молиться не будут. Но почитать станут. Гостям показывать. Рюмочку не на него, а рядом ставить будут. Как поминки по мойпару справлять. Я специально их попрошу.

– Ну, ладно, ладно, сынок, – засмеялся отец. – Глядишь, еще упросишь своих начальников жертвоприношения мойпару устраивать!.. Пойдем поужинаем. Подумать надо. Дело сделать – не

языком сболтнуть. Сказал – в небеса взлетел! Нет, тут подумать надо. Ты говоришь, у тебя пять дней в запасе? Есть время. Есть. Все обмозгуем. Не с пустыми же руками тебе возвращаться, коли такую дорогу проделал. Поговорим с кем-нибудь. Может, и уступят тебе...

– Но, отец... – Микипур, обрадовавшийся было, что лед отцовской неуступчивости тронулся, опять упал духом. – Но... Зачем искать. У тебя же есть. И такие отличные.

– Ты разве видел их?

– Унтари писал.

– Я этого Унтари, – Семан тут выругался, – я его за длинный язык когда-нибудь в болотной жиже выкупаю. Не будет болтать о таких вещах за каждым поворотом. Мойпар вам не игрушка!

В это время послышался голос матери; она хотя и готовила в другой комнате на стол, но, видать, слышала весь их разговор.

– Уступи, уступи, отец. Сынок своему начальнику обещал.

– Обещал, обещал! – опять рассердился отец. – А тебя кто просит вмешиваться в мужской разговор! Что ты лезешь, куда не следует!

Мать, обычно замолкавшая сразу после такого окрика, тут не поддалась – решила, видимо, постоять за любимого сына:

– Не горячись, отец Микипура. Я слышала, Аржей Илья прошлым летом продал шубу мойпара туристам.

– Что ты мне про Аржей Илью говоришь! – вскричал отец. – Этот пьянчужка за бутылку совесть свою продает! Что для него шуба мойпара!

Шубу можно, – не сдавалась мать. – Только голову надо оставить себе. Старые люди говорят, что так, мол, можно. Раз голова осталась, дух мойпара думает, будто и шуба на месте. Можно так делать, отец Микипура.

– Можно, можно, – уже мягче проворчал отец. – Как будто я не знаю, что можно, а что нельзя. Сказал, подумаю...

Тут Микипур раскрыл свой чемодан, вытащил оттуда пуховый оренбургский платок – для матери. Отцу – лавсановый костюм и трубку. О трубке отец его давно просил. Да все как-то

забывалось. А тут, перед отъездом, забежал в универмаг, в отдел сувениров, выбрал самую дорогую. Трубка отца обрадовала.

– Вот это да-а, – вертел он ее так и сяк. – Мастерская работа. Какая вещь! Хорошая вещь!

Микипур еще порылся в чемодане, извлек оттуда бутылку.

– Все балуешь отца. За встречу можно. Все же почти год не виделись.

За столом, подзакусив малосольной нельмой, покряхтывая, Семан принялся похваливать Микипура, который, как и всегда, когда бывал в компании и ему пытались налить, решительно прикрывал рукою стакан.

– А ты молодец, сынок, – говорил Семан. – Не научился пить, и хорошо. Не учись. В газетах вон сейчас пишут о борьбе с вином. Ох, как много говорят по радио. Хорошие законы приняли. А то, сынок, совсем люди распустились. Юнцы до подолов головой не доросли, а уже к вину прикладываются. Да еще как! А ведь раньше-то как было, сынок? Пока человек выездную нарту не построит, пока настоящие охотничьи лыжи не выстругает, пока высоконосую колданку из кедра не смастерит! Да какую колданку!.. Э-э! Без единого гвоздочка. Кедровыми жилами доски сшитые. Во какую!.. Так вот, до этого времени ему и понюхать не дадут! А сейчас... Вот она, – указал на мать, – про Аржей Илью вспомнила. Рыбоинспектор. Такая должность! А он... Бутылку увидел – все забыл. Нет, нет, сейчас-то вроде бы крепко берутся за пьяниц! По-настоящему. Давно бы надо было.

Семан еще долго говорил за столом. Подробно расспрашивал, как живет Микипур. Как семья? Особенно интересовал его внук Нятама. Ну, и всяческие городские новости. Много ли домов в городе прибавилось? Большие ли теперь строят дома? Если сейчас в магазинах ковров сколько хочешь, то все-таки зачем начальникам Микипура шуба братца?

– Сувенир!

– Сувенир, говоришь? – Отец вертел в руках трубку, только что подаренную сыном, и все не решался набить ее табаком и раскурить. – Трубка – сувенир... Шуба братца – сувенир...

– Значит, завтра мне можно звонить в Лабытнанги? – опять насел на отца Микипур. – Сказать Заинди Жадиевичу, что, мол,

все в порядке. Командировочное задание выполнено.

– Э-э, не торопись, сынок. Пока в мешок не завязал, не закинул за спину – пустые разговоры!

– Но, отец, ты же!..

– Знаю, знаю, сынок... Обмозгуем. Все сделаем. Такую длинную дорогу проделал! И как же с пустыми руками обратно ехать! Я своему слову не изменю! А язык что олень. Ты вот меня побаловал: привез из города трубку. И мой язык как плохой олень. То в одну сторону нарту тянет, то в другую. Нельзя языком впустую болтать. Звони, звони, сынок. Найдем выход. Какая-нибудь тропа к удачному концу приведет. Не сомневайся...

Утром Микипур даже не стал смотреть программу «Время», а пошел на почту прямо к открытию. Дозвонился, хоть и не скоро, до Заинди Жадиевича. Начальник управления был очень доволен. Микипур хорошо слышал в трубку, как у Заинди Жадиевича будто перехватило дыхание от радости. А затем, словно легкой колданочкой на волнах, заиграл его голос. Такое бывало с ним крайне редко, разве только при разговорах с красивыми девушками. Или при начальстве, когда он весь добрел, становилось мягким сердце. Или еще когда пробовал нежный кусочек печени нельмы, которую обычно через своих знакомых доставал Микипур.

– Ай да молодец! Молодец, Микипур! Настоящий джигит! – хвалил он в трубку. – Вот это джигит! Две, говоришь, достал? И для меня, значит, одну? Заранее благодарность объявляю. Молодец! Великое дело сделал!

А когда Микипур попросил, чтобы за ним выслали катер «Скиф» в поселок Нехас Вож, Заинди Жадиевич слегка замялся, словно что-то обдумывал. Потом ответил:

– Знаешь что, Микипур! Не торопись. Дело сделано. Ты у родни находишься. Поотдохни денька три-четыре. На рыбалке позагорай. Свой любимый нярхул* испробуй, рыбацкой ухи похлебай.

* Нярхул – блюдо из только что выловленной рыбы, которую едят в сыром виде.

В это время послышались посторонние звуки: кто-то явно что-то подсказывал ему, и потому Заинди Жадиевич тут же почти крикнул в трубку:

– Погоди минутку, Микипур. Тут важный разговор с одним товарищем есть, – и после недолгой паузы, за время которой можно было отхлебнуть несколько глотков душистой ухи, продолжал: – Ты вот еще что сделай. Договорись в поселке с кем-нибудь. Пусть шкуры обработают. У вас это умеют. Вашим это пара пустяков. А тут, в городе, кто сделает? – Начальник хрипло закашлял в трубку. – Потому, Микипур, не торопись. Еще недельку даю тебе сроку. А за обработку шкур сегодня же переведу сто рублей. Хватит?.. Не хватит, как приедешь – добавлю. А через семь дней катер «Скиф» загудит у берегов твоего поселка. Да, повтори название еще раз! Запишу.

И Микипур несколько раз по слогам произнес: «Нехас Вож, Нехас Вож»...

И вот Микипур шагал размашисто и твердо по узкому дощатому тротуару деревенской улицы. В ушах все звенел удивленно-радостный голос Заинди Жадиевича: «Две?.. Две, говоришь, достал?.. Заранее благодарность объявляю! Джигит!..» Сердце подпрыгивало, как камушек-голыш над обской водой. А Обь – вот она: у улицы один порядок домов кончился и вместо него обрывистый высокий берег. На нем ровным рядом, словно вдоль натянутой тетивы лука, остроконечные елочки. Внизу, под кручей, ленивый плеск воды: волны набегают на берег и, дробясь, резвыми стаями серебристых сырков откатываются обратно.

Микипур остановился около бугорка, покрытого густой травой, на котором и прежде любил сидеть, любуясь рекой и заречными далями. Задумался.

«А ведь – задачка. – Он даже глубоко вздохнул. – Обработать! Вашим это пара пустяков!..»

Микипур поворошил свои курчавые смолистые волосы. Достал из кармана импортных джинсовых брюк расческу, причесался. Медленно побрел вдоль кручи, которая тут полого опускалась к воде. Дойдя до полоски берега, сплошь усеянного мелкой галькой, повернул обратно и уселся на хорошо знакомом бугре.

Сидел, глядя под ноги, потирая ладонью выступающий лоб, поглаживая широкий и плоский, схожий с головой налима нос.

«Задал я себе работенку, – размышлял он, упрекая себя. – И кто только дернул меня за язык! Правильно подметили мудрые старики, что бестолковому и язык свой покоя не дает... Где найти такого человека в поселке, кто смог бы обработать шкуры? Кто согласится?»

Он знал, что все хантыйские женщины большие мастерицы обрабатывать оленьи шкуры. Это умение у них с детства. В крови, как говорится.

«Но ведь это только оленьи шкуры, – рассуждал Микипур. – Не медвежьи. Не сот хоятпи ляль. Кой, кой! Худо. Ни один ханты, пожалуй, ни за какие деньги не возьмется. Нельзя! Табу... Значит, опять придется говорить с отцом? Он-то всех и каждого в поселке знает, как пастух своих оленей в стаде. Но как с ним говорить о выделке, если он еще и отдать-то их твердо не обещал! Заупрямится вовсе. Опять будет толковать о шубе братца... Вот задачка!»

III

Сидел на травянистом бугре Микипур, смотрел на широкую Обь, у которой противоположный берег был чуть различим, почесывал лоб и все раздумывал неторопливо и холодно, как перекладывал скользких снулых рыб из мешка в мешок. Что придумаешь?.. И вдруг он увидел поднимавшегося от реки Роберта Кляйна.

Этого жителя поселка Микипур знал плохо, потому что Кляйн поселился здесь, когда он уже ушел на военную службу. Знал только, что Кляйн немец. Что он женат, как здесь говорили, на зырянке. Так здешние по старинке зовут всех коми. И тех, которые издревле живут тут, на Оби, и которые приезжают из-за Урала. Кляйн, кажется, переехал в поселок из Салехарда, потому что в здешнее отделение совхоза направили работать ветеринаром его старшую дочь, закончившую техникум. У Кляйна было еще несколько ребятишек, все школьного возраста.

Микипур, когда после службы ненадолго приехал в поселок, был поражен домиком, который откупила себе эта семья. Вроде

бы знакомый домик, Микипур хорошо знал его раньше. И совсем не тот. И не потому, что его слегка подновили, перекрыли крышу. Нет, удивлял порядок возле него. Палисадничек перед окнами – в нем цветы. Ровно, как будто с помощью нивелира, занятого у геологов, возведен заборчик из невысокого штакетника. (Вообще-то в поселке если у кого и были заборы, то из жердей: колья, вбитые как попало, далеко друг от друга, и к ним две-три жерди прикручены). За штакетником – огород. Поразил Микипура огород: тыквы крупно цвели; на огуречных, покоившихся на подстилке из навоза грядках, как на полянках, когда одуванчики засыпают их своими золотистыми шапочками, все желто; картошка, уже окученная, поднимается дружно; помидоры, видимо рассадой выращенные, сейчас кустиками, привязанными к палочкам, стояли многообещающими рядами. Ни у кого в поселке такого порядка возле дома не было. Не было ни у кого и такого огорода! Да и дочка, ветеринарша, тоже привлекательна. Дородна в теле; лицо белое – наверное, от матери; волос рыжеват – отцовский. За ней сразу Унтари, тоже тогда отслуживший, принялся ухлестывать. Но, видать, так ничего у них и не вышло. Потому и написал: «Пока не оженился, хотел бы к тебе, в Лабытнанги».

Плохо знал Микипур Кляйна, хотя, конечно, при встречах здоровался и разговаривал иногда. Но вспомнил сейчас, что когда отец начинал расхваливать порядок возле дома немолодого Роберта и его огород, то обязательно упоминал о том, что Кляйн еще и сапожничает. Хорошие сапоги тачает. Понимает толк в коже.

«Если понимает толк в коже, – подумал Микипур, – значит, и выделать может!»

И, бодро вскочив, приветливо заулыбавшись, как старому доброму знакомому, Микипур пожал крепкую руку Кляйна.

– Здравствуйте, дядюшка Кляйн. Можно вас на минутку? Маленький разговор есть.

Но прежде чем начать о деле, Микипур заговорил об огороде. Знал, что Кляйну это приятно. Знал, что этот немолодой мужик прямо-таки расцветает, когда хвалят его огород. И действительно, слушая парня, Роберт Кляйн кивал большой седой головой, аккуратно подстриженной под неизменный полубокс;

лицо его, тронутое морщинами, но тщательно выбритое, надушенное цветочным одеколоном, замоложавилось, разгладилось в довольной улыбке... Услышав же просьбу Микипура, Кляйн опять ссутулился, – он сутулым очень уж был: когда шел по улице, то голова вперед, лицо вниз, на спине будто мешок тяжеленный, – стал отнекиваться. Сослался на старческие руки, которые якобы давно покинула сила, на то, что с медвежьими шкурами по-настоящему дела никогда не имел. Но, услышав о предлагаемой за работу сумме, задумался. Замолк. Долго молчал. Водил носком правого шлепанца по траве, будто растирал окурок.

– А где шкуры-то? – спросил потом. – Достал уже?

– У отца. В сарае лежат.

– И когда выделку-то закончить надо?

– Да так. Время есть. Дней через шесть-семь.

– Ну, если дней шесть-семь... Можно. Гут, гут! Только принеси их завтра ко мне в сарай. Я сегодня место для работы подготовлю, инструмент подберу.

Микипур, обрадованный, заторопился домой. Проходя мимо совхозного амбара, он вдруг увидел отца, разговаривавшего со здешним бригадиром. Хорошо знавший Микипура бригадир, поздоровавшись, спросил, как всегда, не надоело ли парню в Лабытнанги, не собирается ли обратно в совхоз, и ушел.

– Что, отец, выяснял с ним? Куда это он тебе рукой показывал?

– Да так... В сторону мыса Пильех Лор махнул. Там, оказывается, Паял рыбачит.

– Это какой Паял?

– Из Нангаюггортовских юрт... Друг мой. Рассказывал я про него. Да ты, видать, все забыл...

– Забыл, забыл... А я, знаешь, отец, человека нашел! Будет дело сделано!

– Это какое еще у тебя новое дело зародилось? Радость с твоего лица так и капает.

– Нашел человека!..

– Какого человека?

– Ну, который может обработать твои медвежьи шкуры.

Семана при этих словах всего передернуло. Глаза, только что лучившиеся, как всегда при взгляде на сына, теплинкой, заволокло холодным туманом.

– Кой-кой, сынок! Какой же ты! Липкий, как смола ели. Тебе и шкуры подай. Да еще и выделай их! Ну, и кто же этот, взявшийся за такую работу? По-моему, никто из хантов, если он в своем уме, не возьмется за такое дело, зная, когда мойпаров домой привели. Все же в поселке помнят, что еще и года нет, как они в мой дом вошли.

– Да не хант, отец, обрабатывать будет.

– А кто же? Где ж ты такого нашел?

– Роберт Кляйн. Он согласился.

– Кля-я-я-йн?! – Семана передернуло пуще прежнего, и он заложил руки за спину, взял их в замок, как делал обычно в момент особого волнения. Помрачнел. – Кля-я-йн, говоришь?.. Так, значит, говоришь, Кляйн! А ты знаешь, кто он? Не знаешь? – Он все больше возбуждался, пальцы рук за его спиной хрустели, как переламывавшиеся сухие прутики тальника; тяжело бухая резиновыми сапогами с длинными, под самые паха, голенищами, он вышагивал перед дверями амбара вперед-назад. – Кляйн, говоришь? Человека нашел?.. Это же немец! Забыл войну? Да ты ее и не помнил! Они меня чуть жизни не лишили! До сих пор как вечер, так плечо ноет. Какой Кляйн в меня стрелял?..

Микипур растерялся. Такого уж он никак не ожидал. Отец, конечно, воевал. Был ранен. Кажется, в первом же бою. Но при чем тут Кляйн? Тем более что Роберт вроде бы и на войне совсем не был. И Микипур, потерев округлый, далеко выступающий лоб, который, как это бывало в минуту тяжких раздумий, морщинился, воскликнул:

– Отец, ты не прав! Роберт – сибирский немец. Он из-под Омска.

– Не говори неправды! – Отец опять затрещал словно переламывавшимися, как сухие сучки, пальцами. – Немцев под Омском не было. Немцы под Москвой были!

– Под Омском были.

– Не было... Я там в военном лагере учился. Ползком все поля обполз. Стрелять нас далеко водили. Не видел немцев. Под Москвой – вот там они были. Из-за русской избы один

выскочил. Я его не успел: винтовка длинная, долго поднимать. У него ружье короткое. И много пуль разом. Он – в меня...

– Были под Омском немцы. Отец, мне мой начальник Заинди Жадиевич рассказывал. Он всю историю знает, много книг прочитал. Он восемнадцать лет учился. Это другие немцы. Их какая-то царица на землю Сибири пригласила. Сибирь богатая. В ней столько добра разного! Заинди Жадиевич говорит: не сосчитать! Земли много – копать некому. Царица сказала: пожалуйста. Заинди Жадиевич так и говорил: целыми колониями приезжали. Селились, по-нынешнему сказать, деревнями, поселками, такими, как наш, например. Давно это было. Лет двести назад. И обжились. Здешними стали. Вот из таких Кляйн.

– Ты почем знаешь? Здесь в войну сколько пленных немцев работало... Говорят, не все домой захотели. Может, и Кляйн этот самый...

– Так давай спросим.

Отец остановился напротив Микипура, посмотрел ему прямо в лицо. С глаз старого Семана, затуманенных холодом, сошла белесо-льдистая пелена, они освежились добром и участием: так умудренный жизнью человек вдруг проникается иногда сочувствием к малоопытной молодости. Но тут же Семан опять насупился, сказал угрюмо:

– Нехороший ты человек... Когда таким вырос! – И, чувствуя, что сын не понимает его, объяснил: – Если шубу братца нельзя мять чужими руками – душе братца от этого тяжело, то разве чужую душу можно мять так запросто, из-за ничего? Такими расспросами! Ну, пусть Кляйн не тот немец, который на меня из-за избы выскочил. И даже не брат его и не друг. Пусть даже он из тех, которые еще при царицах (ой, ой, как это давно было!) твоими колониями под Омском устроились. Так зачем же его донимать: ты откуда? да здесь почему? Может, это ему скребком по душе. Захочет рассказать – сам расскажет... А мять да скоблить мойпара ему не дам.

– Но, отец...

– И не говори больше ничего! Совсем ты перестал быть хантом! Мы вот как сделаем! – заключил он с какой-то нестариковской решительностью. – Ты сейчас же возьмешь мотор «Вихрь-

25». У меня там, в сарае, новый, в мешковину завернутый, лежит. Поставишь его на лодку «Обь». Она понадежнее «казанки». Прихватишь с собой дружка Унтари – у него, видишь ли, какие-то отгулы! И поедешь на ту сторону. В луга. Там наши, совхозные, сено ставят. Вот два денька, сегодняшний да завтрашний, и поработаете там. Сено косить поможете. А я за это время тут что-нибудь придумаю. А то, вижу, мы с тобой хоть и на одном языке говорим, а выходит, что совсем на разных.

IV

Солнце уже уселось на подернутые синеватой дымкой плечи Уральских гор, когда Микипур с другом Унтари тронулись с покоса домой. Поработали на славу: по самым грубым прикидкам, накосили на стог, а может, на полтора. Перед тем как отправиться в дорогу, осмотрели сети. Выпутали десяток жирнобрюхих муксунов.

В лугах, далеко от дома, забылось, зачем и приехал в родной Нехас Вож. Тем более что друг Унтари замучил своими заботами. Оказалось, что с Любкой Кляйн, с ветеринаршей, у него полное взаимопонимание и жаркая любовь. И то письмо с вопросом – а нельзя ли перебраться к вам в Лабытнанги – он написал по ее наущению. Ей, оказывается, хотелось улизнуть в город. «Привыкла к Салехарду». Но, с другой стороны, она не хотела бы обижать родителей. Ее отцу здешняя жизнь, недорогая и спокойная, нравилась. А мать и вообще, как у русских говорится, была на седьмом небе от счастья. В Салехарде она все время то техничкой в конторе, то санитаркой в больнице, то сторожихой на стройучастке – работы, сердцу немилые. А здесь коровой обзавелась, работать на звероферму устроилась. Как в давние годы, когда еще в родной деревне жила, опять всю радость жизни почувствовала. И школа рядом с домом – за ребятишек спокойна. И за мужа, который теперь по навигациям не ходит (Кляйн раньше шкипером в пароходстве работал), сердце не болит.

Любка знала, что, если она с Унтари улизнет из-под родительского крова в Лабытнанги, это сильно опечалит родителей. Поэтому она хотела все сделать тихо, исподволь. Сначала Унта-

ри уедет. Она к нему будет наведываться. Будет страдать без него в Нехас Воже. И родители тогда скажут: «Да поженитесь вы! Поезжай ты к своему Унтари!» И она, вместе с любимым, окажется в городе.

Микипур опрокинул все эти планы друга и его суженой. Он прямо спросил:

– Любке работать здесь нравится?

Унтари ответил:

– Еще бы!.. Ее здешний бригадир побаивается. А директор совхоза на всех совещаниях и радиоперекличках бригаду молодого ветспециалиста Кляйн ставит в пример.

– А что она будет делать в Лабытнанги? Где-нибудь в конторе пристроится? В детсадике воспитательницей? Библиотекаршей?.. Во-первых, там все такие места заняты. Жди-пожди, когда какое-нибудь освободится. Во-вторых, такое место не по Любке. Здесь смотри, какой она королевой ходит! А там зачахнет от скуки... И если ей кажется, что она к Салехарду привыкла, то есть к городу, так потому, что у нее там подружки были. Теперь они тоже все разлетелись-разъехались. И в Салехарде, и в Лабытнанги ей теперь надо будет заново друзьями обзаводиться. А это непросто... А квартира?.. Я вот уж на хорошей работе, при самом начальнике, а все еще в одной комнате живу. Все пока лишь только обещают отдельную двухкомнатную.

Унтари все эти доводы легли на душу – видать, Любкина затея его не очень прельщала.

– Ты действуй просто, – поучал Микипур слабовольного друга. – Скажи, что Микипур за тебя изо всех сил старается. Место обязательно найдет. Квартиру тоже. Будете переезжать, и сразу телевизор можно устанавливать. Только скажи, квартиру там у них в первую очередь семейным дают. Да еще у которых дети. Женись! Ребятишками обзаводись! Совхоз и сейчас Любке, как молодому специалисту, отдельный домик предлагает. Берите домик. Якобы пока. До переезда в Лабытнанги. Дядюшка Кляйн вам его отделает по лучшему разряду. А потом, годика через два, посмотришь, согласится ли твоя королева свое положение на должность технички в горкомхозе менять!

– Правильно! – заразился этими мыслями Унтари. – Обманем Любку. Она нам потом спасибо скажет. Будем готовить свадьбу!

Когда они, перевалив Обь, пристали к берегу у Нехас Вожа, их удивила «казанка» Семана с лежавшими в ней вещами и мотором «Ветерок», не снятым с кормы. В «казанке» сидел племянник Микипура – восьмилетний Тавет. Он вертел руль-мотор в разные стороны и издавал звук, имитируя его работу.

Микипур подтянул подальше свою лодку, выкинул якорь и, подойдя к Тавету, потрепал его за волосы:

– Ну как, капитан, хорошо мотор работает?

– Нормально. Несемся – сто километров в час!

– Хорошая скорость... А где дед?

– Празднует...

– Празднует? А какой такой у него нынче праздник?

– Целых два!.. У-у-у! Сто двадцать километров скорость!

– А не врежешься?

– Во что?

– В Уральские горы...

– У-у-у! Нет. В протоку свернем.

– Хорошо... Так какие все-таки у деда праздники?

– Облегчение души и – встретил друга. У-у-у! Сто шестьдесят!

Поняв, что от Тавета, который все набирал и набирал скорость, норовя ее, без сомнения, перевести в космическую, большего не добиться, Микипур нагрузился поделенными с Унтари муксунами, «Вихрем-25», укутанным опять в мешковину, и потащился домой.

Дома действительно праздновали. Отец стольничал с незнакомым мужчиной. Сидели они, видимо, давно, разомлевшие, довольные. Перед ними на столе пыхтел старый, с мятыми боками самовар, пахло любимым отцовским, чагой заваренным чаем.

– О, вот и сынок приехал! Наверное, весь заречный луг выкосили. Молодцы! А я вот со своим давним другом Паялом немного согрел себя. Согрелись, значит, немного головы прояснили. Прошлое вспомнили. Вот это тот самый мой друг Паял, про которого я тебе всегда рассказывал. Ты, конечно, помнишь!

«Паял... Паял... Да кто же этот самый Паял?» Навстречу Микипуру поднялся коренастый мужичок с лицом обветренным и задубелым, видать по всему, из тех людей, что и отец, кто дни

свои проводит на ветру, под солнцем. Но, пожалуй, обветренностью да задубелостью кожи и кончалось сходство Паяла с его другом Семаном. Если у отца лоб был широким и плоским, что давало возможность старикам шутить: «Олени, мол, на таком лбу могут пастись», то у Паяла лоб напоминал заячий. Неширокий и слегка выпуклый; глаза будто готовы выскочить из орбит – навыкате; нос короткий и горбатый; подбородок почти слился с шеей. Из-под коротко стриженных волос торчали длинные, усугублявшие сходство головы с заячьей, уши. «Паял?.. А! Да это же фронтовой друг старого Семана!» Микипуру сразу вспомнились все отцовские рассказы о войне. Небогатые они были. Нет, совсем небогатые, как и награды. Одна медаль была у Семана – «За оборону Москвы». По рассказам отца, их привезли на фронт в самом начале декабря сорок первого года. Выгрузились они возле города, который был обнесен высоченной каменной стеной, а за ней купола, кресты – церкви. Никогда не думал Семан, что столько церквей (потом узнал, что главные из них зовут соборами) может быть в одном месте. Тот город назывался Загорск. Только вот почему Загорск – непонятно, гор рядом никаких не было. Выгрузились, несколько переходов сделали, и на вот тебе! Кажется, и командиры не ожидали, что в большой деревне на берегу замерзшей реки (опять же, как узнал Семан потом, канал, а не река) – немцы. Бой получился горячим. Семана ранило. Недалеко от Паяла взорвалась граната. Ни один осколок его не задел, а все равно лежит, как убитый.

Семан рассказывал, что, когда подполз к нему, увидел: в лице – ни кровинки. Лежит, как рыба на берегу: хвостом уже бить перестала, но еще не закоченела. Чувствуется, жизнь еще есть в теле, но иссякает уже.

А бой, который ушел было за деревню, – турнули немцев, – назад возвращается. Пробежали мимо Семана несколько красноармейцев. Кричат: «Отход! Отход!» А Семан этого слова не знал. Когда под Омском их обучали, то командовали всегда: «Вперед! Вперед!.. В цепь разомкнись! Обратно во взводную колонну соберись». Но всегда – вперед! Вперед! Тут тоже вроде бы такое же слово кричат, а сами стреляют, стреляют и пятятся. И вдруг Семан увидел страшилище. Железное, грохочущее. Крест на башне. Танк! Тут уж он сообразил: «Неладное дело».

Рядом наших уже никого нет. У него самого полон рукав крови. И Паял неподалеку лежит, как снулый осетр. А еще, тоже почти рядом, дерево опрокинутое, корни вывороченные торчат. Места хоть и русские, а снегу много. Как в нашей тайге, что соседствует с тундрой. И Семан тогда нырнул в снег. Но прежде туда винтовки, и свою, и Паяла, спрятал. И самого Паяла к дереву приволок. И вот тут, возле вывороченных корней... У тундровых ненцев это называется «куропачий чум». Ханты редко пользуются таким пристанищем. А все же знакомы с ним. Лежбище в снегу... В одну минуту вместе с Паялом оказались под снегом. И слышно было, как рядом, шагах в десяти, лопотали по-своему немцы. Как танк, казалось, шел прямо на них, лежавших под тонкой снежной шубой. Земля тряслась. Пахло незнакомым запахом (потом-то, познакомившись с машинами, моторами, узнал эту бензиновую гарь). А тогда душу выворачивает! Чихать, кашлять охота!

Когда стихло все – прошли немцы, наши отступили, – перетянул себе раненую руку брючным ремнем, наломал еловых веток, утеплил лежбище, похожим на берлогу мойпара сделал, и последнее, что помнит, – Паял зашевелился. Отошел Паял, отряхнулся от глухоты да немоты – контузией это называлось, – а Семан (кровушки-то сколько потерял!) провалился в беспамятство.

Наверное, погибли бы оба, все равно в снегу долго не продержишься, – но наутро опять загрохотало. Опять запахло чадно, земля затряслась – думали, немецкий танк возвращается. А тут вдруг русские слова... Такие знакомые, близкие... К Богу обращаются. Гитлера посылают далеко, далеко – сколько поворотов реки, не определишь – непонятное расстояние!..

Вовремя к санитарам попали. Еще бы немного, и не видать родной Оби!

– Здравствуйте, Паял-аки. А я вас хорошо знаю. Отец о вас много рассказывал.

– Здравствуй, дружок. Здравствуй... Ну, точь-в-точь вылитый Семан. Таким же молодцом был под Москвой твой отец. Даже еще помоложе.

Они усадили Микипура за стол. Паял-аки поставил было стакан перед парнем. Но Семан почти таким же решительным дви-

жением, как это всегда делал сам Микипур, накрыл стакан рукой и покачал головой.

– Нет, нет, сынок у меня правильного поведения. Он у меня молодец.

«Два праздника», – вспомнились Микипуру слова племянника, игравшего на берегу в дедовой «казанке». И он уж готов был спросить, а какой же такой, помимо встречи фронтовых друзей, еще тут праздник справляется, да Семан опередил его.

– Сколько много радостей за один день! – заговорил он, наливая душистый настой чаги в стакан Микипура. – Сколько радостей! Давно к Паялу съездить хотел, да все некогда, некогда. Ты вот подтолкнул. Встреча!.. А другой праздник... О, это, сынок, особый праздник! Это, если мозгами пошевелить, это Опаль Аси, дух предков – неба и земли, помог его нам устроить.

– Помог? Как помог?

– О, сынок! Помощь хороша, когда она вовремя! Наслал нужных людей Опаль Аси и снял с моих плеч непосильную тяжесть. Можно даже сказать, страшный и опасный груз. Ох и хорошо мне теперь стало! Дышится-то, дышится как легко! Словно весенним утречком, когда солнышко только встает!

Что-то заподозрилось Микипуру неладное.

– Так из-за чего же праздник, отец? – спросил он и, оглядевшись, увидел вдруг в углу на отдельном низком столике два крупных треугольных лоскута от медвежьих шкур, лежавшие рядом. Две головы медвежьи, отделенные от шкур.

– Откуда это?

– Догадайся, сынок, – особенно широко заулыбался Семан.

– А-а, понял! – Микипур и обрадовался, и огорчился. Он вспомнил, что мать позавчера вечером, убеждая Семана помочь сыну, говорила, что, мол, шкуры можно отдать, лишь бы остались дома медвежьи головы. Значит, отец все-таки окончательно решился – отдает. Но... Но шкура без головы! Это же может не понравиться Заинди Жадиевичу! И Микипур не сдержал огорчения, проворчал недовольно:

– Отец, зачем ты так сделал?

– Очень правильно сделал, сынок. Теперь мне так легко! Так хорошо!

– Что здесь хорошего?

– Слушай, сынок. Садись поближе ко мне. – Семан положил руку на плечо Микипура. – Все как в сказке получилось. Приезжаем, значит, после обеда с Паялом сюда. Я ведь к нему на Пильех Лор скатал. Узнал, что сегодня их бригада оттуда снимается. Что должен он к себе, в юрты Нанганг Горт, возвращаться. Вот я на вечерок его и заполучил. Уговорил в кои-то годы наведаться к старому другу в гости... Приехали, значит, а тут у берега – теплоход. Тот самый, который военным генералом называют. Туристов еще развозит.

– «Генерал Карбышев»?

– Вот-вот. Кой! Я все не могу запомнить название, старая безмозглая голова! Наверное, мои мозги, как волосы, поседели. Так вот. Пристали, понимаешь ли, мы с Паялом к берегу, а тут туристов! Весь берег ими заполнен, как гимка рыбой. Ступить некуда! Меня и облепили. Девушка, на ветеринаршу Кляйн похожая, только в розовых штанах, в сапожках диковинных, ко мне подошла. «У вас, добрый дедушка, есть шкуры. Вы их должны уступить!» Ах ты, думаю, сорока-сплетница! Ах ты, рожа крикливая! На весь свет раззвонил! Да зачем я только этого Унтари болтливого тогда пригласил помочь мне переезжать в новую избушку!

«Вы должны мне уступить!..» Это девушка-то! Которая в розовых штанах, какие раньше в сказках только дочки татарских ханов носили. «Должны уступить... Вы очень добрый дедушка».

«Унтари-то при чем! – хотел вскричать Микипур. – Это просто-напросто была нахальная туристка. Увидела безграмотного ханта и – пристала!».

– Я и подумал, – продолжал старый Семан весело. – Пусть будет так. Это, значит, сам Опаль Аси подсказал болтливому Унтари!

– И ты продал? – вскричал Микипур, готовый схватиться за голову. – Ты продал шкуры туристке... в розовых штанах?

– Зачем же продавать, сынок! – обиделся Семан. – Разве мойпара продают! Как же можно!

– Не продал? – В душе Микипура опять вспыхнула радость. – Все-таки не продал? Ведь мой же начальник!.. Заинди Жадиевич...

– Не продавал... Я их просто отдал. Пришли они, ну, девушка эта, а с ней высо-окий такой и в штанах, на твои похожих, парень. Завернули. И унесли...

Микипур выскочил из-за стола. Выбежал на улицу. Хотел броситься в сарай. Может, это все-таки неправда? Может, старый безграмотный ханты не обманут нахальной туристкой?

Но... Но понял, что это все же случилось. Что так оно и было. И теперь уже!.. Что теперь?.. Он сел на колоду – большое широкое бревно, из которого старый Семан, видимо, хотел выдолбить основу, днище, лодки-добленки. Сел. Мысли бурлили.

Телеграмму!.. Немедленно телеграмму!.. «Лабытнанги! Заинди Жадиевичу Муртаеву. Начальнику управления! Ваши шкуры!.. Ваша личная шкура и шкура начальника главка – на теплоходе «Генерал Карбышев». Туристкой в розовых штанах обманут ханты... Отнимите!»

Как отнять?.. Нет, отнять не подходит. Изымите... Да, да, изымите! Так бы Заинди Жадиевич выразился. Изымите!.. А как изъять? Они же их спрятали. Это что же, обыск на теплоходе устраивать? Милицию приводить?.. Глупо. Все глупо... Ваши шкуры!.. Теперь вот с меня Заинди Жадиевич шкуру снимет. Он, конечно, уже пообещал преподнести сувенир. Может, тогда, когда я вел с ним разговор по телефону, перед ним уже и сидел начальник главка. Может, начальник главка и подсказал: «Пусть привезут выделанную». Глупо... Как все глупо! Микипуру стало стыдно, что так он думает об отце. Он повернулся к окну, которое было раскрыто и за которым сидел Семан. Отец смотрел в его сторону. Встретив взгляд сына, он поднял руку, поманил его.

– Ты зайди-ка, зайди, сынок! Нехорошо так прерывать беседу. И гость уважаемый за столом. О Опаль Аси! – поднял глаза вверх, к потолку, старый Семан, когда Микипур вернул ся за стол, сел, опустив голову. – Спасибо. Вовремя подослал нужных людей. Вовремя. Спасибо!

– Хороший подарок ты им преподнес, – сказал Микипур. – Им, значит, можно, а мне нельзя?

– Так ты же с головой себе просил. И притом, сынок, по обычаю нельзя отдавать тебе, как ханту, эти шубы мойпара даже

с отрезанной головой.

– Почему же нельзя? Мать говорила – можно.

– Мать, мать. Что она о мойпаре знает. Это мужское дело. Она седьмым ухом, может, где-то что-то и слышала...

– Ну уж, – прибежала с кухни мать, – ты все знаешь!

– Не тыкайся словами, старуха, как слепой рыбацкой иглой по сети. Не бабье дело в серьезные мужские разговоры встревать! Так вот, сынок, слушай. Пойми ты, почему я так сделал... Нельзя, по нашим обычаям, шубу братца раньше времени из дома прогонять. Если самка – четыре года, самец – пять лет, как их привели, пусть спят бестревожно, пусть спокойно живут. А шубы этих мойпаров, которых Логин передал мне, только, понимаешь, два года у нас хранились. Как же можно...

– А почему ты их тогда отдал туристам?

– Так то – не ты. Туристы они. Не нашей веры!

– Сейчас все одной веры, отец.

– Для тебя, сынок, да. Для меня – нет. – Семан, видимо начинавший опять всерьез нервничать, набил торопливо трубку, поджег табак, глубоко затянулся, продолжал: – И к тому же, сынок, я лучше сделал и тебе, и себе тоже.

– Лучше? – воскликнул Микипур. – Ни с чем меня оставил, и это называется – лучше?

– Как ни с чем, сынок? И для тебя есть...

Микипур ничего не понимал. Видел, что отец сердится. Пальцы, в которых трубка, мелко дрожат. В глазах – недовольство: не нравится ему поведение сына. Совсем не нравится. Но и Микипуру как быть довольным?

– И для тебя есть, – заговорил низким и хрипловатым басом приезжий Паял. – Не волнуйся. Я пообещал твоему отцу. Завтра поедем ко мне. В Нанганг Горт. В мой зимний дом. Там они у меня. Я же всю жизнь охотничал. Много ли, мало ли, но пять мойпаров привел домой. И еще хочу сказать: ты их у меня с головами получишь.

Микипур уставился на Паяла: вот, значит, как! А он-то плохо подумал об отце. Забыл его любимую присказку: слово уважающего себя человека в снегу не затеряется.

– Но, – сказал он, все еще пребывая в растерянности, – поче-

му здесь, у отца, я не мог взять, а у вас можно брать медвежьи шкуры, да еще с головой?

– А это все очень просто, Микипур, – пробасил Паял. – Времени много прошло. Кажется, восемь лет минуло, как я привел домой последнего мойпара. Теперь эти шубы братцев где угодно могут селиться.

– Надо же! А я этого не знал!

– Теперь знать будешь, – ворчливо проговорил Семан. И добавил голосом, не подобревшим ничуть:

– Мы, сынок, и другое тут еще обдумали.

– Что? – опять насторожился Микипур.

– Кляйн не понадобится. Его еще нам не хватало!

– А кто же обработает?.. Ведь Заинди Жадиевич просил...

– Вот он, – кивком головы показал Семан. – Рядом с тобой сидит.

– Паял-аки? А ему разве можно?

Семан притронулся к затылку, не столько почесал его, сколько волосы как бы пригладил, проворчал:

– Уж если мучить мойпара, то самим. Все-таки ему не так больно будет.

– Мы, Микипур, – с трудом подавляя волнение, заговорил Паял, – сделаем поначалу одну важность. На место жертвоприношений съездим. Поминки небольшие устроим. Умилостивим дух м ойпаров. Попросим, чтоб они нам разрешили. Тогда и можно будет. Редко ханты идут на такое. Но что поделаешь! Мой друг-спаситель Семан попросил. Разве я ему могу отказать?

– Ой, Паял-аки! Большое вам спасибо! – вскочил со стула обрадованный Микипур. – Не знаю, чем и отблагодарить вас. Но я вам заплачу. Обязательно заплачу! Сколько нужно, столько и дам.

– Да ты что! – опешил Паял. Он уставился на Микипура острым, недружелюбным взглядом; редкие длинные пучки бровей, словно острые стрелы, натянутые на тугой тетиве лука, нацелились в лицо парня. – Какие деньги! О, утан ултат, в лесу обитающий, – запричитал он, поворачиваясь к низкому столику, где лежали медвежьи головы, – я не слышал этих худых

слов. Это не о вас сказали. Не подумайте о нас плохого!

Попричитав, побормотав вполголоса еще что-то около низкого столика, Паял, повернувшись к Микипуру, сказал уже громче:

– Ничего не надо больше, дружок. Отец и так мне нарту выездную подарил. Вон она возле сарая стоит, красуется. Как сделана! Какая мастерская рука! Поет! Того и гляди, лебедем полетит!

– Но все же, Паял-аки... – Микипур, вконец обескураженный, бормотал еле внятно. – Кляйн говорил, такая работа! Такая тяжелая работа!

– Никакая не работа! Не может это быть работой!... Купишь какой-нибудь подарочек, чтобы оставить на месте жертвоприношений, – и ладно. Понял?

– Понял, Паял-аки...

– А теперь спать, – проговорил отец. – Утром надо рано вставать. Поездка хотя и не дальняя, а все же...

– Верно говоришь, – поддержал Паял. – Только солнце разомкнет веки – нам надо быть на ногах. У меня уже душа о доме побаливает. Старуха там целую неделю одна. А к нам гость надоедливый то и дело наведывается. Как бы там у них со старухой ссоры не получилось.

На расспросы, что за гость такой, Паял отмахнулся шутливо, а Микипуру пообещал:

– Несколько дней побудешь у меня – узнаешь...

V

Утром, по открытии магазина, Микипур накупил полный рюкзак продуктов: масла, сахару, сушек, печенья, конфет. Для Паяла, втайне от него, приобрел по совету отца восьмикратный бинокль.

Взяв на всякий случай про запас четыре бачка бензина, Микипур с Паялом на лодке «Обь» отправились в дорогу, к юртам Нанганг Горт, где парень еще ни разу в своей жизни не бывал.

С севера поддувал попутный свежий ветерок. Юркая дюралевая «Обь» под мотором «Вихрь-25» легко скользила по волнам, почти не зарываясь, и, словно могучий лось, вздыма-

ющий при беге снежные каскады, разбрасывала в стороны пригоршни серебристых брызг.

На душе у Микипура было легко, ему хотелось петь, и он запел бы, будь в лодке один.

Паял был неразговорчив. Он сидел рядом с парнем на втором сиденье и почти беспрерывно курил, делая глубокие затяжки. Разговор в основном сводился к тому, что Микипур вызнавал у старика названия появлявшихся вдруг островов, длинношеих, похожих на огромных чудовищ, спустившихся к водопою, мысов, расспрашивал о протоках, которые, теперь обмелев, бороздами, словно от полозьев нагруженных нарт на снегу, прорезали широкую пойму Оби. И конечно, больше всего интересовался охотоугодьями.

За мысом Пенсяр, заросшим тальником, свернули на Куничью протоку, которая была в длину, по словам Паяла, не менее трехсот верст. На ее песчаные, местами усеянные мелкой галькой берега любили слетаться глухари. То тут, то там, почти перегораживая протоку, лежали рухнувшие кедры, сосны, – берега подмывало весеннее половодье. В иных местах вода бурлила, ярилась высокими плескунцами над каменистым ложем перекатов; топляки, полузабросанные песком, торчали над водой бивнями мамонтов.

– Да-а, – заговорил Микипур. – Здесь недолго и в бревно угодить. Прощай тогда мотор. На веслах против течения далеко не уедешь.

Можно, можно угодить, – согласился Паял. – Езжай потише. Зачем шпаришь? Кто гонит?

Микипур сбросил газ ниже среднего.

– Это другое дело, – сказал старик. – Теперь и речкой и тайгой можно любоваться. И разговоры разыгрывать, языки точить.

– Верно, верно, Паял-аки.

И Микипур поневоле залюбовался широкоплечими, мягкоиглыми кедрами, еще сплошь усеянными смолистыми упругими шишками, стройными, устремленными в небесную синь соснами, белоствольными, с пышными кронами березками, местами, подобно грудастым девушкам, выбегавшими к песчаным пляжам позагорать.

Да, красива протока; ее еще и речкой зовут, Куничья! Оправдывает она свое название. В старину, сказывали охотники, здесь много куницы отлавливали. Таежные распадки кишели этим зверьком. Отсюда и название речки – Куничья. И сейчас здесь этот зверек водится. Правда, значительно его поубавилось. Добывают его строго по лимиту. Хорош зверек, высоко ценится его мех. Мягкий, ворсистый, мало чем уступающий соболю. Куница питается белкой. А та – кедровым орехом. Вот отсюда, пожалуй, и все качества благородного меха – шелковистая нежность, сочность окраски, вечная свежесть...

Любуясь красотой Куничьей речки, Микипур вдруг вспомнил вчерашние слова Паяла о каком-то госте, часто навещающем его дом. И тут же решил о нем расспросить.

– Кто наведывается, спрашиваешь? – отвечал Паял. – Хм. Приедешь – увидишь сам. Четвероногий гость!

– Как четвероногий?

– Так. Братец. С самой весны гостит у меня. Временами и беспокоит маленько.

– Как беспокоит?

– Да так. Рыбу в фитилях проверяет. Я из-за него и перестал нынче выставлять фитили. Ладно бы проверял. А то ведь портит мне снасть.

– Как проверяет?

– Так и проверяет. Он что, не сможет разве? Фитиль у берега стоит. Он подойдет, выдернет его на берег. Мережу полоснет своими когтищами, и вся рыба его.

– Кой! И легко справляется?

– А что ему! Силы хватает! Не зря же его сот хоятпи ляль зовут – зверь, имеющий силу ста лучников.

– А еще чем беспокоит?

– Да так. По мелочам. Однажды, весной еще, пока со старухой в поселок за продуктами ездили, в сарай заходил. Похозяйничал там маленько.

– А что собаки? Дома разве не оставались они?

– Оставались. Да что толку? Его разве собака остановит! – Паял усмехнулся, разворошил волосы, упавшие на лоб. – Коль замыслил он сарай проверить, собака для него что шерстинка. Кой! Сила есть у него. Одну мою собаку, злую, волчьей породы,

возле дома разорвал. Только кровь на траве осталась. А вторая, охотничья лайка, в тайге спряталась. Еле потом докликался.

– Кой!.. И сейчас медведь появляется?

– Не забывает. Придет иногда к самому дому. На бросок аркана. И гуляет, посматривает на нас со старухой. А собака сразу же в дом забегает, хвост поджимает. Скулит только. Напугалась с того разу-то.

– Кой! Так почему же не убьете его? Он же мешает. Недолго и до беды! Убить его надо скорей.

– Была такая задумка. Я и лицензию достал. Только разглядел я его хорошенько поблизости и – охладел. Рука не поднимается.

– Почему, Паял-аки?

– Белогрудый он...

– Ну и что с того?

– Очень много с того, Микипур. По обычаям, белогрудого можно только седьмым домой приводить. Ну, убить, значит. Только седьмым. А он ко мне шестым явился. Нельзя мне его трогать. Ох как нельзя, – и старик сильно помотал головой, постучал о борт лодки трубкой, выбивая из нее пепел, продолжал:

– Вот так мы с ним потихоньку и живем. Маленько, правда, мешает мне. Сейчас ягодная пора наступила. Около дома голубики малость набрали. Морошку на ближнем болоте. Поесть разве только. А далеко в тайгу побаиваемся идти.

– А он что – тронуть может? Медведи же летом на людей не нападают. Об этом везде говорят и пишут.

– Э, Микипур. Это же – медведица. С двумя малышами. Она из-за детенышей ох какой злой иногда становится! Разум теряет. Всякое может сделать. Такой мойпар страшнее шату на. – Старик вновь набил трубку табаком, прикурил, сладко затянулся. – Я ее, Микипур, всяко пробовал. Попугал малость ружьем. В воздух стрелял. Уходила на несколько дней – и опять заявлялась.

– Интересно. Отчего бы так?

– И я голову ломаю. И, кажется, догадался.

– Отчего?

– Весной выше Нанганг Горта пожар сильный был. Охот-

нички приезжие за огнем не уследили. Двое с верховий на лодке спускались. Они вроде из партии, которая трубу строит. Ну, по которой газ пойдет. Говорили, что начальник ихний послал. За водку и деньги пушнину у местных скупали. Они только и могли пожар наделать. Беда одна! Много леса выгорело. Едва потушили. На вертолетах прилетали люди, чтобы огонь прекратить. После этого пожара медведица с медвежатами и объявилась. Видать, пожар-то и напугал ее. Жмется к дому. Знает, что здесь безопаснее.

– Наверное, так, – согласился Микипур. – И что же будете делать, Паял-аки? Может, другого охотника позвали бы. Вам нельзя, а ему-то, поди, можно?

– Э-э, сыночек. Не перевелся еще у меня ум. Где-то корешок еще сохранился. Я специально никому не говорю. А то, как халеи, налетят. Вмиг расправятся. Медвежат куда денешь? Ты подумал об этом? Маленькие еще детеныши. Несмышленые. Пропадут одни.

– Ясно теперь, Паял-аки.

Но все-таки Микипур решил тут все уяснить до конца.

– А если приручится медведица, Паял-аки? И не уйдет от вашего дома? – продолжал он допрос.

Старик, словно никогда об этом не думавший, испугался слегка, поглядел на Микипура недружелюбно, затем углубил-ся в свои размышления. Наверное, все обдумав и убедившись в правильности своих мыслей и действий, ответил:

– Не приручится. Страх постепенно пройдет у нен. А тут скоро листопад – значит, гон начнется. Тайга, как мать, позовет в родной дом. Это уж точно! – И тут же, подняв руку, воскликнул:

– Сынок, сынок, потише! Глуши мотор! Беду натворишь! Здесь кладбище плотов!

Привстав, Микипур увидел впереди торчавшие из-под воды комли толстых лиственниц, похожие на головы речных чудовищ Весов, и немедленно нажал «стоп».

– Поднимай мотор, – сказал Паял. – А то его здесь сразу прикончим. Метров с полета на гребях придется идти.

Оглядевшись внимательно, Микипур понял, что совет старика абсолютно верен. Здесь можно было не только угробить

мотор, но и пробить насквозь дюралевую лодку. И Микипур, отжав защелку, поднял мотор, а затем уселся за греби.

После недавних ливневых дождей течение в речке усилилось. Вода бурлила между торчавшими бревнами. Продвигаться на узколопастных гребях было нелегко.

– И кто же плоты оставил здесь, Паял-аки?

– Кто-кто, – проворчал старик. – Заготовители «подарочки» оставили. Прошлой зимой лес рубили, плоты сколотили, а вывезти вовремя не успели. Вода ушла, скатилась, значит. Половина плотов, наверное, и осталась. Лес-то лиственничный, тяжелый. Вот и осели бревна, как камни. Повыше, особенно по Лухас Югану, весь берег усеян. Гниет лес. Напрасно пропадает. И рыбе мешает. Сразу уловы у нас наполовину снизилась. И это только за два года. Наверно, ваши работнички?

– Наши?

– Откуда-то оттуда, где теперь и ты, как мне Семан рассказывал... А того бригадира, который напакостил здесь, я хорошо запомнил. Усатый такой. И – веселый. Говорит, говорит. Песни петь любит. А сам – вокруг кедра обведет, скажет: лес! И фамилия у него такая.

– Обманщиков, что ли?

– Нет, немножко другая. Но тоже... Да с усами он. В усах волос больше, чем на голове.

– Ну, усатых у нас много. И песни поют. Посмеяться любят. Может быть, и не наш?.. Тут же много управлений лес заготовляют. И геологам лес нужен. И дорожникам. А уж про строителей что говорить!

– Так и брали бы как следует.

– У нас в управлении на этот счет строго. Если где неполадки – инспекция бумаг не подписывает. А тогда, значит, ни зарплаты, ни премиальных. Я несколько раз своего начальника возил по таким делам. И в рыбоохрану. И в гидрохимлабораторию. Если где непорядок, он сильно переживает.

– Это хорошо, если у вас такие строгие люди, – удовлетворился Паял и опять запыхал своей трубкой. – Заводи мотор, по-моему, опасное место прошли. Теперь уже недалеко осталось. Трубку, пожалуй, выкурю, и дома будем.

Когда ровно загудел мотор, и лодка поднялась на редан, Паял, очевидно, взволнованный судьбой речки, продолжал:

- Вот наш рыбоинспектор, Аржей Илья. «Радикулитом» его люди зовут. Всю жизнь ничего не делал. За рекой, за протоками, озерами разве может он по-настоящему присмотреть? Всегда говорит жалобно, словно плачет: «Спина, поясница болят. Далеко ходить не могу». А как для себя, все может. И ягоды в лесу неделями, нагнувшись к земле, собирает. Спина не болит. Ему этот бригадиришка-то, фамилию которого вспомнить не могу, усатый-то, бензопилу «Дружбу» в подарок отвалил. Разве мало этого? Разве после такого подарка Радикулит будет свой нос в дела усатого совать?

– Да-а, – протянул Микипур.

– Что «да-а»?! – рассердился Паял. – Разве это дело? Шум надо поднимать. Как-никак места вокруг Куничьей речки сделали запретными.

– Про это я слышал, Паял-аки. Заказником объявили. Еще три года назад.

– Вот-вот. А что толку? Заказником сделали, а районному начальству про это сказать позабыли.

– Как так?

А вот так. Для них, видать, свои законы. – Старик глубоко вздохнул. – Они по-прежнему здесь на боровую дичь охотятся. Приезжают... Да как приезжают! Целой бригадой. Охотоведа прихватят. Чтобы их охранял. Словно они олени, на которых волки могут напасть. Тьфу! А мы, народ, будто слепые, будто ничего не видим, ничего не знаем. А как им спрятаться? Река-то узкая, всего и ширина – три броска аркана. Проедут – все равно увидим. Уши и глаза у нас тоже есть. Я все хочу в Салехард съездить. К самому главному начальнику округа. И все рассказать, как есть.

– Правильно, Паял-аки. Давно надо.

– И я так думаю. Вот только собраться не могу.

– Надо собраться, Паял-аки. Надо. Обязательно съездите.

В это время Микипур увидел выбежавшую из-за песчаного мыса собаку и тут же, когда обогнули мысок, разглядел стоящую у берега бударку и высоконосую колданку. Далее на берегу, посредине небольшой поляны, видимо образовавшейся

оттого, что когда-то давным-давно тут вырубили вековые деревья, стояли постройки. Выделялись четыре небольших домика и возле них – с десяток хозяйственных амбаров и сарайчиков. Рядом с домами стояли высокие лиственницы, старые широколапистые кедры, на нижние обломавшиеся ветви которых были навешаны лосиные и оленьи рога.

Микипур понял, что это и есть юрты Нанганг Горт – небольшое селение, какое у русских зовется хутором. Когда-то здесь жило несколько семей – теперь остались только Паял и его старушка Этуш. И кажется, еще одна семья.

Не успели приткнуться к берегу, не подняли еще мотор на корме, как Этуш, одетая в легкую поношенную ягушку, уже подтягивала их лодку и, не дожидаясь, как то положено женщинам Севера, когда первым заговорит муж, явно чем-то взволнованная, начала сердито тараторить:

– Си! Си! – Все! Больше в доме одна не останусь! Ни на один день. Хватит. Волосы давно поседели. Хочешь, чтобы от страха все теперь выпали? И так много ли осталось? – Она старческой костлявой рукой, откинув назад не по возрасту яркий, красивый платок, резко провела по макушке головы. – Хватит!

Микипур, редко наблюдавший такую агрессивность к мужу со стороны жены, да еще в присутствии постороннего, оторопело смотрел то на Этуш, то на Паяла. А тот спокойно прикуривал трубку, сунув ее и зажженную спичку в кисет – чтобы огонек не гасило ветром. Голова его низко склонилась, и была видна только круглая стриженая макушка, напоминавшая поросший ягелем бугорок.

Наверное, Паял догадывался, о чем говорит жена, поэтому понимающе и с тревогой в голосе спросил:

– Значит, опять была?

– Опять, опять! Далеко и не отходила. Только заслышав шум вашего мотора, удалилась с медвежатами в кедровник.

– Кой! – протянул Паял. – Стало быть, все около дома кружила.

– Все около дома. По-настоящему и по своим надобностям выйти на двор не давала. Поняла, наверное, что нет хозяина, который имеет гремящую и огонь извергающую палку. Вот и

расхрабрилась совсем.

– Может быть, так, – согласился Паял. – Она разве ума не имеет? – И, оглядевшись по сторонам, задержавшись взглядом надолго в кедровнике, словно выискивая там медведицу с медвежатами, взял наконец из лодки свой мешок, довольно тяжелый, сшитый из налимьей кожи, подал жене.

– Возьми, старуха. Здесь кусок малосольного осетра и нельмы с полпуда. На Оби, возле Пильех Лора, выловил. Половину осетра и нельмы оставил лучшему другу в Нехас Воже, – старик многозначительно улыбнулся. – И знаешь кому? О, не догадаешься сразу! Старому Семану. Ну, который меня на фронте спас. Я тебе много рассказывал про него. А это вот его сын, Микипур. Дело у него важное ко мне есть. Мужское.

Паял закинул на плечи суконный гусь, усеянный высохшими рыбьими чешуйками, подправил ремень на старой, линялой гимнастерке, сказал:

– Ну, что ж, старуха. О мойпаре потом поговорим. Гостя надо сначала в дом позвать. Там все и решим.

Дом, где жили старик со старухой, был срублен из отборной лиственницы. Рядом с домом стоял амбарчик, сложенный тоже из толстых бревен, закрытый на большой замок. Видимо, там хранилось что-то важное. Возле амбарчика высился на четырех ножках лопас. Двери его были завязаны веревкой – замок, по всей вероятности, кто-то вырвал. И чуть в стороне, почти у самого обрыва коренного берега протоки, рядом с ветвистым кедром, стоял слегка осевший дощатый амбар. От него веяло солеными рыбными запахами – там, очевидно, в дни путины шел засол.

Внутри дом был обставлен по-старинному. В простенке меж окнами стоял деревянный стол. Вдоль задней стены на шимаш юхе[1] были настелены тахары – циновки, где аккуратно лежали ягушки, несколько штук. В светлом углу – старый, обитый железом сундучок, в каких ханты хранили ценные шкурки пушных зверей, идолов и другие ритуальные вещи. В углу, по диагонали от священного сундучка, сбоку от дверей, стояла ладно изготовленная из листового железа печка, а над ней от стены до стены висел шест, на котором сушили, вернувшись с рыбалки или охоты, одежду.

Этуш сварила уху из жирного щекура; куски рыбы аппетитно дымились на хуване – длинной деревянной плошке. Старуха и в отсутствие мужа не сидела без свежей рыбы: устроила рыбалку на плесе, перед домом, где на ночь останавливается спускающийся из верховьев речки щекур.

Паял, глубоко вдохнув горячий пар, поднимающийся над котлом, и поводя носом, огорченно сказал:

– Что-то уха не такая, старуха.

– Какая не такая? Из той же рыбы, что веками обитает в священной воде Куничьей речки.

– Я сказал – не такая. Попробуй – убедишься.

И старик оказался прав. Сваренная рыба круто отдавала соляркой или бензином.

– Какой неразумный народ! – покачал головою Паял. – Лес губят, речку захламили, теперь за воду взялись. Газовую трубу прокладывают в верховьях речки. Машин нагнали. Тяжелую трубу без машин не перевернешь. Не справишься без машин с такой трубой. Но неужели всю грязь от них в речку пускать надо?

Старик отложил в сторону жирную голову щекура, которую готов был с таким аппетитом отведать, отодвинулся от низкого столика, вытер жирные пальцы утлапом и сказал старухе:

– От привезенной нельмы кусок отрежь. Не будем же один чай тянуть.

Этуш, несмотря на свои годы, все еще была проворна в кухонном деле. Она ловко отрезала три жирных, так и просящихся на язык куска нельмы, тут же поставила их на стол. Поднеся к носу, попробовав на язык один из кусков, старик определил, что рыба в самый раз, в меру посолена, и, кажется, этим поднял упавшее настроение. Аппетитно откусывая и жуя нежную нельму, он заговорил:

– Вот так, Микипур, мы со старухой и живем. Как видишь, царапаемся помаленьку. Да только, как понимаешь, все тяжелее становится. Ход щекура начался, но куда его ловить такого, пропахшего? Вот и хочется спросить, неужели у людей так много бензина, что они его в воду сливают? Кой!.. Останемся нынче без рыбы, пожалуй, со старухой... Конечно, – продолжал он, словно и не заметив, что Микипур согласно кивает, занимаясь едой, – есть у меня хорошее местечко! Заветное. Там ключ бьет

Живун. Неплохо бы там фитилек воткнуть, да мойпар на нашу голову загостился поблизости. Поставишь фитиль – он его раньше меня проверит. Со всех сторон беда на нашу голову!

Сетуя да жалуясь, над чем-то посмеиваясь, много интересного поведал старик за столом о жизни глухих юрт Нанганг Горт, где осталось теперь всего лишь две семьи. Семья Тобы Еки летом рыбачила на песке Таловый, сюда возвращалась лишь перед ледоставом, к открытию охоты.

VI

Даже и без ухи из щекура Микипур наелся до отвала. Перед чаем Этуш подала питательную рыбью жарку. А потом – спинной олений жир, куски которого опускали в чашки с горячим, только лишь с огня, чаем, еще засахаренную морошку и, конечно же, вяленную на солнце юколу из сырка и, наконец, в большом берестяном туесе поспевшую, нежно-сладкую княженику.

После обеда, недолго отдохнув на тахаре, Паял предложил заняться делом. Важным, как опять выразился, делом.

Открыв крышку священного сундучка, куда имел доступ только он, Паял достал ключ и не торопясь вышел на улицу. Подойдя к амбару, отомкнул висевший на дверях большой замок, осторожно растворил скрипучую дверь. Подозвал Микипура.

В амбаре на изящной, специально для этой цели смастеренной нарте лежало пять медвежьих шкур. Старик осторожно сложил все шкуры на пол, выбрал из них, лежавших рядом, две самые крупные и опять вернул их все на нарту, самые крупные положил сверху. Затем острым узким ножом, сёхаром, срезал с передних лап двух верхних шкур по одному когтю, длиной каждый, наверное, с указательный палец старика, и завернул их в лоскутки сукна, тоже прихваченные из священного ящика.

– Вот, – сказал Паял. – Стало быть, две верхние шубы твои будут.

– Ой, спасибо, Паял-аки! А может быть, уж три? – сказал Микипур. – Двух все равно не хватит!

Старик посуровел. Опустил голову, будто принялся высматривать что-то на полу. Высмотрел не высмотрел, но вдруг

решительно кивнул головой. Подошел к нарте и у третьей шкуры срезал длинный коготь.

– Пусть так, – сказал он глухо. – Две или три – какое дело!

– Спасибо большое, Паял-аки! Огромное спасибо. Сейчас я! – И Микипур, вспомнивший о бинокле, побежал за подарком.

Старик был вне себя от радости. Лицо его, покрытое веснушками, расплылось в улыбке. Он так и сяк вертел бинокль, как ребенок неизвестную игрушку, прикладывался к окулярам.

– Хорошая вещь. Стоящая. Глаза мои, Микипур, омолодил лет на полста. Молодец! Понадобится. Я хоть и инвалид, а толк в таежном звере пока понимаю. И рука пока не дрожит. Молодец, Микипур!

И когда вернулся домой, он осторожно повесил бинокль на гвоздь, погладил его.

– Какая вещь!.. А шкуры чуть позднее получишь. Вначале съездим в одно место, умилостивим дух мойпаров.

Старик сказал жене, чтобы собрала все необходимое для такого случая, а сам взял с собою курковую двустволку и направился к лодке.

– Поедем с нами, старуха, – сказал он, оглянувшись на Этуш, стоявшую возле дверей дома. – Ты же не хочешь больше одна оставаться?

Скорая на руку Этуш тут же вышла с мешком, наполовину заполненным продуктами и чашками.

Десять минут работы мощного мотора, и они уже на месте жертвоприношений. На высоком мысу, на поляне, окруженной со всех сторон многолетними плечистыми кедрами, стоял Ялань-Ики, древний идол ханты, почти точное, но увеличенное изображение человеческого лица. Вокруг Ялань-Ики на ветках деревьев были развешаны острые палочки, те самые, которыми едят медвежье мясо в дни медвежьего праздника. На шее идола, нанизанные на оленью жилу, висели свыше десятка медвежьих клыков. На толстые сучья кедров были надеты медвежьи черепа. Вокруг валялись кости оленей, лосиные рога. А земля возле идола была сплошь усеяна медными и серебряными монетами разных времен.

Микипур со стариком стояли около идола и рассматривали его, как вдруг раздался огорченный голос Этуш:

– Я-а, кто же большой кедр срубил?

– Какой кедр, старуха?

– Тот, под которым медвежьи пляски устраивали, песни пели. Голову повелителя городов и селений ставили. Срубил кто-то.

Паял торопливо прошел к Этуш. Микипур последовал за ним. Огромный раскидистый кедр, видимо недавно срубленный, лежал на земле; широкие ветви его были жестоко обломаны.

– Кой! Кому он мешал? – размышлял задумчиво старик.

– Неужели это Корчевий? – Он оглянулся на Микипура, желая, чтобы тот хорошо его расслышал. – Друг председателя района.

– Председателя райисполкома, наверное? – подправил Микипур.

– Вот-вот. Он браконьеров везде вынюхивает, ищет. И частенько злость свою на святых местах вымещает. Говорит, мол, выведу я злой дух. Однажды искал у меня лосиную шкуру. Решил, что я без лицензии лося убил. Замок в лопасе сорвал. Нашел там иттарма, а шкуры нет. Он со злости пнул иттарма.*

– Неужели такой? Он же за это под суд угодить может!

– Может. Только уж очень важных браконьеров он в нашем заказнике привечает. Потому, надо быть, и считает себя хозяином здешних мест.

Микипур прошелся вдоль кедра и, не найдя на обломанных его ветвях ни одной шишки, высказал мысль:

– А может, из-за шишек кедр срубили? Хорошая, наверное, на нем шишка была. О, с такого великана целый мешок, а то и поболее можно набрать. – И старик, поняв, очевидно, причину гибели кедра, сердито проворчал: – Какие люди! Какие неразумные люди! Можно же было шишки собрать, но дерево-то целым оставить! Кому оно помешало...

Постояв молча перед лежавшим на земле кедром, Паял и Микипур вернулись к Ялань-Ики.

---

* Иттарма – символический образ умершего. Шьют из лоскутков шкуры и хранят в доме; если мужчина – четыре года, женщина – пять лет. Затем обычно выносят на хранение в лопас.

Этуш расставила возле идола принесенную еду: куски осетрины, нельмы, высушенную грудинку оленя, рыбную жарку, морошку. Здесь же были выложено и прихваченное Микипуром съестное.

Первую чашку старик вылил к основанию идола, сказав:

– Не имей зла на меня, Ялань-Ики. Хорошо шубы храню. Три шубы мойпара покидают твой амбар, но они не исчезают. Вот они. При тебе будут висеть. Тебя охранять. – И старик вынул из бокового кармана нового пиджака, который специально надел по этому поводу, три завернутых в сукно медвежьих когтя, крепко связал их один с другим оленьей жилой и повесил на шею идола.

Молча пригласил жену и Микипура к еде. После трапезы оставшуюся еду Этуш аккуратно сложила в мешок, чтобы взять с собой.

– Вот теперь, Микипур, – сказал, вставая. Паял, – можно шубы мойпара тебе и с головами отдать. Ялань-Ики думает, что они все равно на месте. И мне можно будет над ними потрудиться. Ведь это уже другие шубы. Не мои. – И старик хитровато улыбнулся.

VII

Вечером в избе старика, когда отдыхали после поездки к идолу, вдруг залаяла, а потом заскулила собака.

– Опять, наверное, в гости пришла, – сказала Этуш. – В это время как раз и появляется.

Микипур вслед за стариком вышел на улицу. И на противоположном берегу речки, на расстоянии громкого разговора, увидел медведицу. Она не торопясь, вразвалку, важно вышагивала по песку возле самой воды, а вслед за ней семенили два медвежонка.

Увидев людей, медведица остановилась, но ненадолго, помотала головой и по-прежнему медленно побрела вдоль реки. В одном месте вошла в воду, попила вместе с медвежатами, слегка рыкнула на чрезмерно развеселившихся малышей и, оглядыва-

ясь, направилась к лесу. На груди медведицы Микипур разглядел четко видневшееся белое пятно.

– Хм, – сказал Паял. – Знает, что зла ей не хотим. Но пора пугать. Пусть все-таки побаивается нас.

И, сбегав в избу за ружьем, поднял его над головой, дуплетом выпалил в воздух.

Медведица резко развернулась на звук, встала на задние лапы, постояла в нерешительности и мелкой рысью побежала в кедровник.

– Теперь будет нас немного остерегаться, – сказал Паял и вытащил металлические гильзы из стволов ружья.

В этот же вечер опять сходили в амбар под большим замком. Паял отложил три медвежьи шкуры, обильно смазал их внутренним крутым соком оленьего желудка.

А с утра он принялся за их обработку. Сначала остро наточил два скребка. Подложив один конец шкуры под широкую доску, поставленную вертикально к земле, второй завернул на нее, придавил животом и принялся водить скребком вверх-вниз, вверх-вниз. Затянутая жировыми жилами шкура медленно поддавалась. С великим трудом удавалось удалять крепко сросшуюся с кожей мездру. Минут через десять со лба старика потекли струйки пота.

– Не зря называют «сот хоятпи ляль», – сказал Паял, разгибая спину. – Даже в шубе зверя сила осталась какая! Слабый человек и не подберется к ней. Попробуй!

Микипур, действуя так, как делал старик, приступил к работе и сразу понял, что попотеть придется основательно.

Несколько дней они, сменяя друг друга, скоблили шкуры. И только к исходу четвертого дня Паял устало откинул скребок в сторону и едва слышно проговорил:

– Си! Все! Готово. Можешь забирать...

– Неужели, Паял-аки?! – воскликнул Микипур, натиравший по совету старика медвежьим жиром ладони, покрывшиеся волдырями. – Неужели закончили?!

Микипур за эти четыре дня измотался настолько, что одеревенела спина, потеряли чувствительность мышцы рук, ныло все тело. И каждый раз, когда старик вновь и вновь старательно

намазывал шкуры перебродившим желудочным соком оленя, Микипуру казалось, что не будет конца этой работе...

Услышав усталое: «Си!.. Все!», он и не поверил, что все уже позади, что не будет мельтешить перед глазами нудно скрипевший скребок, звук которого стоял в ушах и от монотонного движения которого голова шла кругом. В эти дни, устав вконец, он то и дело с тоскою подумывал: «Зачем все это! Да пусть бы их вовсе не было, этих шкур. Столько они отняли сил и нервов!» И сейчас он даже не бросился к последней обработанной наконец-то шкуре, как кидался к первой. Он, раскинув в стороны намазанные жиром руки, улегся на оленью шкуру, расстеленную стариком тут же на траве для отдыха.

– Да-а, Паял-аки, – недолго помолчав, проговорил он. – Измотали нас шубы. Трудно достались. Запомнятся они мне.

Паял устало улыбнулся и хрипло, подобно скрипу сухой деревянной уключины при гребле, засмеялся.

– Впредь не будешь других людей заманивать шубами мойпаров. Теперь понял, каковы они. Если опять заведут где-нибудь разговор о таких шубах, думаю, твой язык будет спать и молчать, как мойпар в зимней берлоге. – И Паял опять скрипуче засмеялся.

Подобрав соскобленную мездру, сложив в мешок, Паял занес ее в амбар. Вернувшись, сказал:

– Давай заворачивать!

Скрутив шкуры одну за другой, связав их веревками, чтобы не разворачивались, затолкали в мешки.

– Порядок, стало быть, Микипур. Теперь можно и чаи распивать. Поспать до утра. Завтра в обратную дорогу пустишься. Как видишь, в срок управились. К подходу твоего катера на месте будешь.

После обильного ужина и крепко заваренного индийского чая, которым напоследок угощала Этуш, спать не хотелось. Да и светло еще было. К тому же обычную, такую глубокую тишину окрестной тайги стали разрывать ружейные выстрелы.

– Охота началась, – пояснил Паял, лежавший на оленьей шкуре и укрывавшийся ягушкой. – Первый день охоты на боровую дичь.

– Так здесь же нельзя охотиться, Паял-аки? Ты же сам го-

ворил. Можно только ниже километров на двадцать. Здесь же заказник?!

Эх, сыночек, говорил же тебе: кому заказник, кому нет. Утокто можно бить. Вот они под видом охоты на уток и поднимаются вверх, на глухариные места.

– Это нарушение закона!

– Нарушение... Да видишь ли, наши места дальние, глухие. Кто тут будет за законом следить? Корчевий тут и считает себя самого законом. Где не надо, кого не надо, такой инспектор зубами загрызет. Вот я и за тебя боюсь, Микипур. Будешь ехать обратно, могут остановить. Лодку осмотрят. Найдут шкуры – беда заварится. Большая беда! Таскать будут. Но ты не теряйся. На меня сошлись. Ко мне пусть едут. Я мойпаров законно, давно еще, когда охотились на них без лицензий, домой привел.

В разговор вмешались частые, как будто бы из автомата, ружейные выстрелы. Старик насторожился, скинул ягушку, сел. Слушал внимательно. Выстрелы вскоре опять донеслись с той стороны, и опять очень частые.

– Кой! Неужели Корчевий успел уже вверх проехать?.. То-то я слышал вчерашней ночью: мотор прогудел... Кой, кой! Стреляют. На Галечном мысу. Самое богатое место на Куничьей речке. В это место будто весь глухарь слетается. Раньше, помню, до сотни в кучу сбивалось. Ох и птицы же было! – Старик покачал головой, словно сожалея, что эти времена безвозвратно ушли. – Хорошее место. И сейчас там вечерами, поутру до десятка, а то и двух слетаться могут. Вот Корчевий, стало быть, там и отводит душу.

– А откуда знаете, что это именно он, Паял-аки?

– По выстрелу чую. Его хватка. Я тебя завтра свожу туда, где он сейчас пальбу устроил. Это по Лухас Югану – левому рукаву Куничьей протоки. Недалеко. Всего минут пятнадцать езды. А заодно, если повезет, картину посмотришь.

– Какую?

– Мой мойпар рыбачит.

– Интересно, Паял-аки!.. Он что, из фитилей рыбу вытаскивает?

– Да нет. Место там почти запруженное. Я же тебе говорил: бригадирствовал тут в прошлом году усатый. Фамилия такая –

вокруг сосны обведет, скажет: лес.

– Обманули?

– Вот, вот – похоже. И петь и плясать... Душа-человек. С таким у костра или вот здесь, в избе, приятно посидеть. А работа... Всю речку испакостил. Лухас Юган совсем перегородил. Плотов зимой его люди много собрали. А скрепить как следует не скрепили. Их, как вода пришла, и принялось рвать. Потащило. Да на узком месте, на повороте, на этом самом Галечном мысу, и сбило в кучу. Запрудило весь проход, считай, всю речку. Пока вода стояла, рыба поднялась вверх, где-то нашла обход запруды. А вода спала, рыба не успела скатиться вовремя, ищет дорогу вниз, скопилась повыше запруды, кругами ходит. Вот там, на бревнах, мойпар и охотится.

– Интересно. Обязательно, Паял-аки, съездим.

Солнце еще не взошло, когда Микипура разбудил взволнованный голос Этуш. Старая звала Паяла.

– Кой, старик! Не к добру сегодня разоспался. Медвежонок на берегу, около лодки, бегает. И почему-то один. Второго малыша нет. И матери нет.

– Что ты говоришь, Этуш? Неужели? – встревоженно прозвучал хриплый бас Паяла. – Не может быть! Неужели с мойпаром что-то случилось? Опаль аси – Всевышний бог – что же это такое? Эй, Микипур, поднимайся. Надо съездить! На то место надо съездить.. Сердце что-то неладное чует. Разве может мать детенышей бросить? Тем более мойпар.

Когда подъехали к Галечному мысу, где действительно стояла запруда, образованная нагромождением бревен, солнце только что всходило. Лодка с хрустом уткнулась в серый мелкий галечник низкого берега.

Выбросив якорь, не ожидая Микипура, хлопотавшего возле руль-мотора, старик, вооружившись палочкой, как тростью, пошел вдоль кромки воды. На песке, где не было россыпи гальки, четко виднелись отпечатки широких лап медведицы и двух медвежат. Паял и догнавший его Микипур подошли к полуобсохшему развороченному плоту, с которого, видимо, медведица не раз промышляла рыбу, хватала проплывающих по мелководью язей, сырков, пыжья нов. Влажная кора сосен и лиственниц бы-

ла вся в рыбьей чешуе, между бревен лежали рыбьи хвосты, плавники, остатки голов.

Вдруг старик насторожился, резко пригнулся к бревну, что-то долго высматривал. Пощупав кору лиственницы пальцами, там, куда вглядывался, Паял медленно выпрямился, огляделся по сторонам и сказал:

– Нет, не глухарей здесь вчера стреляли. Новая беда навалилась на нас. Браконьер здесь был. Плохой, бессердечный человек. С беззащитным мойпаром расправился. На месте, где он себе и детишкам рыбу промышлял, подкараулил зверя. То-то я слышал под утро: на моторе вниз по речке проехали. Груженая лодка. Волна большая на берег пришла. Стало быть, и туша мойпара, и шуба, и медвежонок – все в лодке. Тьфу ты, – он выругался. – А второй малыш пропадет. Погибнет в тайге. Совсем еще маленький. Вот подлецы!

– А если отловить второго? Подрастет – выпустить.

– Отловить... Выпустить... – Паял, как будто враз совсем состарившийся, ссутулившийся, сел на бревно, выступавшее из развалленного полуобсохшего плота. Разве так относятся к мойпару? Это же хозяин в тайге Имеющий силу ста лучников. Разве раньше люди его не убивали?.. Убивали. И на медвежьи праздники собирались. Но не избивали люди своего братца. А теперь? Трубу надо через речку перетащить... Важная для людей труба. Я ведь зимой, когда пурга, носа из дома не высунешь, целыми сутками радио слушаю... Люблю слушать. Скоро вот и эту штуку заведу. Когда на батарейках будет. Которую слушают и смотрят...

– Телевизор.

– Ну... Знаю, зачем большая труба людям нужна. Но почему, когда трубу через речку тащат, воду портить!.. Или вот сюда этот Хитрук пришел, бригадир усатый...

– Хитрук? Григорий?

Паял посмотрел на Микипура.

– Гриша, Гриша... Звали его так. Правда. Знал я, что он от туда же, где и ты сейчас. Сразу видно.

Микипур задумался: «Почему – сразу видно?» И Паял, словно убедившийся в своих худших предположениях, замолк, гля-

дел отрешенно на заводь, образованную буреломной плотиной из лиственничных и сосновых стволов.

«Хитрук? Гриша? Сосед?» Микипуру тоже хотелось присесть. Он чувствовал, что за эти дни устал непривычной для себя усталостью и ночью, мучаясь ломким, неглубоким сном, не снимавшим мышечных болей, не отдохнул. Присесть бы! Но почему-то рядом с насупившимся недружелюбно и враз состарившимся своей истинной старостью Паялом он сесть не мог. Стоял перед ним.

Он, Микипур, да, он выручал нынче своего славного, доброго соседа Гришу Хитрука. Не подписывали какие-то бумаги. Кажется, в гидрохимлаборатории или в рыбоохране. И Заинди Жадиевич из-за этого тоже переживал. Лишались премии не только рабочие участка, где Гриша Хитрук что-то, как говорили, недотянул. Неприятности из-за этих неподписанных бумаг касались всех. У Хитруков горела машина. Нужно было как раз выкупать «Москвич» – подошла очередь у Гриши. У Заинди Жадиевича решался вопрос: снимут ли с него выговор. За что-то в позапрошлом году, когда Микипур еще служил в армии, Заинди Жадиевичу дали выговор. Теперь вот решающие дни!.. Даже и для семьи Микипура это было важным. Жены Гриши Хитрука и Микипура – давние подружки. И должны будут поехать нынче в Токмак, посмотреть, стоит ли вступать в строительный кооператив. И вообще – что это за городок такой где-то на юге? А как ехать, если такие неприятности?.. Всех касалась беда Гриши. И Микипур, используя свои связи среди «здешних» (так его сородичей зовет жена), ездил, доставал что-нибудь малосольное, икряное, пушное. Это ли помогло, или как-то доказали, что, несмотря на некоторые недоработки, все-таки бумаги можно подписать, но – подписали. Был настоящий праздник в управлении. Заинди Жадиевич поздравлял принародно героев лесосплава...

– Хотел я, – тихо сказал Паял, – вот как только встанет река, снег выпадет, съездить в Салехард. Рассказать окружкому, как на протоке Куничьей ведут себя нехорошо люди. Губят протоку. Да вот думаю: а надо ли снега ждать?.. За тобой, говоришь, катер придет? – посмотрел он холодным, колючим взглядом на Микипура.

– Надеюсь, что придет, – сказал Микипур. – Заинди Жадиевич обещал прислать «Скиф».

– Вот только бы еще медвежонка поймать. Не прогнала бы его собака, не напугала бы... Пока мойпар рядом похаживал, так она, хвост поджавши, скуля от страха, – в избе. А теперь, на маленького... Да ладно. Что на собаку жаловаться... Люди-то, люди как ведут себя неразумно...

Перевод с ханты В. Чукреева

Вопросы и задания

1. Можно ли утверждать, что в рассказе «Три шкуры» Р. П. Ругин использует говорящие фамилии, определяющие суть героев? Аргументируйте свой ответ.
2. Составьте характеристику Микипура – главного героя рассказа Р. П. Ругина «Три шкуры». Можно ли говорить об эволюции этого героя в рассказе? Аргументируйте свой ответ.
3. Когда Микипур – герой рассказа Р. П. Ругина «Три шкуры» – осознал последствия своих поступков?
4. Можно ли утверждать, что в рассказе Р. П. Ругина «Три шкуры» наблюдается назревающий конфликт «отцов и детей»? Обоснуйте свой ответ.
5. Можно ли утверждать, что Паял с Семаном в рассказе заставили Микипура не только выделывать шкуры медведей, но и дубили его собственную «шкуру»? Аргументируйте свою точку зрения.
6. С какими традициями хантыйского народа знакомимся на страницах рассказа Р. П. Ругина «Три шкуры»?
7. О каких событиях истории рассказывает Р. П. Ругин в рассказе «Три шкуры»?
8. Определите сюжет и композицию рассказа Р. П. Ругина «Три шкуры».
9. Можно ли утверждать, что в рассказе Р. П. Ругина «Три шкуры» наблюдается противопоставление города и деревни? Обоснуйте свою точку зрения.
10. Можно ли утверждать, что рассказ Р. П. Ругина «Три шкуры» написан в традициях деревенской прозы? Аргументируйте свой ответ.

11. Выпишите из рассказа Р. П. Ругина «Три шкуры» меткие обороты, котрые характеризуют героев, придают их речи особый колорит.

СВАТОВСТВО

Возвращаясь домой, Туньла издали увидела оленью упряжку. На улице стояли нарты, упитанные олени тяжело дышали – языки чуть не вываливались наружу.

«Лихо ехал пастух! – подумала Туньла, разглядывая высоконосый лохсянг – выездную нарту, поперек которой был небрежно брошен разукрашенный цветными лоскутками сукна белоснежный гусь, припорошенный снегом, – Да еще, видать, пыль в глаза пустить любит. Кто бы это мог быть?»

Потом она заметила еще одну нарту – женскую. На шеях белобоких оленей поблескивали металлические колокольчики. Эта упряжь была ей знакома: она принадлежала старухе Остяр.

И тут неприятная догадка впервые шевельнулась в голове у Туньлы. Она как березка приросла к земле. Занемевшими внезапно пальцами расслабила на шее узел платка.

«Не пойду в дом, – решила. – Ни за что не пойду».

Туньла вспомнила необычно ласковый, суетливый говорок отца за завтраком. Он все подшучивал, посмеивался, взглядывал на мать, и один раз даже хлопнул Туньлу ладонью по плечу – жест, совершенно ему не свойственный. Зачем-то потребовал, чтобы она понарядней оделась, хотя Туньла следила за собой и здесь ее не в чем было упрекнуть.

– Нормально я одета, – огрызнулась она. – Чего еще надо?

Но отец настоял на своем.

– Ну-ка, мать, доставай платок, который мы в Салехарде купили! Где ты его прячешь?

Мать, усевшаяся на низкую скамеечку и приладившаяся было вырезать узоры для меховых бурок, поспешно вскочила с места и метнулась к шкафу. Из заветных глубин извлекла пеструю кашемировую шаль с кистями и набросила на спину дочери.

– Вот! Это другое дело, – одобрил отец. – Теперь ты настоящая невеста.

Тогда, утром, Туньла не почувствовала особенного смысла в этом слове – невеста. Но теперь ей все было ясно. Она со страхом взглянула на белых полнобоких важенок. Пусть убираются, откуда приехали! Нечего им здесь делать.

Из-за дровяника вышла мать с миской замороженной рыбы в руках. Лицо ее было радостно-озабоченным.

– Где же ты пропадаешь, дочка? Иди, иди скорее в комнату! У нас гости.

– Какие еще гости? – хмуро отозвалась Туньла. – Зачем? – Что с тобой случилось? Гости есть гости. Ступай!

В этот момент скрипнули двери, и на крыльце появился отец. За ним семенила старуха Остяр. А рядом с ней, широко, крепко расставив обутые в узорные кисы ноги, встал молодой незнакомый мужчина в новехонькой неблюевой малице. Было заметно, что все трое уже успели выпить.

Увидев Туньлу, Остяр разулыбалась, а незнакомец метнул на девушку острый оценивающий взгляд. Туньла молча наклонила голову в знак приветствия и отвернулась. Гость тоже промолчал, пожал отцу руку и, ловко прыгнув в нарту, пустил своих хоров рысью. Стоявшие на крыльце долго смотрели ему вслед, пока упряжка не скрылась в снежной дали.

Туньла же тем временем шмыгнула в дом и укрылась в своем любимом углу – за шкафом. Ей надо было побыть одной и подумать.

Конечно, отец прав: она давно уже в возрасте, невеста. Можно сказать, пересиживает в девках. Но, в конце концов, это никого не касается! Кому какое дело? Она взрослый, самостоятельный человек. Работает. На звероферме все с ней считаются, даже медаль «За трудовое отличие» дали! Вправе она сама решать свою судьбу или не вправе? Советской власти уже чуть не полвека, недавно первый корабль в космос отправился, а ей приводят в дом жениха, которого она знать не знает да и не хочет с ним, пижоном этаким, даже знакомиться!

Не ждала она такого от своих родителей! Не могли, что ли, с ней посоветоваться? Забыли, что старые времена давным-давно прошли? Что она не безграмотная покорная хантыйка, а молодой специалист – за плечами у нее восьмилетка, курсы звероводов в Ханты-Мансийске – и на общественной работе она не из

последних? Да, она осталась в родных краях, не укатила в большой город, живет по-прежнему в семье, но это вовсе не значит, что ее чувствами можно пренебрегать! Да, она любит родных – сколько пришлось ухаживать за матерью, пока та болела ревматизмом! А младшие сестренки и братья? Она же вынянчила всех подряд! Но дома не должны смотреть на нее просто как на собственность! У нее своя жизнь, своя судьба, и она распорядится ею так, как захочет сама. И только сама!

Так с возмущением и обидой думала Туньла, сидя на застланной меховым покрывалом койке в своем любимом углу, и невольно слезы застилали ей глаза – хотя вообще-то плакать она не любила. Туньла, разумеется, понимала, что гнев – плохой советчик. Отец и мать – люди прежнего закала, они от всей души желают ей счастья по своему разумению, и трудно убедить их в том, что они неправы – ведь и сами соединились по воле родителей, а вот, поди ж, прожили жизнь в полном согласии, многие могли бы им позавидовать.

«Надо успокоиться, – решила Туньла. – Нельзя себя распускать».

Она вытерла мокрые веки, провела рукой по своим пушистым, похожим на мех черно-бурой лисицы волосам и погляделась в небольшое овальное зеркало, висевшее на стене. Желтоватое стекло отразило чистый овал лица, полные смятения живые темные глаза и чуть широковатый, курносый, как у выездной нарты, нос. Туньла была недовольна своим носом и не очень доверяла красивым словам, которыми ее называли в Шурышкарах – «Лонгхитам юх хорпи» – «Девушка, похожая на березу без единого сучка». Но что ей нравилось на собственном лице – так это брови! Оленьими рогами они гордо взмывали вверх на ее гладком, хоть и не слишком высоком лбу. Брови говорили о ее характере – неужели дома не видят, что он у нее есть?

Половицы слегка качнулись – вернулся с улицы отец. Туньла слышала, как прошелестела сброшенная малица. Она осторожно выглянула из-за шкафа: отец снимал со стены охотничье ружье, красовавшееся на лиственничном суку рядом с чучелом свинцово-серого глухаря и ножом в деревянном чехле, украшенном волчьими и медвежьими клыками. Он сдул с ружья пыль, огля-

дел его и повесил обратно. Эти его действия выдавали волнение – отец явно нервничал и не знал, за что приняться. Наконец он нашел себе занятие: вытащил из кармана костяную трубку и уселся у окна вырезать на ней рисунок. Интересно, что он изобразит? Лису? Оленя? Птицу? Как она любила в детстве сидеть рядышком и наблюдать искусное движение резца в отцовских пальцах! Мастер он на все руки. Любое дело ему удавалось, а вот жизнь удачами не баловала. Что-нибудь да обязательно мешало задуманному.

Еще несколько лет назад они кочевали – отец пас оленей в предгорьях Северного Урала. Сколько их у него было? Немного, кажется, пятьдесят или около того. Частью кормился сам, часть сдавал государству. Жилось нелегко. Особенно трудно было со школой – Туньлу иной раз доставляли на занятия вертолетом, а иной раз она по ползимы просиживала в тундре: училась по книжкам, урывками. Но отцу нравилось возиться с оленями – эта древняя работа была у него в крови. Наверное, они и сейчас мотались бы по Предуралью, если бы однажды к ним не пожаловал дальний родственник – Хон-Ванька ики из селения Ворзям. Он привез подарок – целый ящик спирта. И сказал отцу:

– Держи, Лор Вош ики, это тебе. Хочешь, меня угощай, хочешь, сам пей.

Отец остолбенел от такой щедрости.

Два дня гуляли вольные оленеводы. Сколько выпили, сами не помнили. Мать пыталась их обуздать – да куда там! Пустые бутылки так и летели в тундру. Пару раз отец хотел было наведаться к оленям, но Хон-Ванька удерживал:

– Куда твои олешки денутся? Не видишь, какая пурга? Сиди в тепле. Спирта полно, еды полно – хорошо! А олени твои не глупее нас: ягелем отъедаются. Кой, сколько его у тебя тут – целые километры.

На третий день Хон-Ванька отбыл, а когда отец, проспавшись, побежал на пастбище – ягель меланхолично пожевывало не больше десятка оленей из тех, что поплоше.

С неделю, наверное, носился отец по тундре, отыскивая пропажу, – все никак не мог поверить, что родственник обобрал его самым бессовестным образом. Люди советовали подать в суд на

Хон-Ванька ики, но отец не стал связываться с мошенником и подался сюда, в Шурышкары, стал охотиться и рыбачить.

Да, не везло отцу. Вот и теперь ему вряд ли удастся задуманное сватовство Туньлы. Она не подчинится его воле, пусть и не мечтает об этом. Туньла сердито уставилась в отцовскую спину, но тут же смягчилась: «А все же что он такое там вырезает?»

Она на носках подкралась к окну, встала у Лор Вош ики за спиной и посмотрела на трубку – на черенке красовался силуэт песца. И как это у него получается? Ведь несколько минут назад этого песца и в помине не было! Туньла улыбнулась и попыталась ласково заговорить.

Но в это время с охапкой дров появилась мать. За ней – старуха Остяр. Затопили печь, уселись возле стола и оживленно зашептались. Туньла не прислушивалась – зачем? Она и так знала, о чем они говорят. Ее вновь охватило раздражение. Она вернулась в свой угол и села на койку, подвернув под себя ноги. В комнате заговорили громче. Голос отца прогудел:

– Я-а! Женщины! Сколько лисиц-востриц ваши языки на волю выпустили? Сколько резвых оленей заарканили?

Мать отвечала загадкой:

– Одним язычком пламени котел супа не сваришь. Нарта с одним полозом далеко не уедет.

– Я-а! – парировал Лор Вош ики. – Что с вами сделаешь? Болтайте, болтайте. Для хорошего дела времени не жалко.

Стемнело. Туньла устала сидеть неподвижно.

– Я пройдусь, подышу! – крикнула она родителям, на ходу накидывая пальто и хватая шапочку.

– Я-а! – только успел воскликнуть ей вслед отец. – Куда ты, словно на пожар?

Было не слишком морозно, безветренно. Снег искрился под молодой, набирающей силу луной. Туньла повернула на зимник, ведущий на остров, к рыболовецкому стану Панзи. Небо было на редкость ясным, многозвездным. Растянувшимся оленьим стадом пролег над горизонтом Млечный Путь. Сзади чернел лес – кедры и ели словно застыли, придавленные сверху тяжелым снеговым убором. В упор глядела на эту первозданную тишь Большая Медведица со своим верным другом – Полярной звездой.

Туньла медленно шла вперед. Вот и остров с одинокой разлапой елью, под которой они с Унтари отсиживались прошлым летом, пережидая грозу.

...Прошлым летом в их местах уродились невиданные травы. Особенно здесь, на острове, по дороге в Панзи. Как-то вечером она отправилась сюда косить – их корова любила полакомиться свежим, чуть подсохшим сенцом. Договорились, что отец попозже подъедет за ней на лодке и перевезет к рыбакам, в стан: там в конце дня варилась отменная уха.

Вечер был спокойным, солнечным, но вдруг, откуда ни возьмись, налетел какой-то бешеный шквальный ветер. Вода в реке почернела, забурлила, как варево в котле, и стала вздыматься волнами – одна круче другой. Рыбаки на той стороне собрались кучкой на берегу и пытались что-то кричать Туньле. Но, конечно, услышать ничего не удавалось: разве перекричишь такую реку, как Обь? Да еще если она разбушуется?

Хлынул дождь. Одетая в легкий сарафанчик, Туньла продрогла и вымокла до нитки. В небе громыхало, и толстенные молнии огненными клиньями вонзались в воду.

Она не испугалась, нет! Непогодой северян не удивишь. Но было ясно, что в такую круговерть никто – даже отец! – не сможет приехать за ней на лодке: придется ждать, пока уляжется шторм.

Туньла сгребла побольше мокрой травы и попыталась соорудить нечто вроде шалаша, чтобы спрятаться хотя бы от ветра. Но вихрь разметал в стороны траву и ветки тальника. Тогда она приникла к этой вот самой ели, обхватив руками смолистый ствол. От него шло накопленное за день тепло, и ей удалось немного согреться.

– Ты – моя печка, – помнится, сказала она ели, обращаясь к ней вслух. – Грей меня дольше!

Так, вместе с елью, собралась она коротать время. Но вдруг увидела в сумятице волн какую-то лодку. Она то вертелась на пляшущих волнах, то зарывалась носом в воду, то неровными толчками двигалась вперед.

– Отец! – решила она.

Лодка приближалась медленно, но все-таки вскоре уже можно было разглядеть, что она дюралевая, не отцовская, и что си-

дят в ней, отчаянно борясь с взбесившейся Обью, двое. На корме тем не менее действительно притулился отец. А вот второй... Вторым был Унтари!

Туньла еще теснее прижалась к ели, и сердце у ней учащенно забилось.

Унтари!

Неужели он?

Лодка причалила, и мужчины спрыгнули на влажный песок.

– Доченька! – закричал отец. – Ну как ты? Что ты? Я уж думал, не доберемся. Рыбаки мне и лодки не дали. «Ты, – говорят, – сумасшедший! Погоди, – говорят, – пока гроза не пройдет. Ничего с твоей Туньлой не станется. Не сахарная – не рассыплется». Спасибо, Унтари прибежал. «Давайте, – говорит, – на моей лодке поедем!»

И он обнял Унтари рукой за плечи.

– Молодец парень! Герой! Унтари молча смотрел на облепленную мокрым сарафаном Туньлу и улыбался.

Она тоже улыбнулась. Но ничто не могло бы ее в этот момент заставить произнести хоть слово!

А ведь она знала Унтари с детства. В восьмом классе даже какое-то время сидела с ним за одной партой. И чего уж греха таить: была влюблена в него по уши. Но, разумеется, об этом никто не знал. Она и себе-то в том не признавалась. Так только, взглядывала иногда на него исподлобья, когда он не мог этого заметить, и душа ее при этом изнывала от какой-то сладкой тоски. Потом Унтари уехал в Салехард – поступил в педагогическое училище. Она тоже отправилась в Ханты-Мансийск на свои звероводческие курсы. В Шурышкары они приезжали только летом и виделись изредка, случайно натолкнувшись где-нибудь на улице или в клубе, в кино. Унтари вполне дружелюбно приветствовал бывшую одноклассницу, ничуть не подозревая, в какие горячие бездны повергало Лонгхитам юх хорпи обычное «Здравствуй!»

Впрочем, иногда Туньле казалось, что в его взгляде, направленном на нее, теплится какой-то особенный огонек. Тогда она ликовала: «Я ему нравлюсь!»

Иногда, наоборот, ей чудился холод. И по ночам она плакала, уткнувшись курносым носом в пуховую подушку: «Он ко мне безразличен!»

Кого в восемнадцать лет не сжигают подобные страсти? Туньла была переполнена своей тайной – во все цвета радуги эта тайна окрашивала жизнь – и берегла ее пуще зеницы ока.

На танцах Унтари приглашал ее редко: Туньла при всей своей красоте была застенчива, не умела поддержать легкий «танцевальный» разговор, не любила твистов и роков.

«Ему со мной скучно», – с болью думала она и, отойдя подальше в сторону, украдкой наблюдала, как он крутился и болтал с другими девушками. А чаще всего он отплясывал с одной – студенткой по имени Нерка. Она тоже училась в Салехарде, собиралась стать медицинской сестрой.

Как мучилась, как ревновала Туньла, возвращаясь вечерами после танцев домой! Но опять же этого никто не знал. Только Млечный Путь да Большая Медведица были свидетелями ее страданий! ...А в тот день, в грозу, Туньла сидела ошеломленная и смотрела, как Унтари пытается разжечь под дождем костер.

И разжег!

Пламя сначала робко, потом все сильней и жарче занималось над хитро уложенными сучьями.

– Сейчас, Туньла, вскипятим чай!

Унтари подвесил над костерком походный чайник и сел рядом с девушкой, укутанной в оленью тужурку.

– Продрогла? Сейчас будет тепло!

А ей уже было тепло. Впервые за долгое время их знакомства она открыто, прямо посмотрела ему в глаза. И он не отвел взгляда.

Это была минута, которой ей не забыть!

Кругом все еще неистовствовала гроза, а в душе у Туньлы на мгновение воцарились светлая тишина и покой.

«Он любит меня, – подумала она. – Как же иначе? Ведь никто не приплыл сюда за мной – только он и отец. Любит, любит, любит!»

Но тут же уверенность покинула ее.

И недобрые духи толкнули на маленькую женскую хитрость.

– Все-таки странно, что именно ты приехал на своей лодке, – сказала она, отвернув лицо. – Вообще-то я ждала, что это Туля сделает.

– Туля?

– Да, Туля. Наш киномеханик. Ты что, не знаешь его разве?

– Нет, почему же, знаю, – после минутной паузы отозвался Унтари. – Кто же этого красавца не знает? Я его видел на берегу. Ждал, наверное, пока ветер утихнет.

И поднялся с мокрой земли.

– Ты пей чай, грейся, а я пойду Лор Вош ики помогу воду вычерпать из лодки.

Унтари повернулся к; ней спиной и направился к своей дюральке, хлюпая по траве резиновыми болотниками.

Что-то чужое, независимое уже было в его походке – Туньла так и сжалась в комок под раскисшей оленьей тужуркой. И кто дернул ее за язык? Ненормальная! Дура!

Ей захотелось вскочить, догнать Унтари, обхватить его за шею руками, рассказать, как думала о нем все эти годы, как ждала лета, чтобы увидеть его хотя бы издали. И кто знает, может, не будь тут отца, она именно так бы и сделала. Но отец был здесь. И Туньла осталась на месте – мокрая, голодная и очень, очень несчастная.

Гроза улеглась, они благополучно вернулись на берег. Унтари вежливо попрощался и исчез во внезапно упавшем тумане. А еще через несколько дней она узнала, что он уехал в туристический поход на Байкал.

Осенью, когда начался учебный год, Туньла в приступе какой-то отчаянной решимости вдруг решила написать ему письмо в Салехард.

Хотела рассказать о любви, но ничего не получилось. Письмо вышло коротким и скучным: шурышкарские новости, приветы от одноклассников. Унтари ответил тоже коротко, в шутливом тоне: мол, живу не тужу, грызу гранит наук, уже изрядный кусок отгрыз, привет родным и знакомым. Но Туньла была рада и этому.

В таком стиле переписка их длилась некоторое время, а потом увяла.

Все письма Унтари хранились у Туньлы в деревянной узорчатой шкатулке, спрятанной в дальний ящик комода. Она их часто перечитывала, а то и просто перебирала, с нежностью прикасаясь пальцами к бумаге, по которой маленькими зверьками разбегались его слова. Писать ему она больше не осмелилась, но постоянно сочиняла в уме для Унтари длиннейшие послания.

Чаще всего она приходила к мысли, что ничего и никогда между ними быть не может. Он – студент, станет учителем, а она – сельская жительница, возится со зверьем и, наверное, до конца своих дней просидит в Шурышкарах. Унтари нужна другая – пообразованней, поинтеллигентней. И разумеется, он такую себе найдет – вон их сколько, красоток с портфелями, по Салехарду разгуливает.

Так что, может, отец с матерью и правы, подыскивая ей жениха из оленеводов? Этот, в неблюевой малице, молодец хоть куда. Вон каким вихрем в нарту вскочил! Как вот только его зовут?

Мысли Туньлы прервал донесшийся со стороны поселка звон колокольчиков – это отбывала старуха Остяр, всласть нагостившаяся и наговорившаяся у них в доме.

Пора было возвращаться. Туньла погладила рукой ствол ели и покинула заснеженный остров.

Луна сияла во всей своей немыслимой красе. Длинные тени от прибрежных деревьев прямыми хореями располагались по ледяному покрову Оби. Звезды казались еще ярче, чем были, а вот Млечный Путь как-то разнесло, размыло по небу, и он уже не был так четко очерчен, как раньше.

Дома не спали, поджидая Туньлу, хотя время приближалось к полуночи. На столе остыл давно приготовленный ужин.

– Садись, доченька, я сейчас рыбу разогрею, – захлопотала мать.

– Я ничего не хочу. Спасибо, мама.

– Ну хоть чайку хлебни. Вот варенье из морошки.

– Чайку хлебну.

Отец налил Туньле полную чашку – тоже действие, ему не свойственное. «Сейчас о сватовстве начнет», – подумала девушка.

И точно.

Но повел отец издалека.

– До чего же хорошие люди к нам сегодня наведывались!

– Люди? Так ведь один приезжал.

– Один. Но он из большой семьи, из большого, известного рода. Нарту новостей привез.

– Что же это за новости?

– Рыбка нынче в реке Сыня замечательно ловится. Они уже амбар до отказу набили. Все щекуром да сырком – не чем-нибудь. И в стадах падежа почти что нет. Совхоз им премию выделил – пятнадцать оленей. У них теперь своих олешек – ого-го сколько!

– Приятно все-таки, когда в доме достаток, – вставила мать, уже успевшая вернуться из кухни с разогретой рыбой: она не оставляла надежды накормить дочь.

– Еще бы! – поддержал ее отец. – Мне вот с оленями не повезло, зато у других порядок. Есть чем кормиться.

– А мы что, голодаем? – возмутилась Туньла. – Вон полный стол едой заставлен – девать некуда.

– А все же с оленями лучше – смелей вперед смотришь.

Туньла умолкла. Психология оленевода есть психология оленевода. Тут уж ничего не поделаешь. Она молча глотала горячий крепкий чай и ждала, когда отец вывернет на главную дорогу.

Лор Вош ики особой хитростью не отличался. Покряхтев, покашляв и зачем-то потеребив себе уши, он пошел напрямик:

– Вот что, дочка: расставаться с тобой нам жаль. Но не век же под родительским крылом сидеть взрослой девушке. Да-а! Пришла и твоя пора.

Туньла отвернулась.

– Чего глаза прячешь? Солнца вроде нет. От жизни не спрячешься. Старухе Остяр насчет калыма я сегодня сказал. Дня через три будет ответ.

– Что-о? – вскинулась Туньла. – Какого еще калыма?! Ты в своем уме?

– Древний обычай. Не я придумал.

– Да кто его сейчас соблюдает?

– Многие, дочка. Ох, многие еще! А мы чем хуже других? Почему не взять, если дают? Чего тут худого?

– Помнишь, Лор Вош ики, какой калым твой отец отвалил, когда ты меня в жены брал? – пропела мать, – Половина оленей, которых Хонь-Ванька угнал, из нашего стада были.

– Молчи! – прикрикнул на нее отец. Он не любил вспоминать о своей незадаче.

Мать прикусила язык и скрылась на кухне. Отец подступил к Туньле с другой стороны.

– Погляди на нас, дочка. Мы уже старимся. Гнемся к земле, как ручка котла. Сколько еще протянем? А выйдешь ты замуж, глядишь, и у нас сил прибавится. Дети счастливы – старики счастливы. Разве не так?

– Да какое же здесь счастье – силком замуж идти? Чтобы я старухи Остяр, этой сводницы, у нас больше не видела! Нечего ей тут делать. Пусть в своем Тильтиме невест ищет.

– Много себе позволяешь, дочка! – рассердился отец, и брови его взлетели вверх крыльями рыбного коршуна. – Я тебя и спрашивать не должен.

– Не должен, правильно! – поддержала его из кухни мать. – Меня в свое время в нарту, словно мешок, кинули и умчали: я и пикнуть не посмела.

– Так это когда было! – заплакала Туньла. – За это время не одно дерево уродилось, не одно засохло.

Туньла вскочила и, опрокинув чашку с чаем, ринулась вон из комнаты. В сенях она бросилась на ворох старых оленьих шкур и в голос зарыдала.

Прибежала мать. Села рядом и попыталась успокоить:

– Поплачь, поплачь, доченька. Легче станет. А потом и совсем отпустит. Лед рушится, дерево ломается – человек гнется. Все будет хорошо. Ты хоть парня-то разглядела? Статный, сильный – настоящий кедр... Не то что твой Унтари. Я ведь все знаю – матери сердцем чуют...

У Туньлы плечи так и затряслись.

Но чтобы больше не слышать никаких разговоров, она встала и, пробежав через большую комнату, как в омут, нырнула в постель. Там она закрылась одеялом с головой и долго еще ворочалась, всхлипывая, пока наконец не заснула.

Ночью ей снился Унтари. Кудрявый, плечистый, скуластый и черноглазый. Вовсе не красавец, но зато – любимый! Опять бу-

шевала вокруг гроза, пенилась разгневанная Обь, шумела ветвями могучая ель, а они стояли, приникнув друг к другу, и не было конца этому объятию... Потом почему-то увиделась звероферма. Она, Туньла, не спеша идет вдоль шедов, а голубые песцы, виляя пышными хвостами, мечутся в каком-то паническом страхе, словно предупреждая об опасности.

Проснулась она утром вконец разбитой, безразличной ко всему. И даже мысль о том, что в поселке могут проведать о калыме, не внушала ей ужаса.

Туньла походила по дому, в котором все еще спали, отпила глоток холодного чая и, натянув кисы, поплелась на работу. На ферме подивились ее бледному лицу, но Туньла сказала, что у нее побаливает голова, и подруги больше не приставали с расспросами. Обедать домой она не пошла и предстала перед встревоженными родителями только поздно вечером.

– Ешак ый! Где ты пропадаешь? – накинулся на нее отец.

Туньла, не ответив, прошла в свой угол.

– У тебя, что, уши льдом затянуло?

Туньле хотелось сейчас только одного – остаться одной. Но за шкафом, сидя на койке дочери, уже готовилась к атаке мать.

Шеды – клетки для зверей, обитые вольерной сеткой.

– Мама, я устала.

– Одумайся, Туньла! Хватит нас мучить! – Мать сплюнула в сторону кусок табака с утлапом. – Ведь отец людям уже слово дал!

– А меня вы спросили?! – голос у Туньлы сорвался в крике.

Мать испугалась и в страхе откинула назад тяжелые косы с вплетенными в них старинными монетами, медными колечками, металлическими фигурками зверюшек и рыб. Ей ничего не оставалось, как пустить в ход главное оружие.

– Туньла, опомнись! Не говори с нами так. Мы же о тебе заботимся. Подумай сама: тебе за двадцать. Все твои приятельницы уже замужем. А ты кого ждешь? Унтари? Сиди, жди гуся в небе! Да он из Салехарда возвращаться и не думает. Что он в нашей глуши потерял? Я слышала, он в институт собирается. Нужна ты ему, как прошлогодний снег. Когда он в последний раз тебе письмо прислал?

Туньла закрыла глаза руками: мать попала в самую точку. И точкой этой было ее изболевшееся сердце.

«Она права, – с ужасом подумала Туньла. – Снежный чум – не дом, придет весна, и растает. Унтари ко мне равнодушен. А если не он – так не все ли равно кто?»

После долгого молчания она сказала:

– Ладно, мама. Пусть этот, в малице, приедет. Я посмотрю... подумаю...

Через три дня, вечером, к дому подлетели две ездовые нарты.

– Я-а! Кажется, будущая родня приехала! – всполошился отец. – Женщины, куда вы запропастились? Кипятите чай, рыбу несите!

Мать заметалась между кухней и ледником, отец стал быстро натягивать праздничные, расшитые кисы – салтам вай, достал из сундука голубую шелковую рубаху.

– Переоденься и ты, дочка! Да поживее!

Но Туньла и не подумала переодеваться. Она скрылась в своему углу. Оттуда все было слышно да и видно кое-что тоже.

Гости сбросили в сенках малицы и ягушки и степенно вступили в дом. Отец приветствовал их стоя, пригласил к столу. Они молча сели.

Туньла вдруг закашлялась. Отец насторожился:

– Где ты, дочка? Выходи, не прячься. Пришлось выбираться из укрытия. Туньла предстала

перед родителями будущего жениха, вся пунцовая от гнева и смущения.

– Вот она, наша старшая. Знаете, как ее в поселке зовут? Лонгхитам юх хорпи!

Гости одобрительно засмеялись.

Туньла готова была провалиться сквозь землю.

– Ну, а теперь, дочка, сбегай-ка к Мохсар Семану. Я у него свой ремень забыл, с ножом. – И Лор Вош ики пояснил: – У меня новый нож. В городе купил. Попробуем сегодня, как он строганину строгает!

Ну, конечно, предстоял торг – разговор о калыме, и ее хотели спровадить. Туньла только успела выскочить в сени, как вслед ей донеслись слова:

– Как насчет оленей?

– Пятнадцать! И деньгами – пятьсот...

Позор! Словно на рынке! Туньлу жгло, будто она наелась крапивы. Ну, что ж, сама виновата – дрогнула в какую-то минуту, пошла на поводу у матери, словно неразумная важенка. Она остановилась на крыльце – идти или не идти к Мохсар Семану? Ведь нож, конечно, всего лишь предлог – вон их сколько, этих ножей, у отца по стенам висит! Есть чем нельму настрогать.

В нарте, стоявшей справа у крыльца, шевельнулась какая-то одетая в меха фигура. В груди у Туньлы кольнуло: ведь это жених! Подойти, поздороваться? И чего он тут, на морозе, расселся? Она осторожно шагнула к нартам. Фигура проворно вскочила на ноги и двинулась к ней. На расстоянии вытянутой руки он остановился и спросил:

– Ты – Туньла?

– Ну, я.

– Здравствуй!

– Здравствуй.

Они помолчали, топчась на снегу, словно олени. Наконец Туньла прервала паузу.

– Как тебя звать-то?

– Меня Ека. – Он откинул с головы капюшон малицы. «Парень как парень, – подумала Туньла. – Здоров, силен».

– Слушай, – спросила она, – чего это ты вздумал ко мне свататься? Что, у вас в Тильтиме девушек не хватает?

– Хватает! – засмеялся Ека. – Да вот тетка Остяр больно много о тебе распространялась. – Он снова, как в первый раз, оценивающе взглянул на Туньлу. – Дело тетка говорила! Ты – во! – И он поднял вверх большой палец правой руки.

Хоть Туньле это и не понравилось, но все-таки она была польщена столь откровенным одобрением и усмехнулась. Ека хохотнул:

– Ну как, пойдешь за меня? Туньла снова ощетинилась.

– Разбежался!

– Ну-ну, ты не очень! – рассердился Ека. – Мы за тебя калым даем немалый.

– Забирай свой калым и проваливай!

Жених оторопел, Туньла повернулась и пошла прочь, к темневшему за домом лесу. Ека догнал ее. Глаза горели упрямством.

– Уж не вздумала ли ты меня опозорить? Гляди, в роду Лонгортовых обиды не прошают.

– В нашем роду Кельчиных – тоже.

Они уперлись друг в друга злыми глазами, как разодравшиеся псы.

Ека переменил тактику.

– Ладно, перестань. Чем я тебе плох? Работать умею, на оленях ездить умею. Охочусь, рыбачу. Хочешь, самого красивого соболя тебе на шапку добуду?

– Поосторожней с соболями. Угодишь куда следует.

– Не угожу. Я ловкий! Послушай, не артачься, Туньла. Родилась уткой – в лебедя не превратишься. Поняла?

– Нет!

– Зарубку матери темного дома никаким ножом не выскоблить.

– Какую еще зарубку? Не мели ерунды.

– Я хант, ты – хантыйка. Наше дело – олени, зверье, река, тайга. И нечего тут церемонии разводить.

«Может, и правда – нечего», – мелькнуло в мозгу у Туньлы. Она опустила веки.

– Дай мне поразмыслить.

– А чего размышлять? Соглашайся!

Туньла отвернулась от него и вновь направилась к лесу.

– Слышишь! Может, тебе калым маловат? – крикнул ей вслед Ека.

Она не ответила. Поколебавшись секунду, он бросился за ней вслед, меряя снег рысьими прыжками.

– Стой! Скажи отцу – Ека калым удваивает. Тридцать оленей! И тысяча рублей! Слышишь – тридцать и тысяча!

Туньла стремительно обернулась. Щеки ее пылали.

– Чтобы духу твоего здесь не было! Торгаш!

Она схватила ком снега и запустила в жениха. Снежок угодил Еке в лоб – недаром же Туньла была дочерью оленевода и охотника!

– Ах ты так!.. – Ека внятно выругался и побежал к дому. Через несколько минут высоконосый лох-сянг рванул с места и исчез в темноте – словно растаял.

Руки у Туньлы дрожали, но начатое надо было доводить до конца. Вдохнув полной грудью морозный воздух, она рывком открыла двери и вошла в дом.

Здесь вовсю разворачивалось праздничное застолье. В мисках дымилась отварная оленина, горой лежала на сковороде обжаренная в жиру рыба, светилась желтым светом моченая морошка, алела клюква. Гости, обо всем договорившиеся с хозяевами, благодушествовали, расстегнув верхние пуговицы своих рубашек.

Гостеприимство – закон северян, и нелегко было Туньле его нарушать – ох, нелегко! – но все же она встала посреди комнаты и сказала:

– Я не стану женой вашего сына!

– Замолчи! – вскочил со стула отец. – Сейчас же замолчи!

– Не стану!

Гости всполошились:

– Чем тебе Ека не угодил? Подожди, сейчас мы тебе подарки принесем – они в нарте остались...

– Мне не нужно ваших подарков. Уезжайте. Ека уже укатил.

– Не обращайте на нее внимания! Она сама не знает, что говорит, – запричитала мать. – Глупая еще, молодая... Не оперилась. Ешьте, я сейчас оленьих языков принесу!..

Но гости уже поднимались со своих мест. Зашуршали в сенях малицы и ягушки, и вскоре и вторая нарта растворилась в пуржистой ночной мгле.

У Туньлы ослабели колени, она села на лавку. Отец, сгорбясь, отвернулся к окну. Над разгромленным столом поникла мать. Словно испуганные мыши, попрятались по углам сестренки и братья.

Бесконечным, как дневной переезд по тундре, было молчание. Наконец Туньла тихонько позвала:

– Аси!.. Отец!..

Лор Вош ики не отвечал, только лопатки судорожно сошлись у него под голубой праздничной рубашкой.

– Прости, отец...

Туньла села рядом с матерью и обняла ее за шею.

– Мама... И ты прости... Иначе я не могла.

Лор Вош ики шумно, как усталый хор, вздохнул и повернул лицо к непокорной дочери. Нет, не было гнева на этом лице, таком родном и любимом для Туньлы. Может быть, лишь растерянность или недоумение.

– Ты проголодалась, дочка. Поешь...

– А вы?

– Кусок в горло не лезет! – всхлипнула мать. – Такое ты нам устроила – от Шурышкар до Тильтима судачить будут!

Но отец вдруг сказал:

– Пусть судачат. Не все ли равно? И громко рассмеялся:

– Калым, калым! Прощай, калым! Тю-тю!

Туньла улыбнулась и положила себе на тарелку большой кусок жареной нельмы. Завтра на ферме много работы – и вправду надо хорошенько поесть.

Перевод с хантыйского Э. Ефремовой
1980 г.

Вопросы и задания

1. С какими традициями хантыйского народа знакомимся на страницах рассказа Р. П. Ругина «Сватовство»?
2. Можно ли утверждать, что в рассказе Р. П. Ругина «Сватовство» изображен конфликт «отцов и детей»? Обоснуйте свой ответ.
3. Определите сюжет и композицию рассказа Р. П. Ругина «Сватовство».
4. Можно ли утверждать, что в рассказе «Сватовство» Р. П. Ругин обращается к художественному методу романтизма? Иллюстрируйте свой ответ цитатой из текста.
5. Составьте характеристику Туньлы – главной героини рассказа Р. П. Ругина «Сватовство».
6. Что послужило причиной, заставившей Туньлу выступить против вековых традиций и решения родителей в рассказе?
7. Чем руководствовались родители Туньлы, соглашаясь на сватовство дочери в рассказе?
8. Как вы думаете, принесет ли счастье героине рассказа ее выбор?

ЛАНГИ

1

Тавет, закинув за плечо двустволку, шел по берегу неширокой протоки Васяхово, которая к осени обмелела настолько, что местами ее можно было переходить вброд. С правой стороны поднимался торенной берег, поросший молодыми березками, кедрами и лиственницей.

Первые осенние заморозки уже тронули все вокруг, и листья берез, отрываясь от веток, словно распластанные стрижи в полете, плавно падали на землю.

Но солнце еще было теплым. Тавет с удовольствием подставлял его лучам свое смуглое лицо. Был он среднего роста, широк в плечах. Темноволосая голова крепко сидела на короткой, толстой шее. В поселке иногда посмеивались над ним:

– Эй! Шею-то куда подевал? Может, она у тебя с затылком срослась?

Тавет на подобные шуточки не обращал внимания: пусть себе зубоскалят, если им делать нечего!

Гораздо больше его задевало, когда подтрунивали над Ланги, полуторамесячным щенком охотничьей лайки, которого он начал выводить с собой на охоту. Вот и сегодня утром сосед Ай-Паял крикнул ему вдогонку:

– Хватит людей смешить! Кто таких мальков в тайгу берет? Тавет, хмуро огрызнулся:

– Не твое дело, Ай-Паял!

Сейчас Ланги, загнув хвост колечком, весело бежал рядом с хозяином. Среди осенней желтизны четко выделялась его темная, густошерстная спинка. А когда пес оборачивался, на груди мелькало белое, похожее на бабочку-капустницу, пятнышко. Стоило Тавету остановиться – останавливался и Ланги. Уши у него вставали торчком, а в черных, словно угольки, глазах загорался вопрос: в какую сторону мчаться? Кого догнать?

«Добрая растет собака!» – радовался Тавет и наклонялся, чтобы потрепать Ланги по мягкому загривку. Давно мечтал о чистопородной лайке, с которой можно будет зоревать весной и осенью, надолго уходить в тайгу. Без хорошего пса что за охота? Блуждание в потемках! «Один умный пес надежней ста помощ-

ников. Зверь шерстинку на траве ставит, и то собака его сыщет», – говаривали старики ханты.

Нынче мечта сбылась – зоотехник Хозяинов, чья лайка недавно ощенилась, отдал ему кобелька. Тавет долго выбирал щенка – кобельков было двое, – взвешивал каждого по очереди на ладони, водил пальцем по кончику носа, щупал уши и зубы: чутье, слух у будущей охотничьей собаки должны быть безупречным. Наконец он остановился на том, у которого на груди белела отметина.

– Назову тебя Ланги! – сказал он щенку. – Ланги, слышишь? Это значит – «бельчатник».

– Красивое имя! – одобрил Хозяинов. – Звучное!

– В старину у нас говорили: «Кто лайкой на белок не владеет у того ни рук, ни ног, ни глаз нету», – засмеялся, пряча щенка за пазуху, Тавет.

Поблагодарив зоотехника, он поспешил домой обрадовать мать: та в молодости была хорошей охотницей и знала толк в собаках.

Матери щенок понравился.

– Маленький да удаленький! – сказала она, погладив Ланги. Смотри-ка, как разумно посматривает! Щенок, смешно загребая неокрепшими лапами и переваливаясь с боку на бок, пустился обследовать комнату. Мать завела ему вслед старинное причитание:

Песца пушистого следы
Будешь ты тропить умело,
За лисицей быстроногой
Смело пустишься вдогон,
Белок, скачущих, по веткам,
Зорким взглядом не упустишь,
Птиц застреленных отыщешь
И хозяину снесешь!..

Тавет заботливо ухаживал за щенком. Он даже попросил на работе небольшой отпуск. Сам кормил его, выгуливал и, думая о наступлении холодов, смастерил во дворе добротную конуру, обшитую дерматином. По вечерам он читал книги по дрессировке охотничьих собак, и не было в поселке старика из бывших

опытных охотников, с которым бы Тавет не затеял обстоятельной беседы о натаскивании лаек. Ланги научился подавать хозяину то правую, то левую лапу, без разрешения не принимался за еду и вообще проявлял редкую сообразительность.

– Молодец! – хвалил щенка Тавет. – Умнейший пес! Умник!

Довольный Ланги вилял хвостом и радостно повизгивал...

Разумеется, Ай-Паял прав: полуторамесячного щенка выводить в лес рановато, – но разве знает сосед, каких успехов достиг Ланги, как стремительно он развивается? Собаку к охоте надо приучать смолоду, и не на словах, а на деле – кое-где в лесу лежал выпавший накануне и не успевший растаять первый осенний снежок. Самое время подстеречь выводок рябчиков или даже косачей! Интересно, как поведет себя, учуяв, дичь, Ланги?

Шагая вдоль протоки, по которой шла шуга – вода жила уже последним дыханием, – Тавет вдруг приметил за песчаным мыском двух уток-турпанов. Вскинув ружье, он замер на месте. Утки, в поисках корма, скрылись в зарослях. Тавет, подкрался ближе к берегу. Ланги, насторожившись, последовал за ним. Когда турпаны появились вновь, прогремели два выстрела.

Тавет был метким стрелком. Не промахнулся он и сегодня. Теперь предстояло работать Ланги! Упрашивать щенка не пришлось. Негромко, энергично залаяв, молодой пес короткими прыжками понесся к протоке, и не успел Тавет присвистнуть ему вдогонку, призывая к осторожности, как Ланги, ступив на тонкий ледяной припай метрах в двух от берега, провалился в холодную осеннюю воду.

С досады Тавет даже пристукнул себя кулаком по лбу: надо же быть таким дураком! Вывел, называется, пса на охоту! Долго ли щенку простудиться? Правильно насмешничал Ай-Паял, слушаться надо умных людей, а не огрызаться в ответ!

Протока была мелкой, утонуть Ланги не мог.

– Ко мне! Ко мне! Назад! – крикнул Тавет, но, к его удивлению, щенок не послушался – лишь мельком взглянул на хозяина и все рвался вперед, к добыче, с треском ломая лапами лед. Впереди блестела на солнце полоса чистой воды.

– Куда ты?! – закричал Тавет, бросаясь к протоке. Он еле-еле успел схватить Ланги за загривок: еще мгновение, и пес пустил-

ся бы к уткам вплавь – видно, свой охотничий долг он осознавал в полной мере!

Ланги был очень возбужден. Он чуть не вырвался из рук Тавета и глухо заворчал, когда тот попытался его слегка обтереть и обсушить. Чтобы щенок опять не ринулся в воду, Тавет привязал его ремешком к невысокому сетевому колу, торчавшему у протоки. Отыскав подходящей длины жердину, сам побрел по воде за утками. Пес смотрел на него хмуро, исподлобья.

– Ладно, ладно, не сердись, – попытался утешить его Тавет. – Поохотились мы с тобой не худо, но рановато тебе еще со мной в тайгу ходить. Придется подождать малость. Пусть зубы окрепнут, шерсть погуще отрастет. Тогда тебе никакая вода страшна не будет. Потерпи, песик! Мы с тобой еще не раз и зверя, и птицу перехитрим. Вот увидишь! Ведь ты у меня умный, смышленый, отважный!

Обычно в ответ на подобные похвалы Ланги радостно повизгивал, но сейчас он молчал.

Тавет встревожился: что-то неладное происходило с собакой. Неужели обиделась на хозяина?

– Я же хотел тебе помочь, глупыш! – стал оправдываться Тавет. – Ну простыл бы ты, закоченел окончательно —вода-то ведь уже ледяная, – и что бы тогда было?

Ланги не отзывался, а если бы умел говорить, то, наверное, сказал бы примерно следующее: «Привязал меня тут. Как дворняжку какую. Уток сам палкой из воды достаешь. Зачем тогда меня натаскивал? Птичьи крылышки заставлял тебе приносить? Беличьи хвосты? Разве плохо я это проделывал? Ты же сам меня хвалил, рыбки или мяса в награду давал, а то и косточкой баловал! Один раз хвоста не принес – так ты со мной и разговаривать не захотел! Я ведь должен был этих турпанов взять! Должен! Я твердо это знал до сегодняшнего дня, а теперь вот – не знаю. Должен или не должен? Лезть мне в воду за дичью следующий раз или не лезть?..»

Но Ланги даром речи не обладал, и Тавету оставалось лишь догадываться, почему загрустил его веселый щенок. Беспокойство в душе осталось, но большого значения происшествию он все-таки тогда не придал.

Вернулись домой. Тавет разогрел уху из щуки, поел сам и накормил Ланги. Пес в дороге все же устал и теперь быстро опустошил свою миску...

За зиму Ланги изрядно подрос, превратился в крепкую молодую лайку. Тавет с нетерпением ждал весны, чтобы испробовать своего любимца в новой охоте.

Как только открылась вода, он снарядил моторную лодку и, посадив пса на корму, поехал вниз по Горной Оби к Птичьему острову. Здесь во время весенних перелетов любили ночевать дикие гуси и утки.

К вечерней зорьке Тавет и Ланги, с трудом переступая через пружинившие, покрытые прошлогодней пожухлой травой кочки, добрались до озерка, где водилось особенно много дичи. Тавет притаился в тальниках. Рядом расположился вымазанный жидкой глиной Ланги.

Ждать им особенно не пришлось. Четыре шилохвости взлетели из камышей и кругами пошли над озером, высматривая место для новой посадки. Тавет выстрелил дуплетом. Утки стали падать вниз. Но одна из шилохвостей была, видимо, лишь ранена – забившись в воде, она поплыла в прибрежные заросли.

– Ланги! Ищи! – скомандовал собаке Тавет.

Пес не двинулся с места.

– Ланги! Кому сказано?!

Собака вскочила и юркнула в кусты, в противоположную от озерной отмели сторону.

– Куда?! – закричал Тавет. – С ума сошел, что ли?!

Но Ланги и след простыл. Сколько ни звал его хозяин, сколько ни метался по берегу – все было тщетно. Обозлившись, он сам побрел на поиски уплывшей шилохвости. Но и та куда-то запропастилась. Забилась, наверное, подальше в камыши, поди ее теперь сыщи в желтовато-бурых весенних травах без собаки!

Подобрав лишь одну утку, Тавет уставший и злой, стал караулить других шилохвостей. Но время было уже упущено – вечерняя зорька догорела, и в сгустившейся темноте слышался теперь только посвист пролетающих птиц, да в вышине мелькали их неясные силуэты.

Ланги все не было. Тавет, разыскивая его, едва не сорвал голос. Наконец решил вернуться к лодке... Пес, как ни в чем не

бывало, сидел на носу моторки. Заметив хозяина, он легко спрыгнул на берег и затрусил к Тавету. Обнюхал единственную шилохвость, болтавшуюся на ремне, и протянул Тавету лапу, – настроение у пса, судя по всему, было отличное. Еще бы, ведь он не помешал хозяину охотиться, дал ему самому спокойно поискать раненую утку!

Тавет разозлился еще больше.

– У-уть! – сердито прикрикнул он на Ланги и замахнулся на него прикладом ружья. – Пошел прочь от меня! Видеть тебя не могу! Всю зорьку мне испортил!

И тут вдруг с высоты на освещенную молодой луной гладь Горной Оби ухнула стая белокрылых турпанов. Мгновенно прицелившись, Тавет нажал на курок. Один из турпанов стал падать в воду

– Ну, Ланги! Вперед! – с надеждой скомандовал собаке хозяин.

Но ситуация повторилась – пес отступил от берега и растаял в зарослях.

В растерянности Тавет присел на корягу. Хорошенькая история! Это что же, теперь всегда так будет? Мечтал, мечтал об охотничьей лайке, и вот на тебе – все труды впустую.

Над рекой гулял пронизывающий ветер. Стало совсем темно. Тавет сильно промерз, а Ланги все не появлялся. Еще не хватало тут из-за него ночевать!

Раздосадованный Тавет сновал по влажному песку, свистел, кричал, и когда наконец из-за кустов выскочил Ланги, швырнул в него первой попавшейся палкой. Какой это было ошибкой, он понял мгновение спустя – пес снова исчез!

Измучившись и охрипнув, подзывая собаку, Тавет сел в лодку.

– Раз так, – крикнул он напоследок, – я тебя проучу! Оставайся здесь один. Проголодаешься – сам реку переплывешь, авось умнее станешь! Уже не щенок, чтобы я тебя из холодной воды вытаскивал, – шерсть вон как у медведя! – и дернул за шнур; мотор заревел, дюралька, кренясь, полетела к дому.

2

Ссориться с собакой ничуть не легче, чем разругаться с близким другом.

Весь следующий день Ланги не появлялся, и Тавет просто места себе не находил – мотался по окрестностям, словно олень, донимаемый в летнюю жару гнусом. То и дело он бегал к реке, всматривался в направлении песчаной косы Кев Ур, откуда, по его расчетам, мог приплыть провинившийся пес. Но никого не было видно на пустынном берегу, только снежные шапки отрогов Полярного Урала, сверкавшие на солнце, слепили глаза.

И зачем он только вчера поддался своему раздражению, уехал, бросив собаку? Да, Ланги вел себя скверно, но разве не он сам, Тавет, в том виноват? Грубо кричал, швырял палкой. А тогда, прошлой осенью? Ведь он просто не понял Ланги, помешал ему исполнить свой охотничий долг и тем самым посеял в нем смятение. Ланги сбит с толку, не знает, как вести себя на охоте, в его поведении есть своя логика, и бессмысленно теперь на него сердиться. Нужно было проявить побольше терпения, поработать с собакой, добиться послушания лаской, а не безобразными криками.

Под вечер, взяв ружье, Тавет спустился к Оби и завел моторку. Он быстро пересек реку, достиг места вчерашней охоты, тщательно осмотрел все вокруг. На песке никаких следов – Ланги и не думал искать хозяина. В груди шевельнулась обида, но Тавет подавил ее: нечего упрекать животное, сам во всем виноват!

Он стал не спеша обследовать окрестность. Перебрался на лодке к поросшему кустарником островку: вдруг Ланги приплыл сюда? Здесь можно разжиться дичью, а то и зайца поймать, косые любят на острове лакомиться корой молодых тальников. Ребятня из поселка всегда ставит тут капканы и петли. Теша себя мыслью, что пес добыл пищу и теперь лежит где-нибудь в подветренном ложке, отдыхает, Тавет время от времени принимался ласково подзывать его:

– Ланги! Ланги! Умный пес, умник! Иди сюда! Я привез тебе косточку! Ланги!

Стало смеркаться. Но Тавет решил не уезжать, пока не отыщет собаку – только так он сумеет загладить перед ней свою вину!

Вернулся на коренной берег, тщательно всматриваясь в исхоженный чайками-халеями и утками песок. Ничего!.. И вдруг, когда он уже почти перестал надеяться, в устье небольшого ру-

чейка глаза приметили что-то похожее на отпечаток собачьей лапы. А может быть, это след лисы? Но нет, тот был бы помельче. Неужели Ланги?!

Сердце у Тавета забилось сильнее – теперь он уже нее сомневался: собака на острове. Нужно только как следует обшарить все тальники и заросли.

Утром Тавет снова отправился на поиски. Наконец в густом березняке на западной оконечности острова он вдруг услыхал какие-то странные звуки: не то царапанье по корью, не то шорканье по земле. Кинулся в чащу. Среди корявых полярных березок что-то темнело. Неужели Ланги?!

Ланги!

Но что случилось с собакой?! Тавет глазам своим не поверил: крутясь и извиваясь среди поломанных веток, пес пытался освободиться от захлопнувшего морду капкана! Так вот почему он не откликался на зов хозяина...

Тавет бросился к собаке, разжал ножом пружину капкана, настороженного, видимо, на зайца или лисицу, и высвободил Ланги. Повыше переносицы у того кровоточила довольно глубокая рана. Заскулив, Ланги благодарно прильнул к хозяину и лизнул ему руку.

Слезы подступили к горлу Тавета. Он обнял пса, горячо шепнул ему в ухо:

– Прости меня, песик, прости!

И, словно отвечая на эту просьбу хозяина, Ланги еще теснее прижался к нему.

Тавет промыл и просушил кровоточащую ранку, зашил порванную кожу оленьей жилкой. Затем из кармана ватника достал сухари, косточку и вяленую рыбу. Пораненная капканом морда у Ланги еще, конечно, болела, но угощение он съел с аппетитом.

– Поедем домой! – сказал Тавет и пошел было вперед, уверенный, что пес побежит за ним, но вдруг услыхал за спиной жалобное поскуливание.

Пытаясь догнать хозяина, Ланги волочил по земле перебитую лапу. Упав на колени, Тавет осмотрел собаку. Как это он сразу не заметил, что у Ланги перебита нога? Правда, больное место скрывала густая черная шерсть, запекшуюся кровь на ней не

было видно. Неужто в него стреляли? Похоже на то! Наверно, на острове побывал вчера утром кто-то из молодых неопытных парней-охотников.

– Мерзавцы! – выругался вслух Тавет, – собаку от зайца отличить не могут! Подняв Ланги на руки, он понес его к лодке.

3

Дома Тавет, осторожно положив лайку на пол в сенках, побежал к зоотехнику Хозяинову.

– Николай Петрович, выручайте! Мой Ланги занемог.

Зоотехник посмотрел пса и покачал головой:

– Плохи дела! Рана на бедре загрязнилась, может начаться гангрена. И кабы он, бедняга, мог себе кровь сразу зализать. Собачья слюна дезинфицирует лучше всякого лекарства. Но тут случай особый; морду ведь капканом замкнуло.

Тавет повез Ланги в районную ветлечебницу. Там ему прочистили рану, сделали несколько уколов.

После этого случая Ланги еще больше привязался к хозяину. Однако охотничьи навыки привить ему так и не удалось.

– Да, – вздыхала мать всякий раз как Тавет собирался идти в тайгу, – не повезло тебе, сынок. Зря ты тогда, в первый раз, отогнал его от раненой утки. Вот он и считает, что убитую дичь трогать нельзя, а от выстрелов лучше прятаться.

– Хватит, не трави душу, сам знаю, – мрачно отзывался Тавет.

Обидно было потерять такую собаку. Но что поделаешь? За собственную глупость надо расплачиваться.

Впрочем, Ланги даром своего собачьего хлеба не ел – он теперь видел свой долг в том, чтобы везде и всюду охранять хозяина. По утрам он сопровождал Тавета до школы, где тот работал учителем, бодро трусил впереди, и не дай Бог повстречать им какую-нибудь собаку! Ланги вихрем налетал на нее и отгонял в сторону. В его сердитом лае так и слышалось: «Прочь с дороги, бездельник! Не мешайся под ногами, когда мой хозяин спешит на работу».

Пока шли уроки, Ланги лежал под школьным крыльцом. И какая бы на дворе ни стояла погода, сколько бы ни задерживался Тавет на занятиях, пес не покидал своего поста. Потом они вместе возвращались домой, здесь Ланги ждали и другие

обязанности: стеречь дом, предупреждать Тавета о любой опасности или наоборот о появлении друга. На каждый такой случай пес лаял по-особому, Тавет понимал его, как говорится, с «полуслова». К трехлетнему возрасту Ланги так возмужал, что ни одна поселковая собака не решалась вступать с ним в драку. Только соседская овчарка Рекс постоянно задирала его и видно, горделивая осанка Ланги не нравилась ей. Рекс был сильнее, но не отличался изворотливостью, и Тавет испытал истинное удовольствие, наблюдая, как Ланги однажды перехитрил агрессивного соседа.

В заборе, которой разделял участки, имелся лаз. В него сравнительно легко мог протиснуться Ланги. Он это местечко хорошо знал и не раз им пользовался, когда требовалось почесать во время линьки густую шерсть на спине. В этот вечер Рекс вел себя особенно нагло. Ланги глухо заворчал, опасаясь вступать в открытую схватку. Потом, словно что-то надумав, все-таки приблизился к овчарке и начал кружить возле нее, то подскакивая, то отступая. Таким маневром он заманил Рекса к самому забору. Потом события развернулись следующим образом: Ланги, изловчившись, куснул овчарку. Разъяренный Рекс оскалил зубы и грудью налетел на противника. Тогда Ланги вдруг припал к земле и скользнул в лаз. Рекс, на секунду опешив, ринулся вслед за ним , но не тут-то было! Более крупная и плотная овчарка застряла в дыре, зажатая со всех сторон деревянными плахами, а лайка как ни в чем не бывало разлеглась в огороде на травке!

Тавет от души хохотал, глядя из окна на эту сценку. Потом он подозвал Ланги и потрепал его по мохнатой шее:

– Умнейший пес! Умник!

А Рексу сказал:

– Знай наших! Впредь не будешь обижать собрата!

Однако решительный бой с Рексом был у Ланги впереди.

Неподалеку от дома Тавета, на крутояре, стоял колхозный склад. В начале зимы подле него обычно забивали скот. Разумеется, все собаки поселка сбегались в эту пору сюда. Здесь разыгрывались ожесточенные драки, и не один пес потом зализывал себе раны.

Ланги и тут проявил редкую сообразительность. Пока собаки, слепившись в один бешено вертящийся шерстяной ком,

дрались из-за какой-нибудь требухи, сама требуха оставалась как бы ничейной. Ланги это приметил. Теперь он, явившись к складу, первым кидался к выброшенному куску, провоцируя тем самым драку. Собаки, пытаясь отогнать Ланги, затевали схватку. Пока они визжали и кусали друг друга, Ланги быстренько оттаскивал в сторону «забытую» всеми добычу.

Рекс, видимо разгадав тактику соседа, решил ему отомстить: сбив изрядную собачью ватагу, в один прекрасный день окружил Ланги в его собственной конуре. Тому хочешь не хочешь пришлось принимать ближний бой. Но, видно, добрые духи были на стороне Ланги: когда клыки Рекса уже коснулись его горла, какой-то гвоздь, валявшийся на земле, впился овчарке в лапу. Взвыв, она подпрыгнула вверх, а лайка успела отскочить к дому, откуда уже в тревоге выбегал Тавет.

После этого случая Рекс уже никогда не посягал ни на владения Ланги, ни на его собачье достоинство.

4

– Коль унес ноги от верной смерти, другая уже не настигнет: ей ведь через тень первой перескочить потребуется, – приговаривала иногда мать Тавета, поглаживая Ланги по спине. Она тоже привязалась к собаке, даже, пожалуй, больше, чем сам Тавет.

Самые лакомые кусочки из общего семейного котла доставались Ланги, а в сенках на полу появилась теплая лосиная шкура, на которой он спал в зимние холода. Мать еще и укрывала его своей старой ягушкой.

– Зачем ты балуешь собаку? – рассердился однажды Тавет. – Ведь она не ребенок.

Мать в ответ пристально посмотрела на своего взрослого сына, и Тавет сразу умолк – столько было в ее глазах невысказанного страдания. И дернул же кто-то его за язык: «Ребенок!» Разве не знает он, как та давняя трагедия разрывает матери сердце, не дает покоя ни днем ни ночью?

...Время было послевоенное, трудное, жили впроголодь. Чтобы хоть как-то прокормиться, летом всей семьей выезжали на плавной лов куда-нибудь в дальние глухие места. О лодочных моторах тогда еще и мечтать не смели, ходили на гребях или под самодельным парусом. Гребли все – и взрослые, и дети. Та-

вета возили с собой в берестяной люльке, он был совсем маленьким.

По реке гулял сильный ветер. К полудню он усилился, волны стали закручиваться белыми пенными барашками. Мать умоляла мужа поднять сеть пораньше и укрыться где-нибудь в тихой заводи, но рыба шла хорошо и отцу Тавета не хотелось терять лишних муксунов или нельм. Когда же наконец стали выбирать сеть, оказалось, что она зацепилась под водой за «задеву» – корягу-топляк. Лодку начало захлестывать, дно залило водой. Сеть все не отпускало. Отец тянул ее на себя изо всех сил, три старших брата Тавета – мальчики-погодки – помогали ему.

– Брось сеть! – кричала сквозь ветер мать. – Брось! Утонем!

Но отец и в момент опасности оставался рыбаком: бросить сеть для него было равносильно тому, чтобы покинуть в беде верного друга.

Но вот сеть подалась и... в это мгновение огромная волна накрыла лодку. Бударка пошла ко дну. Отец метнул в воду спасательный круг, крикнул матери:

– Хватай люльку и плыви!

Отец и три старших сына утонули. А мать каким-то чудом добралась до берега. Чудом было то, что Тавет не захлебнулся в своей насквозь промокшей берестянке. Обоих подобрали потом жители близлежащего поселка...

С тех пор прошло много лет. Мать стала известной в их краях охотницей, и не было женщины в округе смелее ее: ведь ей пришлось пережить такое, после чего и собственная смерть не страшна. Всю силу своей материнской любви перенесла на единственного, оставшегося в живых сына Тавета, мечтала о внуках, а пока что баловала собаку...

Тавет продолжал ходить с ружьем в тайгу. Ланги он всегда брал с собой, хотя тот по-прежнему не прикасался к подбитой дичи. Особенно он любил сборы на охоту и первым бежал по длинному спуску к дюралевой лодке, где важно усаживался на переднее сиденье, поджидая хозяина.

5

В один из весенних дней, в субботу, они отправились на остров Горелый, названный так из-за сильного лесного пожара, не-

когда на нем бушевавшего. От поселка до острова километров тридцать по извилистой, неширокой протоке Осхем.

Пристав к острову, Тавет выбрался из лодки и пошел на разведку. Ланги потрусил за ним. Они пересекли несколько небольших болотец, взобрались на песчаную гриву и вдруг услыхали вдали гортанные крики диких гусей.

Тавет молниеносно перезарядил ружье, сменив четвертый номер дроби на более крупный – нулевой. Гуси! Надо же, такая удача! Теперь только бы не промахнуться!

Вот со стороны Куншольского сора показалась небольшая стая. Кружа над болотом, гуси высматривали место для посадки. Тавет выругался с досады: птицы явно не собирались подлетать ближе, а с такого расстояния целиться бесполезно. Чем бы их подманить? Наконец его осенило, – как же он мог забыть, что гуси всегда реагируют на бегающую по земле собаку?

– Эй, Ланги! – крикнул он. – Вперед! Туда! – и указал на болото. Для верности он сдернул с головы и швырнул подальше свою шапку. Шапка – не утка, Ланги обязательно постарается ее принести. А гуси наверняка заметят пса.

Так и произошло. Гуси, увидев собаку, подались к песчаной гриве. Укрывшись за березой, Тавет взвел курок. Но помешала мелькнувшая перед глазами веточка – она вдруг прикрыла мушку. Пришлось выскакивать на открытое место, время было потеряно, и он, конечно, промазал. Гуси тем временем отлетели уже далеко. Раздосадованный Тавет пнул носком болотного сапога не растаявший ком снега. И тут случилось непредвиденное: под снегом, видно, оказался какой-то пенек. Тавет от неожиданности потерял равновесие, споткнулся и начал падать. Инстинктивно отводя в сторону руку с заряженным ружьем, он нечаянно нажал пальцем на курок. Прогремел выстрел, и левое бедро пронзило резкой болью.

«Дурак! – выругал он сам себя. – Я же забыл поставить предохранитель!»

Кровь теплой струйкой побежала вдоль икры. Превозмогая подступившую сразу слабость, Тавет сел на ягель и стал стаскивать с себя сапог и толстые ватные брюки. Как хорошо, что он надел сегодня именно их: иначе весь заряд сидел бы в ноге!

Сильно шла кровь. Но вена, кажется, осталась неповрежденной. И почему только он не взял походную аптечку? Всегда берет, а сегодня, как назло, оставил в лодке... «Что же делать?» – лихорадочно думал он. И вдруг вспомнил: мать говорила, что внутренние пластинки березовой коры хорошо останавливают кровь. С их помощью она однажды спасла соседа, проткнувшего себе в лесу руку острым ножом-сёхаром.

Кое-как доковыляв до росшей неподалеку березки, Тавет отодрал кусок белой коры, отщепил прозрачную берестяную пленку и наложил на рану. Потом, разорвав нижнюю рубаху, перевязал бедро. Попробовал идти – но на раненую ногу ступить не смог. «Неужели задета кость? – Он снова опустился на ягель. – Да... в хорошее положеньице я угодил!.. – с горечью усмехнулся Тавет. – И главное – сам опять во всем виноват!»

Нужно добраться до лодки, но как? Ведь до нее не менее километра, а идти он не может... тем более по болоту, по кочкам... И еды с собой нет... Ведь мать приготовила, а он от нее отмахнулся: дескать, зачем лишнюю тяжесть таскать, к вечеру вернусь, поем. Боль в ноге становилась все нестерпимей. Но Тавет все же потащился к березняку, охотничьим ножом срезал молодое деревце. Расщепил его слегка посредине, сделал небольшую поперечину. Опираясь на это сооружение – нечто вроде костыля, можно было немного передвигаться. Но далеко, конечно, так не уйдешь.

Тавета охватило отчаяние. Вечерело. Солнце, словно рыба, купалось среди облаков. Скоро станет темно. Тавет почувствовал, что сильно проголодался. «Может, удастся подстрелить хотя бы утку? – подумал он. – Но ведь Ланги не допросишься за ней сбегать... Пустой номер!»

А чирки и шилохвости, как нарочно, то и дело низко пролетали над самой его головой. Не утерпев, Тавет все же сделал пару выстрелов. Две утки упали в болото.

– Ну! – с надеждой сказал Тавет крутившемуся неподалеку псу. – Ну же, Ланги! Сделай такую милость! Возьми уток!

Но собака, услышав просительные, ласковые интонации в голосе, подбежала к раненому хозяину и, ластясь, протянула ему правую лапу в знак особой благожелательности.

– Тьфу! – сплюнул со злости Тавет. – И в кого ты только такой уродился? Разве что в меня, дурака?

К счастью, чирки свалились неподалеку. Опираясь на костыль, Тавет все же сумел подобрать их. Кое-как развел костерок и бросил уток в раскаленные угли. Никогда в жизни жареный чирок не казался ему таким вкусным. Одного Тавет, поделившись с Ланги, съел, а второго оставил про запас.

Подкрепившись, он решил все-таки добраться до лодки. Пожалуй, надо идти по песчаной гриве. Это гораздо длиннее, но, по крайней мере, будет сухо, в случае чего и присесть можно, передохнуть – не то что в болоте.

Уже в сумерках Тавет двинулся в путь. Все небо заволокло тяжелыми черными тучами, дул холодный северный ветер. Не успел он пройти и сотни метров, как повалил снег.

– Скорее, Ланги, беги вон в тот ельничек. Зимовать будем! – сказал Тавет приунывшей собаке.

В ельнике они застряли надолго – до самого утра. Слава богу, удалось развести костер, да и чирок у них был. Еще раз перекусив, Тавет прижался спиной к улегшемуся Ланги, прикрыл себе ноги еловыми лапами и забылся тяжелым сном.

Проснулся он на рассвете, дрожа от холода. Снег перестал, а ветер, наоборот, усилился. Все кругом заволокло пеленой – уже не разберешь, где болото, где песок. Разворошив кострище, Тавет нашел несколько тлеющих угольков и снова развел костер. Идти дальше он пока не решался: пусть хотя бы уляжется ветер. Ланги заскулил. Крылышко чирка – не слишком обильный ужин для здорового, сильного пса, а на завтрак ни ему, ни хозяину не досталось и этого.

– Все четыре лапы у тебя в порядке. Промысли себе что-нибудь, – посоветовал Тавет собаке. И приказал:

– Иди! Ищи!

Лайка, порыскав в ельничке, нашла мышиные следы. Комья земли так и полетели в разные стороны, но мышиная норка оказалось пустой. Ланги, зарычав, помчался по гриве в сторону берега.

Одному Тавету стало совсем тоскливо. Нога болела все больше и больше – не началось бы заражение. Озноб сменился сильным жаром, явно поднималась температура.

Ланги не было довольно долго. Но каково же было удивление Тавета, когда он вдруг увидел своего пса... с увесистым зайцем в зубах!

– Ну, Ланги! – обрадовался Тавет. – Такого я от тебя не ожидал! Молодчина! Умнейший пес! Умник!

Неужели в собаке наконец проснулся инстинкт охотника? Или Ланги затравил зайца в порыве горячего желания помочь раненому хозяину?

Как бы то ни было, пища теперь у них есть, огонь тоже, а с этим ханты ни в какой тайге не пропадет. Теперь надо только набраться сил, а там видно будет, что делать дальше.

Тавет освежевал зайца, и вскоре над заснеженными болотами поплыл аппетитный запах жареного мяса.

– Шашлык на острове Горелом! – пошутил Тавет. – Будем его потом вспоминать, а, Ланги?

Пес ответил радостным заливистым лаем.

Еще через час Ланги приволок к костерку растрепанного ястреба-тетеревятника, и Тавет понял, откуда у лайки на носу глубокая ссадина: Ланги со свойственной ему хитростью воспользовался случаем. Ястреб терзал зайца, а пес, оказавшись свидетелем этой маленькой лесной трагедии, решил ее исход в свою пользу. В общей схватке досталось и ему.

– Молодец! – сказал Тавет и поцеловал собаку в теплую мордочку. – Ты, конечно, пройдоха, но друг настоящий. Спасибо!

Тем временем снова поднялась пурга. Утихла она лишь на следующий день. Тавет, превозмогая боль, тронулся в путь. Ему казалось, что он идет довольно быстро, но когда обернулся, увидел: ельник темнеет совсем рядом. Он со своим березовым костылем не протащился к полудню и четверти километра! Тавет чуть не заплакал, а вместе с подступившими слезами пришел и новый приступ слабости. Глаза заливал пот, хотелось пить. Пожевав снег, Тавет опустился на землю. Когда Ланги подскочил к нему, он обвязал его шарфом, а конец прикрепил к своему поясу. Теперь с помощью собаки, отталкиваясь локтями и коленом здоровой ноги, он медленно пополз к протоке.

К вечеру показался берег. Лодка была на месте. До нее оставалось не более сотни метров, когда Тавет вдруг потерял сознание.

Очнулся он от неистового собачьего лая. Над головой маячила кедровая ветка. Сквозь нее просвечивало серое небо.

– Ланги! Потише! – попросил Тавет. И подумал: «На кого это ты так расшумелся?»

Переведя взгляд в сторону берега, он оцепенел: возле лодки стоял огромный медведь.

Тавет нашарил двустволку. Слегка приподнявшись, достал из кармана патроны. Не успел он перезарядить ружье, как медведь, мотая головой, двинулся прямо к нему.

«Весна! – мелькнуло в мозгу Тавета. – Медведь голоден! Голоден, зол и опасен! Если промажу – конец».

Хозяина тайги явно раздражал собачий лай. Не натасканный на медведя, Ланги не слишком боялся зверя, но как вести себя – толком не знал. Он то подскакивал к берегу, то мчался обратно, а медведь медленно приближался к редкому кедрачу, где лежал Тавет. Метрах в десяти он вдруг взревел и встал на задние лапы.

У Тавета замерло сердце. Он положил палец на спусковой крючок и застыл в страшном напряжении. Ланги в страхе прижался к нему.

Неожиданно медведь развернулся и длинными прыжками устремился в лес.

Напряжение спало, но теперь Тавет вконец ослабел. Он распластался на ягеле, не в силах даже пошевелиться. И вскоре впал в новое забытье.

Сколько оно длилось Тавет не знал. День снова клонился к вечеру. И снова нестерпимо хотелось есть. Нащупав на земле кедровую шишку, он с трудом выколупнул из нее несколько прошлогодних орешков и сжевал их вместе с кожурой. Ланги тоже понюхал шишку, но есть не стал.

Вдруг со стороны реки донесся еле слышный рокот подвесного мотора. Лодка! Люди! Возможно, что Тавета ищут!

Теперь главное – дать о себе знать!

Тавет выстрелил в воздух. Шум мотора стал удаляться. Неужели не услыхали?!

– Ланги! – закричал он. – Голос! Песик мой, голос-с!!!

Вся надежда была только на собаку.

Ланги тотчас оказался возле лодки и залаял так, что у Тавета зазвенело в ушах, а с ближайшего болотца поднялись испуганные птицы.

Неужели и теперь не услышат?

Не услышали... Наверное, мешал ветер, относивший звуки в сторону от реки.

Мотор на мгновение притих, потом заработал снова. Было ясно, что лодка, обогнув Горелый, спускается дальше, вниз но течению.

«Наверное, просто для заправки останавливались», – подумал Тавет. И еще подумал, что протока, по которой они с Ланги добрались до острова, могла за эти дни обмелеть. Тогда на остров нет иного пути, как через более глубокую протоку Мекхот-Пухар, а это лишних полсотни километров. В поселке, поди, и не сообразят, что он подался в такую даль – ведь матери сказал: к вечеру, мол, буду дома.

Значит, выход один: во что бы то ни стало доползти до своей лодки.

Цепляясь руками за мокрую от растаявшего снега прошлогоднюю траву, он продвинулся немного вперед. Каждый метр давался ему с огромным трудом, перед глазами стоял туман, перехватывало дыхание. Но, кусая до крови губы, Тавет упрямо полз к лодке...

Наконец, сделав последнее неимоверное усилие, он схватился ладонью за корму.

Тут его ожидал новый удар. Рюкзак со съестными припасами – хлебом, чаем, маслом, сушеной рыбой, был разодран и пустой валялся на дне. Пробка бензобака выдернута, а сам бак свернут на сторону. Весь бензин вытек. Хозяин тайги похозяйничал здесь в свое удовольствие. Не такой уж он, значит, был голодный!

– Дьявол косолапый! – выругался Тавет. – Обобрал меня подчистую! Чтоб тебе провалиться!

Забравшись в лодку, Тавет примостился рядом с мотором. Идти на гребях? Но вряд ли у него хватит на это сил.

В лодку запрыгнул Ланги. Предвкушая поездку, он устроился на своем излюбленном месте – на самом носу.

– Зря радуешься! – усмехнулся Тавет. – Никуда мы не едем...

Какое-то странное безразличие вдруг овладело им. Нога словно закаменела – видимо, сильно опухла. Тяжелым туманом наползал сон. Откинувшись к заднему сиденью, Тавет уснул.

Ему снились бесконечные крутолобые сугробы, среди которых он скользил на своей дюральке, снился медведь, оскаливший клыкастую пасть. Протянув руку, Тавет хватал зверя за мощный загривок и силился позвать собаку: «Ланги! Ланги! Почему ты не помогаешь? Ланги!» Но язык не слушался, и пес лишь с недоумением глядел на хозяина. Наконец удалось крикнуть: «Ланги! Спасай!»

Видимо, он кричал во сне, потому что, вздрогнув, тотчас проснулся. Лайки в лодке не было, на берегу – тоже.

– Ланги! Где же ты? Ланги! – простонал Тавет.

В ответ лишь прошелестел легкий ветерок. Похожие на спины гигантских осетров отроги Полярного Урала розовели на закатном солнце. Кругом было тихо. Заметно потеплело, снег почти растаял.

«Куда могла подеваться собака? Неужели опять медведь?»

– Ланги! – еще раз тихо позвал Тавет. – Вернись, Ланги! Я же без тебя совсем пропаду...

Пес все не возвращался.

Но вот наконец за дальним мыском раздался собачий лай.

– Слава богу! – облегченно вздохнул Тавет.

Вскоре из-за кустов тальника, облепленный глиной и грязью, показался Ланги. Увидев хозяина, он взвизгнул и устремился к нему. Лизнув Тавету висок, снова умчался в лес. Потом опять прибежал. «Чему он радуется? – удивился Тавет. – Может, какую дичину промыслил?»

Но тут в реденьком кедраче, метрах в ста от берега, показался какой-то человек.

Тавет протер глаза: наяву или во сне?

Но человек быстро шел к лодке.

Тавет не удержался, заплакал...

– Ладно, ладно, успокойся! – сказал человек. – Теперь все будет в порядке...

– Это ты, Микипур? – улыбнулся сквозь слезы Тавет.

– Я самый, забыл, что мы с тобой в одной школе ребятишек учим? – засмеялся тот.

– Как же ты меня нашел?!

– Пса своего благодари! Я к родственникам на лодке ездил. Возвращаюсь мимо Горелого, смотрю, какая-то собака на крутояре сидит и волком воет. Подошел поближе к берегу, пригляделся, смотрю – Ланги! Э-э, думаю, что-то тут не так, с Таветом, видно, беда...

– Понимаешь, оступился, на курок нечаянно нажал...

– А ну, повернись, покажи ногу-то.

– Угораздило, понимаешь...

– Молчи, молчи, разговаривать потом будем. На охоте всякое бывает...

6

Пролежав месяца полтора в районной больнице, Тавет начал потихоньку ходить. К осени решилось, что его переводят на работу в город. Первого сентября уже надо было приступать к новым обязанностям, а квартиру еще не дали.

– Поживите пока в гостинице, – сказали Тавету в Гороно. – Потом с жильем все уладим.

«А как же Ланги? – сжалось сердце Тавета. – Для матери место в гостинице, конечно, найдется, но кто пропишет собаку?»

Стали готовиться к переезду. Вещи, книги, охотничье снаряжение – все в доме вверх тормашками.

Чувствуя какие-то перемены, Ланги с беспокойством крутился среди этого беспорядка.

– Ну что ты тут вертишься? – с досадой спрашивал его Тавет. – Иди погуляй! Не видишь разве, как мне тошно?

Ему и в самом деле было не по себе: куда девать собаку? Разумеется, в поселке есть кому приютить на время Ланги, а то и вовсе забрать к себе. Но ведь не всякой семье доверишь такого пса, как этот! Там грубоватый подросток растет, тут за собакой толком присмотреть некому, у тех вечный кавардак – и сами поесть вовремя не успевают, и Ланги не накормят.

Мать тоже нервничала. Ей трудно было расставаться не только с Ланги, но и с поселком, в котором прошла вся ее жизнь...

Как-то вечером к Тавету наведался его старый приятель – Логи.

– Узлы вяжешь? – спросил он, встав на пороге. – Давай помогу!

– Узлы-то я сам соберу, – вздохнул Тавет, а вот что с лайкой делать – ума не приложу. В город не повезешь, здесь тоже не придумаю, с кем оставить.

– Мало думаешь! – улыбнулся Логи. И присвистнул: Джек, ко мне!

В комнату вбежала тёмно-серая мохнатая дворняга. Ланги, поставив уши торчком, вытянул морду в сторону гостя. Потом, приблизясь к нему и обнюхав со всех сторон, добродушно оскалился.

– Вот видишь, – сказал приятель, – наши песики уже нашли общий язык. Почему бы тебе не оставить Ланги у меня?

– Хм, – отозвался в раздумье Тавет. – Это мысль!

– И неплохая.

– Правда, твой Джек бывает и агрессивным. Помнишь, как они однажды подрались с Ланги?

– Помню. Это когда ты у Джека попросил лапу, а твой красавец вздумал тебя ревновать? – Стал Джека отпихивать и сам мне лапу подал...

– А мой, конечно, такого нахальства не стерпел и пустил в ход клыки... Еле мы их растащили тогда.

– Что поделаешь, собачья дружба без драк не обходится.

– И не только собачья!

Они вышли на крыльцо покурить. Псы мирно играли во дворе. Решение было принято. Ланги оставался в поселке.

В день отъезда Тавет перетащил во двор к другу собачью конуру. Чтобы не возбуждать у Ланги никаких подозрений, он не стал с ним прощаться. А Ланги, увлеченный свежей костью, не заметил его поспешного бегства.

Мать с вещами ждала Тавета на пристани.

Подошел теплоход, идущий от Омска до Салехарда. Стоянка была недолгой – всего полчаса. Тавет грузил узлы, книги, чемоданы, а на душе было неспокойно. Он тоже вырос в этом поселке, работал здесь в школе, у него тут много друзей... Трудное дело – переезд на новое место... Угнетало Тавета и чувство вины перед любимой собакой. Пусть Ланги не худо пристроен у хо-

рошего человека, но все-таки тот для него не хозяин... И вряд ли Ланги привыкнет к нему...

Матросы уже собирались убирать трап, как вдруг на деревянные сходни метнулась чья-то лохматая тень.

Ланги!

Мгновенно сыскав Тавета в толпе пассажиров, пес забросил ему лапы на грудь. Он тяжело дышал, свесив язык, но глаза у него были счастливые. Еще бы! Ведь он нашел хозяина!

Мать заплакала и отвернулась. Тавет и сам с трудом сдерживал слезы. Он погладил лайку по упругой спине.

– Молодец, Ланги. Умнейший пес! Умник! А теперь иди, иди!..

Ланги в ответ лизнул Тавета в щеку.

– Знаешь что? – сказала мать. – Возьмем его с собой. Как-нибудь устроимся.

– Да! Возьмем! – обрадовался Тавет. – Конечно, возьмем! В это время раздался басовитый гудок теплохода. Расталкивая людей, к ним протиснулся помощник капитана. – Товарищ! Возить животных на пассажирских судах без намордника запрещено. Сейчас же уберите пса. Слышите?! Мы и так опаздываем!

Пришлось схватить Ланги за ошейник и спустить на дебаркадер.

– Держи его! – крикнул Тавет стоявшему на пристани Логи. – Держи покрепче! Я скоро за ним приеду! Счастливо!

Теплоход отчалил. Скрывшись в каюте, Тавет долго еще слышал душераздирающий вой своей верной собаки.

7

Прошло полтора года, Тавет с матерью жили в гостинице, обещанной квартиры все не было. За это время Тавет, как ни рвался, не смог выбраться в родные края повидать Ланги – дела не пускали.

Потом пришло письмо от приятеля.

«Должен тебя огорчить, – писал тот. – Не удается мне совладать с твоей лайкой. Поначалу вроде стала привыкать к нашему дому, но как гудок теплохода услышит, так сама не своя. Не ест, не пьет, Джека моего чуть не загрызла, когда он к ней сунулся. А в последнее время Ланги и вообще одичал. Пропа-

дает неделями. Часто видят его возле твоего бывшего дома. Тяжело мне про такое писать, ведь вроде сам вызвался за собакой приглядывать, но ничего поделать с ней не могу...»

Только следующей осенью удалось Тавету поехать в поселок. Прямо с пристани поспешил он к дому своего друга. Но собаки там не было...

– Секи повинную голову! Не знаю, где Ланги. Уже месяца два его не видел, – развел руками приятель.

Тавет побрел по знакомым улицам.

– Не видели мою лайку? – спрашивал он у каждого встречного.

Люди пожимали плечами – в северном поселке столько собак, разве за каждой из них уследишь?.. Но кто-то ему все же сказал:

– Старика Кулю знаешь?

– Это который на отшибе живет? – Да, подслеповатый такой.

– Знаю, конечно.

– Загляни к нему. Может, туда твой пес прибился? У него часто приблудные собаки живут.

Прибавив шагу, Тавет заторопился на топкую окраину поселка, где в бревенчатом пятистенном доме жил старый Куля. По дороге он заскочил в магазин, набил карманы печеньем и сахаром – побаловать Ланги, если он там. А для деда купил бутылку портвейна.

Ланги действительно оказался у Кули.

Но лучше бы Тавет его не видел.

Нечто всклокоченное, облезлое, тощее лежало, растянувшись, на деревянном крылечке. Если бы не белая отметина, похожая на бабочку-капустницу, Тавет не признал бы Ланги.

Ошеломленный, он присел на корточки, погладил собаку по костлявой спине и с ужасом заметил, что в темно-серой шерсти белеют седые волоски.

– Ланги, – шепнул он. – Бедный мой Ланги...

Пес даже не шелохнулся, только скосил на него гноящиеся глаза.

– Умнейший пес. Умник...

Эти некогда такие вожделенные слова, казалось, что-то пробудили в собаке. Она поднялась, села и потянула носом воздух.

Но видно, и запах Тавета был уже не таким, как прежде, – Ланги, зевнув, снова улегся на крыльце и безучастно уставился в одну точку.

– А, это ты, Тавет? – послышался старческий голос. В дверях избы стоял старый Куля.

– Здравствуйте, – сказал Тавет.

– Здравствуй, здравствуй. Значит, снова в наших краях? Дед присел на рыбный ящик, достал прокуренную до черноты трубку.

– Так, так... Соскучился, значит, по родным местам? – вздохнул он. – Не надо было уезжать. Я вон всю жизнь на одном месте сижу... Здесь родился, здесь и помру. Теперь уж скоро. Ноги не держат...

Голубой табачный дымок поплыл над болотцем. Тавет молчал, не зная, что сказать. На душе у него было тяжко.

– Собаку-то свою признал? – продолжал Куля, – постарела она. Глухая стала, слепнет, вроде меня. Жаль, жаль... Хороший, говорят, был пес. Он ведь тебя однажды от верной смерти спас, когда ты себе на Горелом прострелил ногу. Было такое?

– Было.

– Да-а, вот так-то.

Дед умолк, посасывая свою трубку. Тавет вручил ему портвейн, а печенье и сахар положил на крылечко под самую морду задремавшего пса.

– Привязался ко мне, – дед ткнул пальцем в сторону собаки. – Заявился однажды – вот и живет. Я его не гоню. Мы с ним как раз пара – последние денечки на белый свет смотрим...

– Ланги! – снова наклонился к нему Тавет. – Пойдем со мной! Я ведь за тобой приехал. За тобой, слышишь?!

Старик встревожился.

– Что это ты надумал? Пес совсем плох. Только измучаешь его в дороге. Да и меня последней радости лишишь. Я привык к нему, все не один в доме.

Ланги тем временем проснулся и захрустел печеньем. Но и ел он как-то вяло, без удовольствия, не выражая ни малейшей благодарности. Тавет был уже для него никем.

«Да, – подумал он, – животное, как и человек, не прощает измены».

– Видишь, – кашлянув, сказал дед. – Не признает он тебя. Оставь уж его здесь, не мучай...

На следующий день Тавет уезжал. На пристань проводить его пришел Логи со своим Джеком, а в последнюю минуту у дебаркадера появился вдруг старый Куля. За ним понуро плелся Ланги.

– Смотри, кто пришел! – сказал Логи. – Поднимайся скорей на трап!

Теплоход дал гудок. Лайка дернулась и бросилась к реке.

– Ланги!!! – изо всех сил закричал Тавет. – Прощай! Прости меня! Умнейший пес! Умник! Пальцы его, вцепившиеся в поручни, побелели. Горло сдавил горький тугой комок.

Пес с размаху влетел в холодную воду. Белое пятнышко на его мохнатой груди в последний раз мелькнуло перед глазами Тавета.

Через несколько минут на поверхности реки можно было разглядеть лишь вспененные буруны от винтов теплохода.

С берега что-то кричали Логи и старик Куля, но скоро и они скрылись из виду.

Когда за излучиной реки показался остров Горелый, Тавет ушел в каюту. Лег на койку лицом к стене и пролежал так, не двигаясь, до самого вечера.

Вопросы и задания

1. Составьте характеристику Тавета – героя повести Р. П. Ругина «Ланги».
2. Какие эпитеты, характеризующие Ланги, использует Ругин в повести?
3. Можо ли утверждать, что белое пятно в виде бабочки-капустницы на теле Ланги – это символ его чистой, всепрощающей, верной души?
4. Какие надежды связывал Тавет с Ланги? Почему эти надежды не сбылись и кто в этом виноват?
5. Какой прием использует Р. П. Ругин во фрагментах противостояния Ланги и Рэкса, Ланги и деревенских собак?
6. Почему мать Тавета привязалась к Ланги? Какое заклятие она над ним читала?
7. Какой временной промежуток охватывают события, о которых идет речь в повести? Поясните свой ответ.
8. Можно ли считать предательством поступок Тавета, когда он оставил Ланги в деревне, а сам уехал?
9. Можно ли утверждать, что в повести Р. П. Ругина собака оказалась нравственно выше человека: не способной на предательство, простившей предательство хозяину? Обоснуйте свое мнение.
10. Можно ли говорить о том, что автор высказал свое мнение в повести устами одного из героев – старика Кули?
11. Определите сюжет и композицию повести.
12. Согласны ли вы с мнением исследователей, которые утверждают, что в повести «Ланги» Р. П. Ругин развивает анималистические традиции и напонимает нам истину, озвученную Сент-Экзюпери в «Маленьком принце»: «Мы в ответе за тех, кого приручили»? Аргументируйте свой ответ.

СОРОК СЕВЕРНЫХ ВЕТРОВ

В Месяц Ледохода, перед началом весенней охоты, решил Арсин проверить свою избушку на острове Шиян: не побывал ли в ней какой чужой человек, на месте ли теплые оленьи шкуры, посуда, лыжи, кисы и всякая иная охотничья принадлежность. Много в последнее время объявилось любителей поживиться за чужой счет – и местных, что помоложе, и приезжего люда, будто и не слыхавших о добрых вековых традициях. Мало того что заберутся куда не надо из баловства, они еще и след поганый после себя оставят: побьют, поломают, раскидают как попало все, что под руку подвернется, – и посуду, и припас, и утварь, а взамен, в насмешку, бросят пустые бутылки из-под вина. Бывает, еще и прихватят с собой что-нибудь из наиболее ценного, а то и вовсе охотничий стан подожгут. Вон, как у его соседа Иприня прошлой осенью...

К счастью, Арсина до сей поры Бог миловал. То ли потому, что избушка его пряталась в самой глубине острова и знали о ней только жители ближнего поселка, то ли потому, что на лодке добраться до нее можно было лишь по большой воде – весной или летом. А по суше, да еще не зная точного места – вряд ли кому найти, если, конечно, случайно на нее не наткнуться...

К немалой радости Арсина, в его избушке и на этот раз все было так, как оставил он в Месяц Ветров. Опытным глазом таежника сразу определил: с тех самых пор, то есть с марта, никто в его избушку не наведывался.

С утра, пока наст хорошо держал лыжи, Арсин заготавливал на тальниковом мысу хворост, свозил на легкой нарте к зимовью. Старую железную печку, прогоревшую за долгие годы так, что

при топке из стенок ружейными залпами летели искры, заменил на новую, чугунную. Новая, конечно, была тяжеловата, громоздка (ни за что бы не переправить ее сюда, если б не лошадь), зато грела отменно – избушка вмиг наполнялась теплом. Спасаясь от жары, Арсин даже вышел на улицу малость охолонуться на любимом своем месте, на толстом, почти в два обхвата комле старой ели – «диване», как он его называл. Он решил так: сейчас немного отдохнет, потом переберется опять на тальниковый берег реки и уже оттуда доедет на своем мерине Бура-

не до родного селения Порават. Наберет продуктов, а через недельку, по заберегам, приплывет сюда на лодке на весновку: половит в протоках шуку, язя, окуня, а заодно спокойно тут в тиши и поохотится.

Хорошо было Арсину на его «диване» рядом с приземистой охотничьей избушкой. Он стащил с себя суконный гусь, свернул его, положил под голову, расстелил уже изрядно повытершуюся оленью шкуру и улегся, подставив лицо теплым лучам весеннего солнца. Эта огромная ель, из которой получилась такая удобная лежанка, простояла здесь, по словам его отца Марата, несколько веков. Предки Арсина, особенно дед Калой, любили ночевать под ее раскидистой кроной во время весенней охоты или летней путины. Широкие густые лапы надежно укрывали их от затяжной осенней измороси, от проливных грозовых дождей.

Лет десять назад, приехав сюда по весне, увидел Арсин многовековое дерево лежащим на земле. Видно, силен был пронесшийся шквал, раз пообломал вершины старых кедров, а могучую ель даже выворотил с корнем...

По-хозяйски распорядился Арсин полувысохшим, сполна прожившим свой век лесным великаном. В один из приездов он вместе с женой распилил ель на дрова, и дров этих надолго хватило для обогрева вот этой избушки, которую ставили они вдвоем с отцом еще до войны. Только самую толстую часть ствола, почти от начала корней, длиной, наверное, метра в три, Арсин оставил. Он аккуратно, с небольшим выемом подтесал толстенное бревно – так вот и получился его «диван», на котором хорошо отдыхать в весенние солнечные дни, когда не бывает еще ни нудных комаров, ни назойливых оводов.

Рядом, в двух шагах, потрескивал костер, подле которого свернулась калачиком его верная охотничья лайка Акар. Вообще-то, слово «акар», если перевести, означает овчарка. Коричнево-рыжий пес, родившийся от породистой сибирской лаечки, и в самом деле многое унаследовал от папаши Рекса - немецкой овчарки, которую держал продавец магазина у них в поселке. Арсин долго натаскивал своего Акара, чтобы привить ему качества охотничьей сибирской лайки. А все же больше у него было от овчарки: крупная голова, мощные, с крепко поса-

женными зубами челюсти, грозный взгляд, зычный раскатистый лай, приводивший в трепет все зверье, оказавшееся поблизости. Да и люди – тоже по возможности старались обходить Акара стороной, подальше.

Арсин расслабленно посмотрел на пса, прикрывшего нос хвостом, на свою окруженную молодыми березками избушку, срубленную из тонкомерной лиственницы, и мысли его сами собой перенеслись в тот день, когда они с отцом закончили ее строить.

– На твой век хватит, да еще и сыновьям твоим останется, - радостно приговаривал отец, навешивая дверь, которую сколотили они из сплавных досок. – Смотри, какая надежная. Когда свой теплый уголок есть – легче и думать, и дышать, да жить безопасней. Все же лес – разному зверю приют дает!..

Весной это было... Арсину только-только восемнадцать исполнилось, крепкий был, в плечах широкий и – что самое приметное – русоволосый (это редко у ханты бывает), с необычно белой, как у отца, кожей. Не зря их род «белокожими людьми» называли.

И вот теперь Арсин, уже поседевший, глядел на свою избушку, исхлестанную жестокими северными ветрами, иссеченную снежными буранами, выгоревшую под летним полярным солнцем, и, как всегда с ним бывало в такие минуты, невольно вспоминал события, свидетелем которых был этот домик. Воспоминания, как след топора на стволе молодого деревца, врубились в его память на всю жизнь, и годы не в силах оказались стереть их...

Так и думал бы Арсин свои думы под ласковыми лучами щедрого весеннего солнца, слушал веселый пересвист снегирей,

если бы не подал вдруг голос верный Акар. Арсин насторожился, вслушиваясь в шелест тайги: какие-то новые звуки вплелись в них. Он стянул с головы выдровую шапку, весь обратился в слух. Что за чертовщина: за спиной, со стороны талого берега, раздавалось хорканье важенок, потрескивание под копытами оленей молодого ледка на заберегах, бульканье воды...

«Откуда здесь быть оленям?! – Арсин в недоумении приподнялся на своем «диване». – Последнее стадо, кажется, еще

неделю назад на Каменную сторону* переправилось. Вроде стадо Ребася Ипринь было...»

На всякий случай Арсин сердито прикрикнул на Акара:

– Тихо. Сиди – и ни с места!

Но потом этого ему показалось мало – Арсин подозвал пса и длинной капроновой веревкой привязал его к стоявшей рядом березке.

– Так оно надежнее будет, – сказал он. – А то кинешься – не дай Бог, еще разгонишь. Мастер на глупости-то, оленей стеречь не приучен...

Бульканье воды под копытами и хорканье становились все громче, все слышнее, и Арсин, еще не видя оленей, понял, что на остров переправляется довольно большое стадо. Чтобы убедиться в этом, он решил залезть наверх по лестнице, сооруженной для обзора окрестности еще тогда, когда строили с отцом избушку. На две стоявших рядом лиственницы они набили с десяток прочных поперечин – получилось надежное сооружение, служившее исправно вот уже почти пять десятков лет; так иногда – заменит только подгнившую от времени перекладину...

Оттуда, сверху, остров виден был как на ладони. Да, он не ошибся: со стороны талового берега Малой Оби, от мыса Хул-Лойты-Посл, переправлялось через забереги большое оленье стадо.

Еще не было подвижки льда, и забереги оставались пока узкими и мелкими: даже отсюда было заметно, что вода едва достигает брюха животных. Рядом с некоторыми важенками семенили только-только появившиеся на свет оленята; Арсин видел, как нерешительно пускались малыши вплавь, слышал, как усиленно при этом хоркали важенки, давая, очевидно, сигнал следовать за ними.

Арсин пастухом почти не работал, мало имел дело с оленями, но своим наметанным охотничьим глазом прикинул, что в стаде не меньше двух-трех сотен голов. Он подумал, что кто-то гонит отбившихся оленей: неделю назад два дня подряд бе-

---

* Каменная сторона – Уральская сторона Оби.

силась пурга, и немудрено было животным в такую непогоду отбиться от основной массы.

«Да, но почему тогда не прокладывает дорогу стаду оленья упряжка? Кто-то же обязательно должен быть, – размышлял Арсин. – Если есть пастухи, почему тогда не слышно собачьего лая? Как-никак, а переход через забереги – шибко ответственный момент, не дай Бог, олени в стороны разбегутся...»

Арсин знал, как перегоняют стада, и оттого все, что происходило сейчас на его глазах, было так необычно и непонятно. Он решил набраться терпения, не гадать больше, а подождать, пока переправятся последние олени. Может, пастух один, едет в упряжке сзади, следуя за стадом. Может, животные и сами хорошо дорогу знают – не раз, чай, переправлялись здесь на Каменную сторону... тогда пастух, конечно, может и позади быть...

Однако вот перебрались через забереги последние важенки с оленятами, и все, – со стороны мелкого тальника, откуда вышло стадо, больше никто не появился.

Арсин подождал на всякий случай еще, внимательно оглядел далеко выдававшийся в реку тальниковый мыс, похожий на длинную шею гагары, и, так и не обнаружив больше в кустах ни одной живой души, слез со своего наблюдательного пункта.

– Кой! – сказал он сам себе, подходя к нарточке и усаживаясь на ней. – Ничего не понятно! Целое стадо – и без пастуха! Никак в голове моей не укладывается. Разве можно не заметить такую большую пропажу? – Арсин вытащил потертый кисет и как следует набил трубку. – Кой, кой! – продолжал рассуждать он, пуская густые струи дыма. – Редкий случай, ни разу еще, сколько живу, не видел такого. Десяток оленей пропало – можно не доглядеть, а если сотня... Как это прозевать целое стадо?! Кой! Или в бригаде все вымерли, или все пьяные. Что они там, пастухи, с ума посходили?!

Арсин делал долгие затяжки, гладил в задумчивости подбородок, тер морщинистые щеки.

– Я-а! – вдруг всполошился он. – Что же я сижу-то?! Как неживой все равно! Надо же что-то делать, иначе олени с острова еще дальше уйдут. На Уральскую сторону переправятся. В тайгу. Тогда, считай, совсем потерялись!.. Разбрелись по тайге, рас-

теклись, как ручейки, а там, глядишь, кого волк, а кого и медведь подкараулил. А которого не подкараулил – тот одичал. Попробуй, поймай тогда. Нет, надо как-то задержать олешков на острове. Обязательно задержать!

Арсин чуть не вскочил с нарточки, готовый бежать, что-то делать, но тут толкнулась в его голове, подобно могучему корявому осетру, внезапно всплывшему из воды, новая мысль:

«Погоди-ка, погоди, семь мудрецов старины, – вспоминал он, лихорадочно размышляя о том, что сейчас делать, свое любимое выражение. – Ну, хорошо. Задержу я стадо здесь, на острове. Ну, и что дальше? Островок-то крохотный, корму на нем – ну, ягеля там, прошлогодней травы – совсем мало. Правда, есть еще кора тала. Но, опять же, все это дня на три-четыре. А дальше что? Пусть голодной смертью помирают? Как раз за эти три-четыре дня вода и поднимется – вон уже как прибыло... – Арсин опять скинул шапку, растерянно почесал полысевшую седую голову. – Кой, кой! Через три-четыре дня убереги ох как свои щеки надуют! Вряд ли важенки с телятами пойдут в такую ледяную воду...»

А теперь, пожалуй, и не удастся повернуть оленей назад, угнать с Шияна...

«Они небось потому и переправились на остров, что приняли его за коренной берег реки, – подумал Арсин. – Да, теперь их, да еще без собаки (на своего Акара он в этом деле не полагался), обратно не отгонишь. Никак!»

Арсин выколотил трубку о перекладину нарты, не думая ни о чем, кроме нежданно появившихся здесь оленей, вскочил, прошелся взад-вперед перед избушкой.

«Значит, выходит дело, один путь остается: караулить на острове. А там... дальше – дальше видно будет. Глядишь, и пастухи появятся. Должны же они опомниться, должны заметить, что у них половины стада нет...»

Конечно, не было у него никакой уверенности, что пастухи появятся быстро: ведь они могли – после такой-то пурги – искать оленей совсем в другом месте, но все равно... Арсин уже принял решение: пока нет хозяев, он, подчиняясь стечению обстоятельств, сделается пастухом. А какой еще может быть выход? Не погибать же оленям, верно? А он подождет – если не

пастухов (что было бы лучше всего), то хотя бы кого-нибудь из ближайшего селения – чтобы было с кем передать весть в контору совхоза. Конечно, сюда вряд ли кто заявится, пока не пройдет лед. А до ледохода, по прикидкам Арсина, оставалась неделя, ну, самое большее -дней десять.

«Ну что ж, будем, значит, пастушить, семь мудрецов старины!» – твердо подвел черту Арсин. Первым делом он подошел к мерину, подобрал раскиданное вокруг сено, сгреб его в кошевку: теперь надо ух как корм экономить. Хотя и стоял около избушки начатый стожок – Арсин каждое лето заготавливал, – но там его оставалось всего, наверное, с центнер, так что разбрасываться сеном никак нельзя...

А олени были уже совсем рядом, за кустами рябины и тала, подступавшими к самой реке. Стадо, как и предполагал Арсин, не задержалось там; манимые хвойными деревьями – настоящим лесом, в котором, как говорил животным инстинкт, они могут отыскать ягель, олени, с шумом раздвигая ветки, подступали к нему все ближе и ближе. И вот уже из-за старого, наполовину засохшего куста тала, выдыхая клубы пара, вышла прямо на Арсина пестрая важенка с ветвистыми рогами, наверное, вожак.

Тут же заскулил, заметался на своей веревке Акар, громко залаял. Важенка от неожиданности стала как вкопанная, вскинула вверх голову, подняла торчком хвост – видно, готова была сорваться с места, увести за собой все стадо.

Но и Арсин был начеку: в этот самый миг он издал короткий, хорошо знакомый оленям, успокаивающий их звук. «Хо-хо-хо», – выдохнул он. Важенка огляделась еще раз, обернулась назад, на шум приближающегося стада, принялась медленно скалывать передними копытами зернистый снег, искать ягель.

«Вот и ладно, – подумал Арсин. – Первое знакомство состоялось. Заводила меня приняла – значит, не испугаются и остальные».

Он взял с нарты широкие, обносившиеся на весеннем насте охотничьи лыжи, поставил их на снег. Акар тут же заскулил, радостно завилял хвостом, попытался было снова подать голос, но Арсин цыкнул на него грозно, и пес послушно приткнулся возле березки.

В это время на поляну начало наплывать все стадо. Увидев человека, каждый олень ненадолго поднимал голову, смотрел на Арсина, на бревенчатую избушку, на запряженную лошадь и особенно долго на могучего пса, словно пытаясь сообразить: не исходит ли опасность от этого зверя, так напоминающего волка и совсем не похожего на тех низкорослых лаечек, что веками окарауливали оленьи стада в тайге и тундре.

Олени все шли и шли, и Арсин окончательно убедился, что все это были стельные важенки, которых к весне специально отделяют от основного стада, чтобы драчливые хоры-самцы не мешали им спокойно рожать детенышей.

Арсин насчитал, наверное, с десяток важенок с маленькими, видно, только что появившимися на свет телятами, которые, не успев еще толком окрепнуть, плелись за матерями, едва переставляя тоненькие, будто точеные, ножки. А всего важенок, шедших то редкой цепочкой, то тесной гурьбой, по его прикидке, оказалось здесь не менее трех сотен. Арсин вначале даже пытался считать их, но вскоре сбился – олени обтекали его уже с обеих сторон. У некоторых важенок болтались на шее бубенцы, и звук их, сливаясь, голосистым ручейком раздавался между деревьями. Но вскоре звон бубенцов поутих, и Арсин понял, олени нашли ягель, остановились и теперь кормятся. Да только надолго ли хватит здесь ягеля?! Он хорошо знал свой остров – исходил его вдоль и поперек. Много ли могло вырасти мха на единственном тут пятачке хвойного леса – всего в километр длиной да с полкилометра шириной? Правда, на острове был еще тальниковый мыс, вытянувшийся примерно на полверсты. Здесь было изобилие тала, рябины, прошлогодней сухой осоки, пырея – в бескормицу олени не брезговали и такой едой, но ведь то в основном летом и осенью, когда и травы, и тальниковая кора были еще сочными и питательными.

«Как же быть-то?» – ломал голову Арсин. И двести голов, как он определил сначала, немалое стадо, – а уж триста... Ягеля на острове хватит на день, самое большее на два, – а дальше? Дальше оленям придется перейти на необычный для них рацион: сухую прошлогоднюю траву, зимнюю кору тала... Но ведь и этого здесь дня на три, не больше... А потом?»

Арсин, хотя и мало кочевал со стадами, но, как всякий северянин, знал, что олень животное на редкость неприхотливое и выносливое – дней пять, а то и неделю может обходиться без всякой еды, было б только чем утолить жажду... А тут, на острове, кроме всего прочего, одни важенки, которые вот-вот должны отелиться, им в эту пору нужен самый что ни на есть питательный корм...

От этих размышлений Арсину становилось не по себе. Вот попал в переплет! Доверили стадо каким-то разгильдяям, они его упустили, а он теперь неси за это ответственность. При чем тут он? Да случись что – какой с него спрос-то?

«Только вот как же их теперь бросишь, – думал Арсин. – Живые ведь твари! И потом – они ж совхозные... Упустил разгильдяй, так почему из-за него должны страдать все? Если б еще быки... с теми попроще, наверно, было бы... А тут все важенки, да стельные... А он ведь тоже в совхозе работает... Господи, как же их в такой беде бросишь? Как грех на душу возьмешь? Оленят одних враз сколько погибнет...»

Конечно, если быть честным до конца, Арсин немного преувеличивал, когда говорил о себе мысленно, что он тоже в совхозе работает. Работал... Всю жизнь в меру своих сил работал, хоть и вернулся с войны инвалидом, не лодырничал... Это уж он теперь, когда подошел пенсионный возраст, вот уже третий год занимается, как сам говорит, «личным делом». Но если совхозу надо – он всегда поможет, ни от какой работы не откажется...

«Ведь это ж в голове не укладывается! – говорил Арсин сам с собой. – Три сотни важенок! А после отела – еще столько же добавляй! Целое стадо, да какое стадо! Ведь это даже подумать

нельзя, что такое богатство погибнуть может! Никак нельзя. Никогда сердце не согласится. Придумать бы только что с кормами... А там пастухи подъедут, поди, уж ищут пропажу...

Арсин сунул тоборы в размокшие от талого снега кожаные ремни лыж, по привычке прихватил под мышку легкий топор, взял еще на всякий случай деревянную лопатку – сонгхеп: решил, пока есть возможность, не торопясь обойти стадо, остановившееся на кормежку.

Перед тем как отправиться в обход, Арсин, подумав, связал для Акара специальный намордник из веревки, чтобы тот не

лаял почем зря и не исхитрился бы перегрызть привязь. Да, Арсину теперь обо всем надо заранее думать: если пес сорвется – может случиться беда. Не обученный пастушьему делу, пес разгонит стадо в один момент – и где тогда искать важенок? Где искать оленят, которых они с перепугу могут скинуть в любом месте...

Время шло к полудню, наст под весенним солнцем отмяк настолько, что порой не выдерживал тяжести, и тогда лыжи Арсина с глухим шумом уходили глубоко в снег. Он осторожно вытягивал лыжи из-под навалившихся на них зернистых глыб, медленно двигался дальше. Олени, как и в самом начале, при его приближении поднимали головы и, пережевывая ягель, окидывали недолгим взглядом: потом, словно убедившись, что это тот самый человек, который встретил их, вновь тянулись губами в нарытые в снегу глубокие ямы. Арсин понял, что животные все же побаиваются его, стараются держаться на безопасном расстоянии. Теперь он беспрестанно покашливал, когда подходил к очередной группе. Так обошел он все стадо и понял, что животные, подобно разлившейся воде, успели уже разбрестись по всему островку.

Вернулся он к своей избушке изрядно вспотевший. Опять же, не касаясь ремней руками, скинул лыжи, стащил через голову малицу, положил на нарточку. Оставшись в одной вельветовой куртке, стряхнул прилипшую к плечам оленью шерсть, расстегнул молнию.

– Вот хорошо когда. Самый раз, – пробормотал облегченно, глубоко вдыхая весенний бодрящий воздух. – И освежусь маленько, и мозги заодно проветрятся.

Он не боялся простуд, и вот такое сидение на весеннем солнце, когда после работы ли, ходьбы ли на лыжах можно охладиться, скинув с себя меховые одежки, всегда доставляло ему удовольствие.

Но до удовольствий ли было Арсину теперь, когда ему не давали покоя мысли о том, как сохранить стадо, дать важенкам возможность нормально отелиться и суметь продержаться до тех пор, пока не придет подмога...

Почувствовав, что освежился, Арсин снова надел малицу. Тело, начавшее было мерзнуть, быстро согревалось. Сидя на

нарте, он думал о том, что как ни мало разбирается в пастушеском деле, а все же знает: олени, остановившиеся на кормежку, первые сутки, пока ягеля много, особого беспокойства проявлять не будут и, если их ничто не спугнет, никуда не тронутся с острова, где нашли наконец долгожданное пастбище.

Арсин решил, что до вечера больше не будет тревожить стадо. Немного успокоенный, он зашел в избушку, налил себе из чайника, стоявшего на чугунной печке, полную кружку чая и, прихватив две сушки, вышел на улицу. Слегка подкрепившись, улегся на свой любимый «диван».

«Да, деваться некуда, – пришел он к окончательному выводу, – придется пожить в избушке, подождать пастухов. Все же следы целого стада даже пурга ни в какой карман не упрячет. Обязательно не сегодня завтра появятся хозяева стада. А уж тогда можно будет и домой податься. Главное – успеть бы до паводка...»

Он снова бросил взгляд на свое лесное жилище, и теплая волна окатила сердце – столько всего с ним связано было! А уж кажется, что в ней особенного, в этой избенке? Поверх толя, которым она покрыта, все еще лежал нетолстый слой снега. На коньке прибиты ветвистые рога семилетнего сохатого – несколько лет назад он добыл его здесь, на острове... Рога очень понравились тогда жене, она и уговорила приколотить их на крыше...

Жена... При одной мысли о ней поплыли перед глазами, словно вереницы колданок по широкой глади реки, незабываемые картины, оживляя в душе давно ушедшие в прошлое дни его жизни...

Арсин улегся поудобнее, подпершись рукой.

«Эх, избушка ты моя избушка! – думал он. – Сколько еще нарядных кисов, сколько охотничьих тоборов переступят твой порог после меня? Сколько снегу стряхнут с малиц завтрашние люди, зайдя под твою крышу? Сколько налипшей глины смоют с резиновых сапог другие охотники? Эх, если бы знать... Конечно, хотелось бы, чтоб переступали порог твой люди с хорошими, добрыми мыслями, чтобы радовала ты их, чем могла, давала кров и пищу. Чтобы хранила добрую славу. И как утешение мне, помогала бы людям поминать меня добрым словом... Был, мол, такой человек Арсин. Охотничал, рыбачил, зла никому не

делан... А может, найдутся и такие, которые под этой крышей догадаются и о моей весновке с любимой. С Таясь... Ох, наделала тогда Таясь переполоху в маленьком селении Порават! Весь поселок, казалось, перевернула тогда вверх дном... Покойницы на кладбище возле речушки Нарпенг-Ёхан – и те, по-моему, вздрогнули...»

Арсин лежал, вздыхая, на своем «диване», а думы его были сейчас далеко-далеко...

Шла первая военная весна.

Арсин после тяжелого ранения, после госпиталя, возвращался с фронта. Насколько коротка была прошлой осенью дорога на фронт, лежавшая через Омск, где шло формирование их части, настолько долгой казалась она ему теперь, когда он торопился домой. Конечно, он мечтал побыстрее увидеть мать, отца, сестер, братьев, но больше всего спешил к ней, к своей Таясь: ни днем, ни ночью не забывал он о первой своей любви.

Он ехал и думал о том, как они встретятся, заглядывал в будущее; охваченный могучим чувством, Арсин вновь, как и до фронта, казался себе крепким и здоровым парнем, способным, подобно сказочному герою Ими Хилы, вершить чудеса и подвиги. Вот только быстрее бы попасть в родные края, домой. Быстрее!..

Не раз пытался представить себе встречу в родном селенье, но ни одна воображаемая им радостная картина не устраивала его до конца – душа ждала чего-то большего, чего-то совсем необыкновенного: ведь дома-то наверняка считали его давно погибшим! Даже и похоронку уже послали, об этом ему один однополчанин сказал, с которым случайно встретился после госпиталя. Они считают его погибшим, а он живой, живой!

Конечно, у них там, в части, были все основания считать Арсина погибшим. Не успел он попасть на фронт, как их сразу бросили на прорыв. И вот во время форсирования какой-то реки – он и названия-то не запомнил, мина угодила в лодку, на которой переправлялся Арсин. Последнее, что он помнил – как схватился за какой-то обломок... Но, видно, хранила Арсина любовь – контуженого, потерявшего сознание, его прибило к берегу, местные жители подобрали, выходили, а потом, когда немного

окреп, переправили к партизанам. И тут, в калининских лесах, Арсин снова встал в боевой строй.

Охотник, вскоре он прослыл первым снайпером в партизанском отряде. Свыше двух десятков фашистов отправил Арсин в могилу, пока в одном из боев сам не получил осколочное ранение в правое предплечье. Поврежденным оказалось и легкое, и Арсина с первым же самолетом отправили на Большую землю. Почти три месяца провалялся он в госпитале, перенес две операции, а потом его комиссовали...

За все то время, что был в армии, только раз, со сборного пункта под Омском, послал домой весточку, да и то просил написать одного из товарищей – сам-то он, хоть и кончил курсы ликбеза, грамоту толком не уразумел. Так – расписаться только да прочесть вывеску... Потом – и в партизанском отряде, и в госпитале – не раз думал о том, что надо бы отписать домой: жив, мол, здоров, чего и вам желаю... Но ведь отписать – это значит опять просить кого-то, – а другому человеку разве откроешь самое сокровенное? Когда узнал, что его комиссуют, успокоился: скоро сам увидит родных, сам им все расскажет – чего ж писать-то про то, что ранен, лежит в госпитале, лишний раз огорчать близких. У них, поди, жизнь сейчас и без того нелегкая. Так и не написал ничего...

...Курсы ликбеза он кончал перед самой войной, в селенье Шурышкары, где находилась самая близкая от него семилетняя школа. Вот там-то Арсин и встретил Таясь – девушку из соседнего поселка Ванды.

Они были одногодки, только училась Таясь не на курсах, а в школе, в седьмом классе.

Встретил ее Арсин – и весь мир словно бы перестал для него существовать. Будто и не было для него той весной ни прилета пернатой дичи, когда после долгой зимы наступает пора долгожданной охоты, ни Месяца Прихода Вонзя, когда поднимаются с Обской губы косяки рыбы (а уж его-то значимость ханты издавна равняют с молоком материнской груди). Только она, Таясь, только эта внезапно вспыхнувшая любовь. Будто крылья орлиные у Арсина выросли; кровь бурлила в нем, подобно соку весенней березы...

Чутье влюбленного подсказывало Арсину, что и девушка неравнодушна к нему, может, даже любит его. Но он все же сомневался: а вдруг ему только кажется?..

На этот вопрос могла ответить только сама Таясь...

Он мечтал о случае, который поможет ему объясниться, рассказать ей все, – но где его взять, этот случай? Если бы он учился с ней в одном классе! Он каждый день видел ее и в школе, и в интернате, где она жила, но там Таясь всегда была в окружении подруг.

И вот однажды ребята расчистили на реке ледяную площадку, да такую, что из одного конца в другой стрела бы не долетела.

Интернатские здорово гоняли на этом катке, и, увидев среди них Таясь, Арсин кинулся искать коньки. Он думал, что на коньках ездить так же просто, как на охотничьих лыжах, к которым каждый ханты с детства приучен. Но и шага он не успел сделать, как тут же на лед грохнулся. Раздался звонкий, как олений колокольчик, смех, и тут же над ним, протягивая руку, склонилась стройная девушка. У него даже голова слегка закружилась – это была Таясь! С ее помощью Арсин кое-как поднялся, встал на ноги, но когда, глядя, как это делают другие ребята, снова попробовал хоть немного проехать, правая его нога вдруг заскользила куда-то сама по себе, и он снова упал. Девушка опять рассмеялась, поднимая его.

Когда он рухнул в третий раз, Таясь сжалилась, сама вызвалась научить его кататься. Ох, до чего же тяжело давалась ему эта наука! Арсин уставал так, словно гонялся целый день за хитрой росомахой, петляющей по глухой тайге. Поначалу он только и делал что падал и вставал, и снова падал, увлекая за собой свою учительницу. Как-то раз одну его ногу занесло так, что он резко и неожиданно развернулся лицом к Таясь, и она поневоле оказалась в его объятиях. На Арсине была теплая неблюевая безрукавка, но даже через нее почувствовал он мягкое прикосновение девичьей груди.

До самой темноты пробыли они на катке; под конец у Арсина дела все же пошли на лад, он немного выучился и стоять на коньках, и скользить, мог теперь самостоятельно проехать несколько метров. Они уже договорились, что следующим вечером опять покатаются вместе, но утром разгулялась на целую

неделю метель, площадку завалило толстым-претолстым слоем снега, а там пришло весеннее тепло...

Вот так они с Таясь и подружились...

Все дни, что оставалось ему учиться на курсах ликбеза, искал Арсин случая, чтобы побыть с ней наедине, но, как назло, такого случая все не было.

А под конец сама судьба, казалось, решила помочь ему.

За Таясь после окончания занятий должны были приехать родители, забрать ее из интерната. Она ждала их со дня на день, но время шло, а никто так и не ехал... Потом уж стало известно, что тяжело заболел ее отец, так тяжело, что мать не могла от него отлучиться ни на минуту. Лодочных моторов тогда в их краях и в помине не было, ездили только на гребях да порой ставили парус, если повезет и задует попутный ветер.

А между тем наступил уже Месяц Прихода Вонзя. Как раз в эти дни закончились занятия на курсах ликбеза. Начиналась путина, и Арсин, чтобы как можно быстрее попасть домой и успеть уйти с рыболовецкой бригадой, пошел за помощью к председателю местного колхоза «Заря» Нятаме Хартаганову, который хорошо знал и самого Арсина и, главное, его отца. И Хартаганов, хотя в эту горячую пору каждая лодка была на счету, согласился помочь: велел выдать Арсину, как парню вполне совершеннолетнему, бударку. Но при одном условии: что по пути Арсин подвезет двух девушек-школьниц – одну в рыбстан Вырвош, а другую, Таясь, – в ее родное селение Ванды.

Они быстро собрались. В этот день, как будто специально для них, задул попутный, с юго-запада ветер. Остроносая бударка легко скользила под надувшимся, как глухариный зоб, парусом, да еще и течение помогало им. Девушки радовались, что скоро попадут домой, один только Арсин был недоволен: ему-то как раз хотелось, чтобы ветер не дул совсем – уж тогда он бы, за веслами, показал девушкам, а точнее – Таясь, на что способен. Да к тому же, если на гребях, сам путь занял бы намного больше времени, а значит, он мог бы подольше любоваться своей любимой...

Больше всего ему нравились ее глаза, впитавшие, казалось, в себя всю синеву того неба, каким оно бывает в редкие здесь по-

гожие летние дни. Стройна была Таясь, гибка, как обская нельма, а голос ее переливался колокольчиками звенящего ручья.

Арсин, хотя и не знал здешних мест, сидел, как полагается мужчине, на корме, уверенно правил кормовым веслом; так же ловко управлялся он со шкотом паруса, следя, чтобы порывы свежего ветра надували полотно как можно полнее. А девушки по его команде налегали то на один, то на другой борт, чтобы бударку не слишком кренило, чтобы не черпала воду. Развлекая и их, и самого себя, Арсин то и дело спрашивал у них названия узких речушек и широких проток, далеко выдававшихся в реку мысов, тальниковых островов, а сам тем временем лихорадочно обдумывал, что станет делать, когда высадит подругу Таясь в Вырвоше и они останутся вдвоем. От Вырво-ша до селения Ванды километров десять – расстояние не больно великое...

«И трубку за это время не успеешь выкурить толком, – сокрушался Арсин, – не то что потолковать».

Он соображал, как лучше сделать, как не упустить возможность переговорить с Таясь, прикидывал так и этак, словно перебирал из одного конца в другой плавную сеть. И Таясь, похоже, догадывалась, какие желания терзают его душу, потому что, ловя на себе его быстрые взгляды, она тем гуще заливалась румянцем, чем ближе они подходили к Вырвошу.

Смущение Таясь можно было понять: она, видно, не могла не думать о том, как это ее, да еще одну, повезет домой никому у них не известный парень из другого селения. Вопрос, как еще поглядят на это блюстители старых обычаев, что подумают люди о ней, честной девушке? Не отвернутся ли после этого свои парни-женихи? Таясь не могла не думать обо всем этом, все-таки она была уже в возрасте невесты...

Арсина же нисколько не смущало, кто и что подумает о нем, или о Таясь, или о них вместе. Для себя он уже решил, что сделает дальше. «Сейчас или никогда, – твердо сказал он себе. – Сейчас или никогда...»

Высадив подругу Таясь в Вырвоше, Арсин вдруг переложил руль и погнал лодку на другую сторону реки, к протоке Рынги, хотя селение Ванды находилось здесь, на левой стороне Малой Оби.

– Что ты делаешь? – всполошилась Таясь. – Ты что, с ума сошел?! Куда меня везешь-то?

– Не бойся. Таясь, – не к месту улыбнулся Арсин. – Скоро узнаешь.

– Что узнаю? – не на шутку рассердилась она. – Ванды вон где, – она махнула рукой в сторону левого берега, – а ты куда правишь? Там же таловый берег, ни одной живой души нет!

– Живой души нет, – попытался засмеяться Арсин, но смех от волнения у него получился какой-то неестественный, сдавленный, – зато избушка есть.

– Какая еще избушка, Господи! Я ведь здешняя, лучше тебя наши места знаю.

– Здешняя-то здешняя, а места лучше не знаешь, – опять хохотнул Арсин. – Можем даже поспорить.

– О чем это спорить?

– Ну, что есть здесь избушка. Охотничья...

– Ну и что из того, что есть? Зачем она мне? Мы что, охотиться с тобой будем?

– Охотиться, конечно, не будем... – потупился Арсин. – Просто я хочу тебе избушку показать...

– Да зачем она мне? – еще больше рассердилась Таясь. – Я что, по-твоему, избушек не видела? А ну, поворачивай давай лодку! – Она встала было, чтобы ринуться на корму и вырвать у него весло, но бударку в этот момент накренило, и Таясь вынуждена была снова сесть. – Ну принту тебя, Арсин. Нехорошо так, ведь люди Вырвоша все видят, – что они обо мне подумают? – Таясь глянула на него так, что у Арсина все внутри перевернулось, как на Оби во время внезапно налетевшего грозового шквала. «Наверно, и правда нехорошо делаю», – подумал он, уже готовый повернуть лодку назад. И чуть было не повернул, но посмотрел на девушку еще раз и, заметив мгновенно скользнувшую по ее лицу улыбку, каким-то внутренним чутьем, свойственным, наверное, лишь влюбленным, понял: все эти суровые слова о приличиях – только слова, а сердце ее хочет совсем другого... И это вновь придало ему уверенности.

– Да ты не бойся, Таясь, – уже весело прокричал сквозь ветер Арсин. – У меня ничего плохого и на уме-то нет. Только покажу тебе мою охотничью избушку. Только поговорю с тобой...

– И в дороге можно было поговорить, – все еще не сдавалась

Таясь. – При чем тут избушка?

− В дороге нет... Ты пойми. Таясь... Важный разговор у меня. Не могу вот так, на ходу. Приедем... и там поговорим, ладно?

− А здесь чем плохо? Или боишься, что убегу? В воду прыгну?!

− Ну зачем ты так, Таясь... Я ж тебе плохого не делаю. И не сделаю никогда – клянусь глазами небесного Турама-Всевышнего... Радугой небесной клянусь.

− Клянусь, клянусь, – насмешливо повторила она, вроде бы успокаиваясь. – Смотри, коль обманываешь – покарают тебя боги. Громовой пулей сразят.

− Да ну, Таясь, я серьезно, а ты... Громовой пулей... Я же не маленький, писать научился, грамоту понимаю. Уполномоченный района сказал – бригадиром звена поставят...

− Ну и что из этого? Мне зачем про то говоришь?

− Ну... так. Чтобы знала. – Арсин резко повернул лодку влево, и волны сразу заплескали в борт, обдавая их брызгами. – Вот заболтался – чуть мимо не проскочили!

− Что чуть не проскочили? – прокричала она, вытирая лицо.

− Здесь, Таясь, протока Пертанг-Посл. Знаешь?

− Слыхала от отца. Только тут не наши угодья.

− Верно, Таясь. Здесь пораватские охотятся и рыбачат, – Арсин оживлялся, чувствуя себя все более уверенно. – Такая хитрая протока – как будто хвост ящерицы среди тальниковых кустов. Еще версты две проедем – и будет речка Кельчи-Ас. А уж там, на островке Шиян, и наша избушка. Прошлой весной с отцом рубили...

− Поросшие талом берега смыкались за ними, и теперь Таясь больше не протестовала, не выговаривала ему – видно, окончательно смирилась с решением Арсина; сидела молча, разглядывала склонившиеся к самой воде кусты тала и рябины, готовые вот-вот покрыться зелеными листьями.

− Протока то и дело петляла; почти из-под самого носа лодки лениво взлетали то кормившиеся у прибрежного мелководья шилохвости, то широконосые красавцы соксуны. Утки почти не боялись их бесшумно скользившей бударки, целыми стаями проносились со свистом, едва не задевая парус. Эх, как в другое

бы время взыграла в Арсине неуемная охотничья страсть! Но сейчас ему было не до уток, не до охоты...

– Теперь, когда избушка была совсем рядом, когда лодка их скользила в таком таинственном, таком уединенном месте, словно специально созданном для объяснений в любви, он вдруг с ужасом понял, что не знает, как заговорить с девушкой о главном, как заставить непослушный язык начать, как вызвать Таясь на откровенный разговор. Какими-то дурацкими восклицаниями, жестами он привлекал ее внимание к каждой новой поднятой ими на крыло утиной стае, а сам думал о том, что теперь, почти добившись своего, оробел так, что, видно, ничего уже с собой не сможет поделать... Язык, казалось, совсем перестал его слушаться, засох, подобно бересте, содранной с сочного дерева и опаленной огнем.

– Молчала и она, глядя куда-то вдаль. Арсин облегченно вздохнул, когда протока закончилась и лодка въехала в реку Кельчи-Ас. Сразу же, посредине реки, километрах, наверное, в полутора от берега, завиделся остров Шиян, казавшийся издали огромным, мчащимся по волнам кораблем.

– У острова Арсин осторожно направил лодку к узкой курье, почти не заметной постороннему глазу. Мелкий тальник, затопленный водой, царапал борта лодки и упруго распрямлялся за кормой. Метров через двадцать курья резко расширилась, здесь она уже была в несколько бросков аркана... Наконец лодка уперлась в коренной берег острова, поросший кедром и лиственницей.

За кедровником через ветви молодых берез и рябин проглядывала избушка, покрытая светящейся на солнце берестой...

– Вот мы и приехали, Таясь. Можешь выходить.

– Зачем? – удивленно-насмешливо подняла девушка свою черную бровь. – Избушку посмотрела – теперь можно и обратно ехать.

– Как это – обратно? – как можно веселее сказал Арсин и положил кормовое весло. Не глядя на нее, он деловито спустил парус и выскочил на берег. Девушка по-прежнему сидела на скамье и, судя по всему, не собиралась покидать лодку. – Ты только посмотри, как тут красиво! – заторопился Арсин. – Если остров пересечь, такой вид на Малую Обь – дух захватывает. А

дичи здесь сколько! Рыба в озерах просто кишит. Зимой горностаи, зайцы, песцы – к самой избушке подходят, порог лижут! Вот какое это место, Таясь!

– Вот ты и оставайся охотиться. Всего тебе хватит – и уток, и рыбы, и зайцев. А мне домой пора. Я скажу – за тобой потом приедут, – и, схватив неожиданно греби, Таясь резко отпихнула лодку от берега.

Арсин оторопел – чего угодно ожидал, только не этого. А когда опомнился, увидел, что Таясь, сильно отгребаясь, уже отогнала лодку на глубину.

– Таясь! – в отчаянии закричал Арсин. – Ты что делаешь? Приставай к берегу. Я же, я...

Таясь в ответ еще сильнее налегла на весла. И тут Арсин, окончательно придя в себя, хищной росомахой сделал с десяток длинных прыжков по берегу и у крутого обрыва, где расстояние до лодки было не более длины двух хореев, ринулся в ледяную курью. Он верно рассчитал свои силы и вскоре вцепился в лопасть греби; чувствуя, как заходится от холода тело, как тянет вниз отяжелевшая малица, он подтянулся рывком и закинул левую руку на борт лодки.

А теперь греби! – улыбнулся он прыгающими губами. – Греби, греби! И меня заодно потянешь, как п-п-плотоматку...

Таясь, видно, по инерции, сделала еще несколько взмахов и только тогда оставила греби.

– Ну, и что дальше? – сердито спросила она. – Не перегрелся еще? Давай, залезай да поехали в Ванды.

Но Арсин и не думал лезть в лодку, висел, вцепившись в борт, молча смотрел на нее. Тогда она, ни слова больше не говоря, не глядя на него, снова налегла на весла. Лодка стояла на месте. Таясь опять в сердцах бросила весла, хотела сказать что-то резкое, но вдруг увидела его совсем посиневшие руки, пепельно-сизые губы и наконец опомнилась.

– Ох, Арсин! – жалостливо выдохнула она. – Ты же, наверное, замерз! Помереть хочешь, да?! – Таясь перепрыгнула через рыбный ящик и, вцепившись обеими руками, стала тянуть его в лодку. Но сил у нее не хватало, а он уже окоченел натолько, что почти ничем не мог помочь девушке. Тогда она что есть мочи

дернула Арсина на себя... и он тяжелой намокшей коряжиной свалился на дно... С малицы, с бродней ручьями текла вода...

Хотя Арсина и била лютая дрожь, пронзавшая тело до самых костей, он сейчас был наверху блаженства: ведь это Таясь, любимая девушка, держала его за правую руку, терла ему виски, то и дело спрашивая перепуганно:

– Ты жив, Арсин?! Жив? – Она все встряхивала его и, чуть не плача, громко повторяла: – Глупый какой! Я же не хотела... Я совсем не так думала... Подожди, сейчас к берегу пристану, костер разведу... Потерпи, Арсин.

Она кинулась к гребям; лодка уткнулась – теперь уже в пологий берег – всего, наверное, метрах в сорока ниже первого места. Таясь тут же выкинула якорь.

– Сейчас, Арсин, сейчас, – суетилась она. – Держись за меня, вылезти тебе помогу. – Она ухватила его за руку, перекинула ее через свое плечо.

И окоченевший Арсин, забыв обо всем на свете от того, что она чуть не плачет, волнуется за него, от ее заботы, не зная в своем счастливом восторге, как отблагодарить, крепко притянул Таясь к своей мокрой груди и, сперва неумело, осторожно коснулся застывшими губами ее горячих губ, а потом впился в них долгим поцелуем. Он не знал, сколько тянулось это сладостное мгновение, от которого едва не потерял сознание; он пришел в себя, лишь когда услыхал ее взволнованный голос:

– Задушишь, Арсин... Отпусти, тебе же сушиться надо...

Жарко было сейчас Арсину, будто и не купался он в ледяной курье; словно молодой лось вскочил он на ноги, схватил Таясь и на руках осторожно вынес ее на берег. Не останавливаясь, зашагал по прошлогодней траве в сторону избушки; он шел, а с малицы его все стекала и стекала вода.

Арсин не торопился – ему не хотелось, чтобы они кончались, эти минуты; он делал шаг или несколько шагов и снова жадно приникал к ее влажным горячим губам, ощущая, как гулко бьется ее сердце. Своего сердца Арсин не слышал, оно словно растворилось в переполнившем его счастье...

И только у порога избушки, немного, кажется, придя в себя, он опустил Таясь на землю. Лицо ее, чудилось ему, сияло и переливалось, будто озаренное теплым летним солнцем. Но, за-

глянув в ее голубые, такие счастливые сейчас глаза, Арсин снова не удержался, приник к губам девушки.

– Ну Арсин... Ты же простынешь! Давай скорей печку топить, тебе же обсушиться надо! – опомнилась наконец Таясь.

Мягко от него отстранившись, она легко, по-хозяйски повернула наружную вертушку и вошла внутрь избушки. Арсин, будто во сне, шагнул за ней, глядя – всю бы жизнь глядел! – как сноровисто разводит она огонь, как суетится возле печи.

Арсину ничего не оставалось делать, как начать стаскивать с себя наполненные водой и разбухшие, словно бревна, брезентовые бродни, насквозь промокшую малицу. Когда в избушке стало совсем тепло, Таясь вышла, чтобы он остался один и смог высушить холщовую рубаху и брюки из толстого поизносившегося шевиота. Стоя нагишом у печки, он растирал себе грудь, плечи, живот, с удивлением ощущая, как сильно бурлит в нем горячая кровь... Кровь бродила в нем, как сок в весеннем дереве, таинственная, скрытая в ней ранее сила не давала ему покоя.

Теперь он опять весь дрожал, но уже не от холода, нет, от избытка этой прежде неведомой силы. Он ни на минуту не забывал, что она, любимая, здесь, рядом, и, не зная, куда себя деть, в нетерпении поглядывал на свою исходящую паром одежду; он готов был схватить ее – пусть сырую! – натянуть на себя и бежать на улицу, туда, где слышался звонкий голосок Таясь: она напевала какую-то песенку, и песенка эта, как и ее глаза, лучилась счастьем... Сила, толкавшая его к ней, была так велика, что в какое-то мгновение Арсин, не умея совладать с собой, чуть не сорвался с места, но тут вдруг раздался ее голос:

– Арсин, слышишь, Арсин! – звенела она под дверью. – А я тебе чаю на костре вскипятила. Целую горсть чаги всыпала. Крепкий будет чай, вкусный! Все болезни от тебя отгонит. Так что давай сушись поскорее и выходи чай пить...

Этот ласковый, счастливый голос вмиг отрезвил его.

«Какой я дурак! – шепотом ругал он себя, в нетерпении щупая влажные брюки. – Кто только лишил меня разума! Любимую девушку опозорить хотел, обесчестить!.. Да еще в присутствии Священного идола – всесильного духа Орла!.. Какой дурак!»

Он пошел в дальний угол избушки, где подвешена была на оленьей жиле фигурка идола рода Сюлись. Священный Орел,

весь почерневший от копоти, давал, по словам отца, удачу в охоте, охранял в отсутствие хозяев избушку.

– О, прости, Священный Орел, – глядя на идола, шептал Арсин. – Это какая-то враждебная сила хотела украсть мой ум. Прости, Священный идол. Не трону Таясь до свадебной ночи. Не трону, клянусь тебе, Священный Орел! – И, как учил отец, трижды перекрестился, поворачиваясь по ходу солнца. А закончив обряд, сказал: – Спасибо, Священный Орел, за то, что вернул мне разум.

Он бережно обтер идола тряпочкой, висевшей на вбитом в стену деревянном колышке, и, вернувшись к печке, снова потрогал малицу.

Нетерпение Арсина было так велико, что он не стал дожидаться, когда одежда высохнет полностью. К тому же ему хотелось, чтобы Таясь видела, какой он закаленный мужчина – пусть знает, что ему нипочем купание в весеннюю пору. А главное все же заключалось в том, что ему не терпелось как можно быстрее оказаться с ней рядом; эти минуты после недавних поцелуев, что прошли поврозь, казались ему бесконечными; его взбудораженное существо каждой своей частичкой неудержимо рвалось к ней, к Таясь.

Распаренный после жарко натопленной избы, Арсин выскочил на улицу. Сжавшись в комочек, положив подбородок на колени, Таясь сидела у костра, на котором пыхтел паром закопченный чайник, смотрела в огонь. Услышав стук двери, она обернулась – и у Арсина снова перехватило дыхание. Он улыбнулся ей и торопливо заскочил в избушку – захватить из оставленного отцом припаса несколько баранок, два небольших черных сухаря. Заодно снял с полки алюминиевые кружки, кинул в каждую по куску колотого сахара.

О, каким вкусным, каким сладким был этот чай, с каким наслаждением он его пил, с еще большим наслаждением беспрестанно нахваливая свою Таясь:

– О-о! Вот это чай! И как ты только такой заварила! Ну до чего ж хорош! Всего меня оживил!..

Она смотрела и смотрела на него все с той же ласковой, словно слегка удивленной улыбкой – будто никак не могла поверить, что все это происходит именно с ней...

А потом они, взявшись за руки, долго бродили по острову. Арсин показал ей, где во время весеннего прилета уток находились его охотничьи скрадки, сводил на сухую высокую гриву, сплошь заросшую мощными кустами черной смородины. Ягод здесь бывало столько, что и осенью, и долгой холодной зимой висят на ветках целые гроздья. Они ходили его любимыми тропками, любовались лиственницами и кедрами и то и дело останавливались... И тогда Арсин крепко обнимал Таясь и целовал ее, целовал...

Наконец он вывел девушку к тому месту, где находился сделанный еще дедом каскан. Сначала Арсин хотел объяснить Таясь, как действует эта старинная снасть для ловли уток, но потом передумал: решил, что лучше будет, если он удивит ее, не расскажет, а покажет на деле.

– Испытаем наше счастье? – предложил он.

– А что это такое? – недоуменно спросила Таясь. – Я, наверное, никогда такой штуки и не видела...

– Конечно, не видела, – улыбнулся Арсин. – Каскан – это ведь занятие мужчин. Ну что, попробуем?

Таясь кивнула в ответ. Арсин тут же подбежал к стоявшему неподалеку раскидистому кедру, снял с сучка под кроной брезентовый мешок, вытащил из него сеть, аккуратно разложил ее на поляне, между двумя высокими шестами. Таясь с интересом смотрела, как привязывает он сеть к шестам... Когда все было готово, он обернулся к ней:

– Вот, смотри, как им пользуются, касканом. – Он взялся рукой за тот шест, что был ближе к ним – шест стоял внаклонку, сеть лежала на земле. Но стоило Арсину потянуть шест на себя, как вся сеть тут же поднялась над землей метра на три-четыре. – Видишь, вот по этой просеке в тальнике утки летят на поляну, а мы их – раз! И в сеть. Просека специально прорублена. – Арсин снова продемонстрировал, как пользоваться старинным орудием лова.

– Ой, как интересно! – простодушно всплеснула она руками. – Давай посидим и вправду попытаем счастья...

Они уселись на поперечной слеге, прибитой к двум стоящим рядом деревьям, прижались друг к другу, дожидаясь, когда полетят просекой птицы.

Понемногу спускались на землю слабые весенние сумерки, и когда солнце едва коснулось дальних, слегка заснеженных отрогов Полярного Урала, воздух стал наполняться шумной разноголосицей птичьих стай. Трубя, летели на ночлег гуси, спешили куда-то свиязи и шилохвости, белобокие касатки и хохлатые чернети...

А вдоль узкой просеки, перегороженной лежащей наготове сетью, то и дело низко проносились с резким характерным криком чирки.

– Ну давай же, давай! – нетерпеливо подсказывал девушке Арсин, но Таясь никак не могла сосредоточиться и вовремя вздернуть сеть перед летящей дичью. Да и как ей было сосредоточиться, если левая рука Арсина гуляла по ее плечу, а другой он крепко сжимал ее правую руку, держащую шест...

Наконец, не забывая шутливо отбиваться от него, Таясь изловчилась и вздернула ловушку – правда, с трудом, невысоко. И тут же в ней запутались два чирка-трескунца, вытянули сеть небольшим мешком. Таясь испуганно опустила шест, и сеть легла на землю, надежно накрыв запутавшихся птиц. Забыв обо всем, они побежали смотреть добычу; перепуганные чирки лежали среди желтой травы и не шевелились. Арсин, показывая девушке свое умение, тут же сунул руку под сеть, вытащил из нее краснобрового чирка-самца и уже хотел было свернуть ему шею – так обычно убивают уток, добытых живьем, – но Таясь вдруг жалобно крикнула:

– Что ты делаешь, Арсин! Не надо! Не надо их убивать, давай лучше выпустим! Пусть живут...

Арсин на минуту задумался – жалко было добычу, потом махнул рукой.

– Главное, что мы их поймали, верно, Таясь? Значит, счастье нас с тобой не обошло стороной!.. Теперь, конечно, можно и выпустить.

Он осторожно передал краснобрового красавца Таясь, вытащил из сети самку. Поглаживая чирка, который царапался, рвался на свободу, Таясь снова сказала:

– Пусть живут! Пусть любят друг друга, пусть принесут нам счастье за то, что мы сохранили им жизнь... Ты согласен, Арсин?

– Еще бы! Какая же ты умница, Таясь! – Он обнял ее свободной рукой. – Пусть радуются, что попались в руки влюбленным, и несут эту радость по всей земле... Так я говорю, Таясь?

Таясь стояла, потупившись, смущенно молчала. Он уже готов был расстроиться, как вдруг она сама припала к нему губами, и этот счастливый ее поцелуй сказал Арсину все... Они и не заметили, как взлетели с их разжатых ладоней вольные птицы...

– Да-а, – тихо вздохнул Арсин, лежа на своем излюбленном месте, на комле толстой ели. – Ах, какое было время! Какое время!.. Узнать бы – летают ли еще те чирки, птицы нашей любви? Хотя где там, столько лет прошло. У них и так век недлинный, а тут еще охотничья дробь или когти хищного коршуна... Тропа жизни темна, кто ведает, где она оборвется...

Воспоминания о той оставшейся в памяти, самой радостной ночи взволновали Арсина, и вот, через четыре с лишним десятка лет, его вновь, словно молодого, тогдашнего, потянуло к тому месту, где под старым раскидистым кедром просидели они всю ночь... Здесь, под этим кедром на берегу озера, они тогда поклялись, что осенью соединят свои судьбы навечно и что клятву эту может нарушить лишь случайная смерть...

Им в голову не приходило подумать, как к этому отнесутся родители, им казалось, все будет так, как они решили. Ведь в молодости всем влюбленным кажется, что все в жизни просто, что весь мир существует только для них...

Вдев ноги в кожаные крепления, Арсин направился на лыжах к берегу озера, к старому раскидистому кедру.

Сразу же за избушкой, метрах в ста от нее, паслись наголодавшиеся, истосковавшиеся по ягелю важенки. Они легко расправлялись с потерявшим утреннюю свежесть настом, и комья снега из-под их копыт, словно перепуганные куропатки, отлетали далеко в сторону.

Проходя мимо кормившихся оленей, Арсин на всякий случай время от времени негромко покашливал – давал животным заранее знать о своем приближении.

Но оленям сейчас было не до него. Важенки лишь ненадолго поднимали головы, смотрели на человека, втягивали своими чуткими ноздрями, покрытыми налипшим зернистым снегом, воздух, снова начинали разгребать снег луновидными острыми копытами. Только у нескольких важенок его появление вызвало беспокойство – эти нежно облизывали только что родившихся на свет беспомощных оленят.

«Вот и отел начался, – тревожно подумал Арсин. – Хотя как же иначе? Есть корм, нет корма, раз время приспело – никакой силой его не оттянешь...»

Он шел и лишний раз убеждался, что стадо успело совсем освоиться на его острове. Надо было на всякий случай обойти его еще раз – удостовериться, что все олени на месте. Дойдя до того ложка, за которым хвойный лес сменялся рябиной и талом, Арсин увидел, что олени пока вполне довольствуются ягельным пастбищем, что они даже и не собираются пробоватьтраву мук-сутун, стоящую в тальниках, или мелкий трубчатый хвощ на берегу озера.

– Пока ничего, пока терпимо, – разговаривал он сам с собой вслух. – Еще на денек, пожалуй, ягеля хватит. А вот что дальше будет...

Эта мысль – «что дальше»! – тревожила старика, давила на него черной тяжестью. «Где же, черт их задери, хозяева стада? Почему не являются? Времени ведь порядком прошло. Пора бы им и подъехать...»

Поднявшись на прибрежный взгорок, омываемый уже Горной Обью, Арсин долго смотрел на синевший в полутора верстах от него левый коренной берег, по которому проходили маршруты касланий оленьих стад в сторону Полярного Урала. Он вглядывался в черневшие там, вдали, отдельные тальниковые кусты, а особенно пристально – в вывороченные рекой корни деревьев: не обнаружится ли чего похожего на оленью упряжку: но там не было видно ни бегущих оленей, ни другого какого живого существа. Вздохнув, Арсин перевел взгляд ближе к своему острову, внимательно вгляделся в узкие забереги, прикидывая глубину свинцовой воды. Получалось, по его соображениям, что глубина тут, в заберегах, стала уже порядочной – ноги важенок, пожалуй, дна уже не достанут...

«Вот и хорошо, – подумал он. – Глубоко – значит, олени только вплавь смогут переправиться, а вплавь сейчас, да с детенышами – они вряд ли полезут... Да-а. Хотя, конечно, если приспичит – полоска воды в бросок аркана для них не преграда...»

Арсин стащил с головы капюшон малицы, откинул его назад, чувствуя, как приятно холодит вспотевший лоб свежий ветерок, прошелся цепким, изучающим взглядом по тальниковому мысу, вытянувшемуся вниз по течению реки, по его совсем пологим на оголовке берегам.

«Кой, кой! Шибко опасное место, – тревожно думал он. – Олени переправиться могут...»

Опыт старого таежного охотника подсказывал ему, что олени вряд ли без особой необходимости будут спускаться к реке с обрыва, на котором он сейчас стоял; а вот с лежащего в воде тальникового мыса, где забереги совсем еще слабые, переправиться на другой берег им вряд ли что помешает... И исход тогда только один: окончательная потеря стада...

Он должен, пока не вздулись и не разлились широко забереги, сделать все, чтобы удержать животных на острове. Потом, как поднимется вода, олени сами никуда не денутся. Эта пора, по тому, как прибывала вода, наступит дня через три...

Важенок, конечно, какое-то время будет сдерживать начавшийся отел. Но какое? Не зря же природа тысячелетиями приучала оленей к суровым северным условиям, вырабатывала в них исключительную выносливость и жизнестойкость. Не успев появиться на свет, олененок начинает жадно сосать вымя, а уже через час-другой бойко семенит за матерью, готовый следовать за ней, как говорится, в огонь и в воду...

«Я должен обязательно караулить их здесь, – приказал себе Арсин. – Не пускать на тальниковый мыс, пока вода не поднимется».

Приняв решение, он направился в сторону того самого раскидистого кедра, росшего неподалеку, – не было случая, чтобы, приехав на остров, он не побывал здесь. И всякий раз, когда Арсин приближался к этому могучему дереву, в памяти его вновь и вновь всплывало все, что было связано с кедром...

Он нежно погладил теплый ствол, ища взглядом буквы «Т» и «А», вырезанные им в тот далекий вечер. Арсин специально резал их на восточной стороне ствола, чтобы лучи утреннего солнца каждый раз согревали буквы, словно бы вливая тепло и силу в их с Таясь Большую Любовь. Он провел кончиками пальцев по затянувшимся, уже еле заметным следам и подумал: «До чего же неумолимо время... Даже дерево и то не смогло сохранить давний след. А что ж говорить о человеке, подверженном стольким испытаниям и потрясениям?..»

Он окинул взглядом густую крону дерева, широко раскинувшего могучие ветви, послушал еле слышный шелест хвои на слабом весеннем ветру и вдруг спросил у великана, привалившись к его стволу: «Ты-то помнишь ту далекую весеннюю ночь? Нашу первую с Таясь совместную ночь под твоей теплой крышей?.. О, какая она была!»

Много всего произошло в жизни за прошедшие годы, много ярких впечатлений легло в душу, и все же та ночь занимала в ней свое, особое место. Словно радужными сполохами полярного сияния озарилась вдруг его память...

Случилось это тем же годом, только ближе к осени, в начале Месяца Вылета Глухарей. Уже совсем близко подступило время, когда они, как и поклялись, должны были соединить свои судьбы. Оставалось дождаться лишь окончания летней путины...

Но еще раньше страшная беда, подобная невидимому, все сметающему на своем пути половодью, обрушилась на страну, на всех людей и, конечно же, на Арсина с Таясь. Огромная, смертельная война в один миг перечеркнула все их планы, все их мечты и надежды.

Война обрушилась на жителей северных хантыйских селений по-особому. За всю их многовековую историю никогда еще не призывали ханты на войну. До этого лета они знали о войнах лишь из древних сказаний, легенд, в которых сражались стрелами, копьями, а участвовали в битвах представители одного рода или одного племени... А эта война, подобно гигантскому ковшу, выгребала из селений молодых, здоровых мужчин – надежду и опору женщин, детей, стариков, ибо в условиях сурового Севера только мужчина, какой бы он ни был, является опорой, кормильцем семьи. И в душах оставшихся дома поселялся страх –

страх за свой завтрашний день, за завтрашний день своего маленького народа, – страх, усугубленный не только новыми словами «всеобщая мобилизация», но и дошедшими вскоре с фронта первыми вестями о смерти, ранении или безвестной пропаже вчера еще таких крепких, таких надежных мужчин...

В середине лета пришла повестка старшему брату Арсина, Еке. Уехал Ека на фронт, и не было от него никаких известий - жив ли, нет ли, никто не знает... А теперь вот призывают и самого Арсина... Через два дня за ним и другими его сверстниками должен был прибыть колесный пароход «Ваули Пиетомин».

Мать Арсина плакала все эти дни, никак не могла унять свое сердце. Он жалел мать: одного сына на фронт отдала, теперь второй уходит, жалел отца, который от тоски не находил себе места, только себя совсем не жалел: понимал, какая идет война - не зря же уполномоченный из района по фамилии Храпов рассказывал призывникам о том, с каким озверелым, с каким страшным врагом придется сражаться. Внутренне Арсин начал готовиться к отправке на фронт сразу после того, как ушел Ека. Понимал, что и его, конечно же, война не обойдет стороной...

Оттого-то мысли его и чувства сейчас более всего занимала Таясь. Правда, Арсин еще не говорил о ней, о своем решении с родителями, но после той памятной весенней ночи любовь к девушке, подобно раздуваемому ветром костру, с каждым днем разлуки разгоралась все сильнее и сильнее. А не виделись они уже месяца три, хотя селения их разделяло не более полсотни верст по воде. Летом, к слову, только по воде и можно было попасть к ней. Но ему никак не удавалось выкроить время на эту поездку – ведь чтобы добраться до ее селения на гребях, а потом вернуться, надо было потратить не менее двух суток, а где их взять в летнюю путину, когда дорог каждый день, каждый час? Ворвавшаяся в двери каждого дома беда поневоле отодвигала многие личные дела, откладывала их, как говорится, до лучших времен.

Но теперь, получив повестку, Арсин не мог, не имел права не встретиться с девушкой.

Двое суток было в его распоряжении, всего только двое суток! Но для Арсина, впервые познавшего сладость и мучения

Большой Любви, когда, кажется, нет на свете ничего непреодолимого, и это время было настоящим богатством.

Наконец он решился открыться родителям. Он рассказал им, ничего не тая, о своей любви, о том, как провел с любимой девушкой ночь на Шияне, об их мечте пожениться. Сказал и о том, что обязательно должен перед отправкой на фронт съездить в селение Ванды и повидаться с ней...

– Кой, сынок, да ты никак с ума сошел? – всплеснул руками отец. – Кто так делает?! Разве можно с невестой заранее встречаться? Все вековые обычаи нарушил, все наши заветы! Ем, ем![*]

– Виданное ли дело! – горько покачала головой мать. – Как же ты мог девушку обесчестить? А еще говоришь – любишь! Подумай, какой позор для нее: ты уйдешь, неизвестно, что с тобой будет... страшно даже говорить... А она тут... Кто ж ее после возьмет? Одумайся, сынок, пожалей ее...

– Мужскую честь позоришь, – перебил отец, – об этом хоть подумал? Показываешь себя перед всеми глазами, как посар, распутник. Никуда ты не поедешь, вот что я тебе скажу!

– Нет того, чтобы последние деньки дома побыть, – поддержала отца мать, заливаясь слезами. – Словно не мы тебя выкормили-вырастили, словно мы тебе не родители. Последнюю радость отнять у нас хочешь. Вон, от брата до сих пор весточки ждем – жив ли, нет ли – не знаем... Так хоть ты не откажи в последней радости – дай эти два денька на тебя посмотреть, полюбоваться на прощание. Не езди, сынок!

Арсин смотрел на насупленного отца, на плачущую мать, на братишек с сестренками. Жалко их всех, любит он их, а все равно не может не повидать перед фронтом свою Таясь. Он только вздохнул в ответ и молча натянул суконный гусь, сушившийся в чуме после рыбалки. Весь вид Арсина говорил о твердой решимости. И отец не выдержал, дрогнул:

– Ну что ж, сынок. Вижу – ноги твои назад не повернут, мысли от уговоров не переделаются. Езжай. Теперь уж нет времени разбираться. Вернешься – еще поговорим. Только правильно мать толкует: девушку не позорь. И назад не опаздывай. Сам знаешь, время военное...

---

[*] Ем – запрет, табу.

– Ладно, отец, – только и ответил Арсин, торопливо укладывая в кожаный мешок полбуханки хлеба, большой кусок сахара и банку питательной рыбной варки. – Спасибо тебе, – добавил он, выходя на улицу.

...В тот день хлестал с самого утра непрекращающийся дождь, бушевал на реке штормовой Кев Вот – ветер с Урала, но Арсин, не раздумывая, столкнул на воду свою высоконосую колданку и, налегая на греби, пошел через широкую Игорьскую Обь – с тем, чтобы потом двигаться подветренным берегом Большой Оби.

Разгулявшиеся волны трепали легкую лодчонку, долбили, словно огромными кулачищами, в тонкие борта, пытались опрокинуть колданку, наказать смельчака, рискнувшего выйти на реку в такую погоду.

Щурясь под холодным секущим дождем, Арсин не спускал глаз с пенящихся крутолобых волн, греб изо всех сил, стараясь привести колданку к Мелексимскому острову. Волны то утягивали его в свои провалы, и тогда берега почти скрывались с его глаз, то вздымали его наверх, и задравшийся нос колданки, казалось, путался в подолах низко нависших, несущихся куда-то зловещих облаков. У Мелексимского острова он, перевалив наконец Игорьскую Обь, вошел в Чебурасскую протоку, крутые, обрывистые берега которой сплошь поросли тальником. Вода здесь была сравнительно спокойной – лишь изредка докатывались со стороны Большой Оби всплески высоких волн. Зато сильнее стал ветер – резко налетавшие его порывы трепали колданку, пытаясь развалить ее на части, то и дело разворачивали нос. Холодные крупные капли дождя хлестали, словно упругими прутьями, по лицу, по слипшимся волосам, по насквозь уже промокшему суконному гусю. Но Арсин все греб и греб, не давая себе и малой передышки. Справа остался Гусиный остров, издали похожий на гигантского, ощетиненного ерша. В затишье, с подветренной стороны песчаных мысов, отсиживались перед дальней дорогой на юг многочисленные стаи уток – в основном шилохвости, свиязи, соксуны; завидев приближающуюся колданку, они поднимались на крыло, закрывали собою небо; временами, оглушая его своим гоготом, вздымались из-за мыса

вспугнутые стаи осторожных гусей-гуменников, чернозобых казарок...

Хотя Арсин и прихватил с собой на всякий случай одноствольную курковку шестнадцатого калибра, теперь он лишь жадно провожал глазами поднимающиеся птичьи стаи...

Наконец лодка миновала Чебурасскую протоку и вошла в Большую Обь у острова Осетровый. Река, резко сужаясь (с почти трехкилометровой ширины метров до четырехсот), сделала здесь крутой поворот на север, и Арсин легко перевалил через нее. Сплавившись до Малой Оби, начал подниматься правым берегом вверх по течению. Он отмахал уже верст сорок и за все это время останавливался передохнуть лишь дважды. В последний раз – на острове Осетровом, где у самого берега густо росли кусты тальника, в которых можно было укрыться от сильного штормового ветра. Арсин развел здесь костер, вскипятил чаю, подкрепился вяленой рыбой и как следует обсушился, благо дождь к тому времени кончился.

Самая трудная часть пути была позади. Теперь ему оставалось совсем немного. Впереди уже просматривался в тусклых лучах появившегося между туч солнца вдававшийся в таловый берег залив рыбацкого селения Ванды. «Через час буду на месте, – обрадовался Арсин, входя в затишье вытянутого в длину, как горностай в прыжке, острова Халепугор. – Отдохну малость. Теперь-то почти приехал», – думал он, снимая с уключин легкие кедровые греби и укладывая их в колданку.

Пристав к толстой коряге, торчащей у самого берега, он привязался за толстый, покрытый почерневшим от воды мхом, кривой сук.

Все время он думал о том, как встретится с Таясь, что скажет ей... Не шел из головы утренний разговор со своими родителями. Они, конечно, по-своему правы. Но обычаи обычаями, а он ведь и в мыслях не допускал, что посмеет опозорить, обесчестить любимую. Что из того, что он молод, – разве он не понимает: нет для хантыйской женщины позора более страшного, чем иметь ребенка без мужа? Редко какая девушка, переступившая запрет, выдерживала потом насмешки и оскорбления односельчан. А уж чтобы после этого кто-нибудь взял ее в жены – такого, наверно, вообще не бывало...

«Как лучше встретиться с Таясь: тайком или в открытую? – думал Арсин. – Конечно, самое лучшее, если бы можно было, как получилось весной, повидаться тайком, чтобы родители пока ничего не знали, не корили потом Таясь за «позор»... «Интересно, рассказала она о нашей поездке на остров родителям или нет? А может, им уже доложил кто-нибудь из Вырвоша – там же не могли не видеть, что лодка тогда направилась совсем не в Ванды... Хотя она ведь могла сказать родителям, как тогда и договаривались, что мы с ней просто катались под парусом по реке...»

Нет, с той поездкой на остров, наверное, ничего страшного не произошло. Но вот сейчас... Как он встретится с ее родителями, что им скажет, как объяснит свое появление? И как они себя поведут, отпустят ли ее поговорить, погулять с ним? Ведь если он жених, то его дело плохо: по хантыйским обычаям, невесте строжайше запрещено встречаться с ним. И на девушку позор ложится, и на ее родителей. А если он не жених – тогда с какой стати она должна с ним встречаться? Н-да, сломаешь тут голову... «Черт их, эти древние обычаи, повыдумал, – страдал Арсин. – Давно уж советская власть на земле, а старики все за прежние порядки держатся!»

У него голова шла крутом – что изобрести? В конце концов Арсин решил, что, если кто-то поинтересуется, объяснит свое появление случайностью: попал, мол, в Ванды проездом – решил перед отправкой на фронт забрать из находящейся тут неподалеку родовой избушки кое-какие вещи. Не Бог весть что, конечно, – но кто его вздумает проверять? Самое главное для него – хоть как-то увидеться с Таясь, договориться с ней о месте свидания...

В конце концов он решил положиться на случай. Неужто не повезет в такой-то день?!

Арсин отвязал колданку и снова налег на греби. Звонко зажурчала рассекаемая стремительной лодкой вода. Ослабевший западный ветер задувал теперь почти сзади, и хотя Арсин поднимался вверх, против течения, плыть было легко.

И чем ближе становилось селение Ванды, тем сильнее волновался Арсин: как-то все будет...

Садящимся черным глухарем с гигантскими распластанными крыльями опускались на землю, на реку, поблескивающую хо-

лодным серебром, осенние сумерки, в которых начало понемногу тонуть лежащее впереди селенье. Налегая на греби, Арсин то и дело оборачивался, мечтая увидеть там, впереди, хоть какое-то живое существо. Вот уже промелькнула за правым бортом уткнувшаяся в берег пузатая просмоленная бударка, вслед за ней две перевернутые колданки; послышался собачий лай.

– Ел! А ну, пошел! – вдруг зазвенел на берегу колокольчиком девичий голосок, а потом послышался скрип ведерных дужек. – Ты чего зря лаешь!

Арсин вздрогнул и, развернув колданку, впился глазами в сумрак – туда, откуда донесся такой знакомый, такой долгожданный голос. О, он различил бы этот голос из тысячи других! С той незабываемой весенней поры этот звонкий колокольчик звенел в его ушах днем и ночью.

– Таясь!.. – громким шепотом позвал он, подняв над водой весла. – Это ты. Таясь?!

Девушка, видно, остановилась, стараясь угадать, что же взбудоражило ее пса, и тут же подбежала, услыхав Арсина. На согнутой руке у нее висели два оцинкованных ведра, поскрипывали при каждом движении.

Арсин сделал несколько резких взмахов и, не дождавшись, когда колданка уткнется в глинистый берег, выскочил, чавкая бродняками в топкой жиже, заспешил к ней.

Подбежав к Таясь, он схватил ее за обе руки.

- Как хорошо! Как хорошо, что ты здесь оказалась! Что ты пошла по воду, как кстати, – шептал он, целуя ее в губы, в щеки, в глаза. – А я-то плыву и ломаю голову, как выманить тебя из дома...

В своем возбуждении он и не заметил, что она как-то сдержанно воспринимает его восторги.

– Выманить? Я что – зверь лесной? Или случилось что-нибудь? – Она отстранилась и пристально вгляделась в его взволнованное лицо.

– Да нет, Таясь, нет, ничего не случилось. Очень хотел тебя видеть, а все же неудобно перед родителями... Сама понимаешь...

– Ах, вот ты о чем... Еще не приехал, а сердце, значит, как у зайца – уже в пятках...

− Ну зачем ты так, Таясь... Мне обязательно, обязательно надо было повидаться с тобой перед... – Он осекся, не зная, говорить ли ей про фронт сейчас, портить ли радость их встречи. – Понимаешь, – быстро забормотал Арсин, глядя, как она меняется в лице, – раньше никак не мог...

− И ты, значит, на фронт, – сказала она, будто не слыша его.

− Да, Таясь, – вздохнул Арсин. – Повестка пришла...

− На фронт, значит, – повторила она с окаменевшим лицом. – У нас полселения призвали. А на старшего моего брата уже извещение пришло. Погиб в боях под Смоленском.

Таясь вдруг опустила черные длинные ресницы, постояла так и сказала, не открывая глаз, одними губами:

– Ну что ж тут поделаешь, Арсин, надо. Родина в беде. Смертельной... – И вдруг, не смахивая слез, широко распахнула глаза и судорожно схватилась за рукава его суконного гуся. – Ты мне обещай, что с тобой ничего не случится! Обещай, что вернешься? Живой вернешься, слышишь, Арсин?! – повторила она, и шепот ее вошел в него, как крик.

− Не надо так, Таясь, – встревоженно посмотрел по сторонам Арсин. – Увидят еще... Услышат...

− Ох, да перестань ты! – Она все еще держала его за рукава гуся. – Темно. Кошачьи глаза надо иметь, чтобы хоть что-то увидеть. Да хоть бы и увидели – мне теперь все равно, все равно!

− Ну что ты, Таясь! – прижал он ее к груди. – А если родители... Тогда как?.. Они спрашивали тебя тогда?.. Ну, весной...

− Отец не спрашивал. А мать... До нее, похоже, дошло от кого-то. Ну да я отговорилась...

− Вот видишь! Давай отойдем куда-нибудь. – Арсин крепко обнял ее за узкие плечи.

Видя, как Таясь вдруг засмущалась и стыдливо опустила глаза, он, поняв все по-своему, начал успокаивать ее, как в тот раз, весной, когда они плыли на лодке:

− Ты не бойся, Таясь, я тебе ничего плохого не сделаю. Радугой небесной клянусь.

− Я верю тебе, Арсин. – Все еще плача, она ласково погладила его встрепанные волосы. – Я верю тебе...

− Спасибо, Таясь... Так хочется побыть эту ночь вместе с тобой... Я ведь, если честно, из-за этого только и спешил сюда.

Сама ведь знаешь, куда еду. Может, и не вернусь...

− Что ты, что ты, Арсин. Не говори так, не думай об этом. – Она закрыла его рот ладонью. – Ты вернешься, живой вернешься...

− Конечно, живым хочется. Чтобы снова тебя увидеть...

− Вот и не говори о смерти!.. Ты подожди чуток, Арсин... Сейчас зачерпну воды, отнесу ведра и снова приду...

− Только ты побыстрей, Таясь, ладно?.. Мне ведь завтра обратно надо...

− Как обратно?! Зачем обратно?! Поживи, побудь у нас в селении... Я что-нибудь придумаю...

− Нельзя! Завтра к вечеру «Ваули Пиетомин» подойдет. Обязательно надо быть на месте. Сама знаешь, время какое...

Таясь тяжело вздохнула, оглянулась в сторону селения и, кусая губы, сказала:

− Знаешь что? Поедем в твою избушку? Это же недалеко, правда? Печку растопим. Поговорим обо всем. Целую ночь вместе... – И она снова смущенно опустила ресницы.

− Таясь, колокольчик мой! Я ведь даже боялся заикнуться об этом... Поедем, да?

− Да, – тихо кивнула она в ответ. – Ты только поднимись на всякий случай чуть повыше...

Не успел Арсин подняться саженей на двести, как увидел Таясь – запыхавшаяся, она стояла на берегу у крутого обрыва, в своих летних из оленьей кожи чувячках и легкой ягушке. Она спрыгнула к нему в колданку, и Арсин налег на греби...

...Отрываясь от сладостных воспоминаний, он глубоко вздохнул, раскурил трубку и выпустил густую струю дыма. Все так же держась за теплый ствол кедра, он обошел его вокруг, окидывая могучую крону снизу вверх. Кедр был для него сейчас словно живой человек, и как с живым человеком Арсин мысленно разговаривал с ним в эти минуты.

«О могучий кедр, свидетель нашей клятвы! О наше священное дерево! Ты ведь знаешь все, что случилось в ту далекую ночь под твоей могучей кроной. Ты, конечно, помнишь все наши с Таясь слова – не могли они исчезнуть бесследно, наверно, и сейчас живут в мягких иглах твоей хвои. Подскажи мне, могу-

чий кедр, те слова. Я раньше тебя постарел. Мог кое-что и забыть. А ты все еще крепок и еще, пожалуй, простоишь сотню лет, а может, и целых две. Подскажи, священный кедр, поделись со мной, дерево нашей с Таясь клятвы...»

Он прилег на вытаявший из снега высокий куст багульника и прикрыл глаза, вслушиваясь в шепот кедровой хвои, а перед его внутренним взором явственно вставала та далекая осенняя ночь...

А что было той ночью? Топили печь, пили чай из одной деревянной чашки, разузоренной красивым орнаментом, поочередно передавая ее друг другу... Целовались на нарах... У него, как от хмеля, кружилась голова, и, как во хмелю, Арсин медленно расстегнул пуговицы на вороте ее платья... Он целовал ее груди, ощущая их упругую девичью свежесть на своих губах и какую-то невыносимую муку, заполнявшую тело; последним усилием воли он заставлял себя думать лишь об одном: «Нельзя, нельзя переходить границы дозволенного... Я же клятву ей дал...»

Он только обнимал ее все крепче и крепче, но вдруг Таясь как-то обмякла, податливо прильнула к нему всем телом, и когда он почувствовал, что уже не в силах владеть собой, готов преступить все запреты, услышал ее прерывистый шепот:

– Арсин, слышишь, Арсин, – как в бреду выдыхала она, с трудом оторвавшись от его губ. – Я хочу женщиной стать, Арсин... Матерью хочу стать... Ребенка хочу... Только от тебя хочу... только от тебя... Слышишь, Арсин... – Из груди ее вырвался то ли всхлип, то ли стон. – Не думай ни о чем, Арсин, – ты же ни в чем не виноват, верно? Ты ведь не изменял своей клятве, пусть я буду виновата, раз я не могу иначе... Не могу! Вдруг больше тебя никогда не увижу...

И обвив руками его шею, она еще теснее прижалась к нему всем телом, целуя его и шепча какие-то безумные, ласковые слова. Потом вдруг откинула голову, посмотрела на него долгим запоминающим взглядом.

– Только не здесь, Арсин... К дереву клятвы пойдем. К старому кедру. Помнишь, весной ты клялся под ним, что не тронешь меня до свадьбы? Вот и считай, что у нас с тобой нынче свадьба... Пойдем к дереву клятвы, объявим ему об этом... Я сама скажу...

Как во сне, Таясь спустила ноги с нар и, крепко держа его за руку, вышла из избушки. В темноте, под яркими ночными звездами шли они, слившись воедино, к тому самому кедру, на котором он весной вырезал две буквы: «Т» и «А»...

Арсин еще долго бы, наверное, пролежал с зажмуренными глазами на кусте багульника, если бы не близкий крик лебедей. Он расслышал даже взмахи их крыльев, открыл глаза и увидел птиц, пролетевших над самым кедром; теперь они плавно снижались на озеро, слегка подтопленное талыми водами, здесь, на этом озере, лебеди каждый год вили свое гнездо...

- На старое место вернулись, – говорил сам с собой Арсин. – Хорошо, хорошо, семь мудрецов старины. Шибко хорошо, когда и человек, и бегающий зверь, и крылатый клочок родной земли имеет... Покричите-ка еще, милые! Что-то голоса вроде не такие, как у прошлогодних... Плач какой-то, что ли, слышится.

Осторожно, чтобы не спугнуть птиц, Арсин сел, привалясь спиной к стволу кедра и посмотрел на озеро, оттаивающая вода которого поблескивала поверх льда рыбьими чешуйками.

– Кой! – огорченно вскрикнул он. – Да вас трое теперь!.. Так ведь не бывает, четвертый должен быть... То-то мне голоса незнакомыми показались – новички прилетели. Кой, кой! А от прошлогодней пары, выходит, только самец остался. Где же твоя подруга, верный лебедь? В каких краях потерял? Человек ли виноват, хищный ли зверь? Болезнь ее где-то свалила или другой у тебя отобрал? – И он, прикусив губу, не договорил, а только сделал очередную затяжку из своей трубки. – Эх, жизнь... Сколько всяких радостей и несчастий обрушивает она на нас. И не знаешь, когда угомонится...

Разговаривая с лебедями, Арсин невольно вспомнил и свою дальнейшую, уже после фронта, жизнь... А причиной этих его воспоминаний был одинокий лебедь, оставшийся без верной своей подруги...

...После тяжелого ранения Арсина комиссовали, путь на фронт ему был заказан, и теперь он душой и сердцем рвался в родные края, где оставил свою Таясь, свою любимую женщину. На фронте Арсин не получил ни одной весточки ни от ро-

дителей, ни от нее, однако у него и сомнений не возникало в том, что Таясь носит под сердцем его ребенка. Пока воевал – не загадывал, боялся спугнуть счастье, сглазить, а уж потом, после ранения, только о том и думал, как вернется, как сразу по возвращении женится...

В родной Порават он попал в начале Месяца Первых Весенних Ручьев – приехал на оленях из Салехарда. Пока добирался – все успел обдумать насчет дальнейшей жизни: приедет – и первым делом, прямо на следующий день, махнет на оленях в селение Ванды...

О, как Арсин ждал этих минут все последние дни! Только ими и жил, только о них и думал...

Но в родном селении ожидало его известие: Таясь была замужем!

А узнал он об этом так.

Родители едва не лишились рассудка, когда он вошел в дом, – ведь они давно считали его погибшим...

Он сидел в своей гимнастерке за праздничным домашним столом, когда мать незаметно для него подозвала к себе отца: подойди, мол, выгляни в окошко. Отец подошел, подышал на стекло, сказал вполголоса, будто самому себе:

– Смотри-ка, вроде за водой идет, а сама все на наши окна поглядывает... Таясь, жена нашего председателя колхоза... Ну, Юхура-то Кельчина помнишь, сынок? Женился он у нас недавно... Это не к ней ты часом в Ванды ездил? Ну, перед фронтом? А то люди бают...

Сначала-то, сгоряча, Арсин даже не поверил, решил, что родители шутят, но вот снова подошла к окну мать:

– Бедная, и каждый раз вот так – на наши окна все смотрит, смотрит, будто сказать ей что нужно или спросить... А собака-то Юхурова, надо же! Таясь за водой – и она за ней. Как привязанная, ни на шаг не отстанет!

Арсин уже ничего не слышал, чувствуя, как рвется на части сердце, он готов был выскочить из-за стола, побежать к любимой, но тут в глазах у него помутилось, голова закружилась, и чтобы только не рухнуть на пол, он кинулся на койку, яростно скрежеща зубами. Чего угодно ожидал Арсин, к чему угодно готов был – только не к этому. Зачем он остался жив, зачем

раньше времени вернулся домой, когда война еще в самом разгаре?.. Зачем, зачем, какой теперь во всем этом смысл?.. Он бил кулаками по оленьей шкуре и беспрестанно стонал. «А ребенок? – вдруг подумал он. – Как же ребенок? Или нету его?»

– Не виновата твоя Таясь, сынок, – подсела к нему мать. – Ведь мы еще в Месяц Коротких Дней получили из твоего воевавшего места бумагу... Мол, погиб ты в боях. Возле Калинина... города... Нам бумагу уполномоченный читал, я хорошо город запомнила. Помощника Сталина в Москве так зовут. Под Калинином, стало быть. – Мать вытерла слезу с одного глаза, с другого, вновь переживая смерть любимого сына. – А я и не поверила тогда! – Она говорила, а слезы все текли и текли по ее щекам. – Как поверить! Был человек и нету его! Только тонкое дерево с одного удара повалить можно. Щепочку, и ту, бывает, сразу не расщепить... Я так все и думала, что жив ты, сынок... Вот видишь, ты и вправду жив! – Она упала ему на грудь. – О, спасибо тебе, Опаль Турам-Всевышний! Не ошиблась я в своих предчувствиях... Спасибо, что сумел уберечь моего сына, моего мальчика. Вот он – перед моими глазами, живой! – Она села и, уже успокаиваясь, еще раз смахнула слезы краешком платка.

– Ну ладно, мама, ладно... И правда, живой я... – угрюмо сказал Арсин. – Ты мне лучше скажи, как Таясь узнала, что я погиб? А, мама? Как узнала-то?

– Как? – удивилась мать. – Да я же ей и сказала. Ведь она к нам приезжала. Сама приезжала, сынок, перед Новым годом. Вечером. Отец потом ворчал: бесстыжая, мол. А я ему говорю: какая же бесстыжая, если любит она нашего Арсина, бедная, ждать его обещалась... Ну вот, вечером она приехала – чтобы никто, значит, про то не узнал. Я как раз одна в доме была, отец с охоты еще не вернулся. Приехала, значит, на собаках из селенья Ванды. Долго ехала, в дом вошла – будто снежный сугроб... И какая-то она была такая... – Мать примолкла, подыскивая нужное слово.

– Какая, мама? – нетерпеливо спросил Арсин. – Больная, что ли?

– Ну, такая, знаешь... Печальная, что ли... подавленная... Как самка чирка, у которой халеи утят сожрали. Вот какая...

– Ну, приехала она, – торопил ее Арсин, пытаясь представить себе эту картину. – И что спросила?

– Даже не раздевалась, снег только маленько у порога сбила... Верно ли, мол, что тебя война убила – так сразу спрашивает. Я из ящичка, что на полке в священном углу, бумажку казенную вынула, ей даю – знаю, что грамотная. Ну, ту бумажку, которая с армии-то пришла... Вот я ей и дала. Читай, говорю, дочка, я тоже послушаю, может, все же неправильная она, эта бумага...

– Дальше, дальше мама...

– А что дальше, сынок? Прочитала она, вся побледнела да как рухнет на пол, будто деревянная стала, и рыдать. В голос рыдала, меня не стеснялась нисколько. А я все думаю: бедный наш Арсин! Ездил он к тебе, про отца с матерью ради тебя забыл, а теперь вот в чужой земле лежит...

Арсин вдруг так рванул ворот гимнастерки, что оторвал пуговицу. Словно и не он только что ничком лежал – одним прыжком у окна оказался, вперился взглядом в ту сторону, куда ушла недавно Таясь.

А мать, подобрав скатившуюся к ногам пуговицу, с жалостью посмотрела на сына и повела свой рассказ дальше.

– Успокоила я ее, как могла, чаю заварила. Так, немножко хотела узнать, что у вас там с ней было, далеко ли зашло... А она будто ничего не слышит: твердит только, что любила тебя, что не знает, как жить будет...

– И больше она ничего не сказала? – пытал Арсин, все еще глядя в окно. У него чуть было не вырвалось: «Не сказала, что ждет от меня ребенка?» Но все же удержался, не задал вопроса...

– Ничего больше не говорила, – закивала головой мать. – Так, так, сынок, все, как было, рассказываю. Чаю попила, собак накормила и обратно поехала, прямо ночью...

– Ах, мама! Да как же ты не остановила ее? Не оставила ночевать? Ведь знала же, что люблю... Сама ведь говоришь: сердцем чуяла – живой я. Почему ж ты ей-то о том не сказала? Может, тогда и она дождалась бы меня...

– Сердце! Сердце, сынок, оно для нас только с отцом вещун, а для людей-то главное – бумага. А в бумаге прописано, что тебя убило. И печать стоит... Кто она мне, чтоб я ей сердце свое открывала?

Нечего было ответить Арсину, он только наяву будто увидел вдруг эту картину: приехала любимая у всех на виду, не побоялась, стоит перед матерью, как раненая важенка, и не может открыться ей... Кой, как больно сердцу!

А как она все же за Юхура-то вышла? Что, родители ее на калым, что ли, позарились? На оленей?

Ну да, у Юхура их много... Десятков пять, пожалуй, наберется. Вот и продали дочку...

– Этого не знаю, сынок. Чего не знаю, того не знаю. Про это не у меня, у ее родителей надо спрашивать. Они выдавали...

– Да она-то что?! Что у нее – ни языка своего, ни сердца?

– Ну, не знаю, сынок, не пытай старуху. Возьми, да сам у ней и спроси. Хотя что теперь спрашивать, когда уж порог мужнин переступила...

И тут Арсин, все это время неотрывно смотревший в окно, увидел Таясь, взбирающуюся на невысокую горку. На горке она, видно, решила передохнуть – опустила ведра на снег и стала над ними, глядя на дом Арсина...

Вскоре начали набиваться односельчане – все, кто мог ходить, побывали в тот день у них в доме. Прослышав о его приезде, заходили поздравить с возвращением в родные места, задать вопросы, на которые только и мог ответить человек, побывавший там. Арсин словно был сейчас посланцем далекой и страшной войны, всех героев Красной Армии. Убеленные сединами отцы и матери, истосковавшиеся жены, отправившие на фронт мужей, – все по очереди спрашивали его, не видел ли он их близких, не встречал ли на фронте, не знает ли, как воюют, не известно ли чего нового об их судьбе...

Что он мог им, однако, ответить, что объяснить? Как расскажешь про огромность войны, которую, даже побывав там, и умом-то вообразить невозможно? А что уж говорить про человека на ее тысячекилометровых просторах – война людьми крутит, как зимний ураганный ветер снежинками... Что мог рассказать Арсин? Только как они с односельчанами спешно проходили обучение в одном из военных лагерей под Омском, как затем их раскидали по вновь сформированным сибирским дивизиям...

Он думал, что люди ждут каких-то других рассказов – о том, какая она большая, какая страшная эта война, взявшая стольких

молодых, здоровых мужчин. Но односельчане довольствовались и скупыми, стародавними вестями Арсина. Арсин, наверное, острее, чем они, чувствовал, что стал совсем другим; они были простыми, наивными, но это, как ни странно, вовсе не раздражало его, не утомляло, даже радовало... Они были такие же, как прежде, а значит, и мир оставался таким же, как прежде, а не тем, каким он узнал его, – огромным, многолюдным, плещущим кровью и смертью...

До глубокой ночи приходили и уходили люди. Не один чайник вскипятила за это время мать, и печка их, уютная, как и весь дом, старая печка, накалилась, будто яркий закат перед пасмурным днем. Он только тогда и понял, как невелик их бревенчатый дом, какой низкий в нем потолок, настланный из грубо обтесанных досок, когда настоялась в нем такая жара, что даже заслезились заледеневшие окна...

Да, чуть ли не все селение Порават побывало в этот вечер в доме Арсина, но что были ему все эти люди, если не приходила, мельком даже не заглянула его Таясь... Он говорил, объяснял что-то, как умел, а сердце его, словно аорта, проткнутая острым ножом, истекало кровью. Почему она не пришла? Не смогла? Разлюбила? Сердце распирало грудь, и тогда становилось тяжело дышать, кружилась голова, и только огромным усилием воли он сдерживал себя, чтобы не сорваться, не выскочить на улицу, не помчаться ошалело к дому Юхура, где жила теперь его Таясь, единственная на свете любимая женщина. Ах как бы хотел он, как прежде, крепко обнять ее, прижаться к ее сладким губам, сказать, чувствуя, как бьется ее сердце: «Таясь, ты же видишь, как я люблю тебя. Я тебе все прощаю. Только вернись ко мне. Останься со мной...»

Он рассказывал, отвечал на вопросы и даже улыбался, а думал все о своем, и от этих одолевавших его мучительных мыслей у него мутнело в глазах; порой он переставал понимать, где находится – тесен был ему родительский дом... Скорее всего, Арсин и поддался бы терзавшим его чувствам, выбежал бы на улицу, ища встречи с Таясь, если бы... Если бы не заявился, на ночь глядя, ее муж, председатель колхоза Юхур Кельчин...

По тому, как он смотрел на Арсина, можно было понять, что пришел он не просто взглянуть на вернувшегося с того света

фронтовика, что знает что-то важное о нем, об их с Таясь отношениях. Правда, Юхур ни словом об этом не обмолвился, но когда кто-нибудь из соседей – в шутку, всерьез ли – говорил, что теперь солдату можно и жениться, председатель прямо-таки впивался в его лицо ревнивым взглядом, будто собираясь сказать: «Не морочь людям голову, Арсин. Какая там женитьба! Я все знаю. Знаю даже то, что ты до сих пор мой соперник...»

От этих колючих, бесцеремонных взглядов Арсину становилось не по себе. Правда, он старался не показывать этого, но то и дело ловил себя на том, что к месту и не к месту начинает вдруг натужно смеяться, невпопад говорить, ни с того ни с сего грубо отвечать на вопросы о том, что собирается делать дальше... Он еле дождался, когда Юхур наконец ушел...

Всю ночь проворочался Арсин на оленьей шкуре, до рассвета не сомкнул глаз, думая о Таясь, о том, что с ними будет дальше. Не красть же ее теперь, мужнюю жену?.. Или самому уехать куда-то, скрыться? Даже за тот краткий миг, что видел ее в окно, Арсин понял: Таясь в положении. Замуж она вышла, как сказали родители, месяца два назад и, стало быть, ребенок его, его – не Юхура... Эта мысль терзала Арсина, нестерпимо жгла душу.

«Что же ее теперь ждет? – уже в который раз тоскливо спрашивал себя Арсин. – Юхур ведь не может не знать, что она беременна, что это не его ребенок. Взял жену с позором... Что он теперь сделает, как поступит? Вряд ли простит... А Таясь? Что люди станут о ней говорить, что думать?»

Арсина снова бросило в жар. «Что же делать, что же теперь делать?» – лихорадочно соображал он. О себе он сейчас не думал. Думал о Таясь, о своей любимой – и так ей жизнь не в радость, а если еще пойдут о ней сплетни... Уж эти сплетни! Намертво прилипают они к человеку, подобно осетровому клею, марают его, уродуют жизнь, другой раз даже и убивают... Но разве заслужила Таясь такую участь, разве она виновата перед людьми?.. Нет, он должен что-то для нее сделать!

Протерзав себя всю ночь, но так ничего и не придумав, Арсин решил наконец, что должен встретиться с ней, поговорить обо всем, узнать, что думает она сама. Может, ей видится какой-то выход? По крайней мере, скажет, чем он мог бы помочь ей.

Случай такой представился в то же утро.

Арсин, хоть и устал после долгой дороги, после встречи с односельчанами, разошедшимися далеко за полночь, глаз так и не сомкнул. На рассвете, заметив, как заиграли на заиндевевших окнах солнечные лучи, он, крадучись, чтобы не разбудить родных, накинул свой армейский полушубок и вышел на улицу.

Хорошо все-таки было дома, в родных краях! Лежала еще скованная льдом могучая река, сверкал под косым утренним солнцем синий снег, кое-где прострочeнный звериными следами... Вдруг он увидел, что за домом, совсем рядом, сидит на заиндевелых березах целая стая тетеревов, мирно поклевывающих мерзлые почки. Недолго думая, Арсин вернулся в дом, на ходу загнал в свою одностволку патрон и только собрался подкрасться к тетеревам поближе, как стая встрепенулась, затрещала крыльями, дружно снялась с места. От досады Арсин чуть было не побежал за птицами, ругая себя за неловкость, и тут вдруг до него долетел знакомый, похожий на звон колокольчика голос. Отыскав любимую взглядом, он осторожно отошел за угол дома. Таясь, встав пораньше, тихо скликала собак, чтобы запрячь их в нарту – видно, собралась в лес за дровами.

Он стоял, мучительно думая о том, что сделать сейчас, как поступить... Сердце бешено колотилось в груди. Помчаться к ней, пользуясь тем, что одна, поздороваться и если не обнять, то хотя бы договориться о встрече?.. Но тут другая, более здравая мысль пришла в голову. Если он сейчас подойдет к ней -об этом сегодня же будет судачить селение... Он может навредить ей... Нет, он сделает по-другому. Ведь если она и впрямь собралась за дровами – а все здешние рубят лес за речкой Нар-пенг Соям, – он встретит ее там; туда ведь версты две, не больше. А если еще немного спрямить путь, да по утреннему насту -он примчится как раз вовремя, встретится с ней, переговорит обо всем вдали от людских глаз.

Таясь, кажется, тоже увидела Арсина: перед тем, как сесть на нарту, посмотрела в его сторону, а потом перевела взгляд на ведущую к лесу дорогу, как бы приглашая поехать следом.

Когда нарта Таясь, легко скользя по накатанной дороге, скрылась за молодыми березками, стоявшими на опушке леса, Арсин натянул широкие отцовские лыжи и, закинув за плечо

ружье, заспешил в противоположном направлении – в сторону речки Полянг Соям. Если даже кто и наблюдал за ним, решил бы, что солдат торопится на охоту в густой лиственный бор, где в эту пору водятся глухари.

Но как только последние дома поселка скрылись за зелеными молодыми елями, он резко повернул и, не разбирая дороги, напрямую побежал в сторону речки Нарпенг Соям. Отвердевший наст держал хорошо, и Арсин, расстегнув свой полушубок, мчался легко и свободно, широко размахивая правой рукой, в которой держал солдатскую шапку-ушанку со звездочкой. В нетерпении он все убыстрял и убыстрял бег и пошел немного спокойнее только тогда, когда показалась знакомая просторная деляна, на которой лежали сложенные в небольшие ровные кучки ветви поваленных ураганом деревьев.

Еще издали он начал искать глазами, потом наконец услышал упряжку, а вскоре и увидел за низким осинником Таясь, нагружавшую нарту березовыми дровами. Заметив его, собаки сначала заскулили, потом громко залаяли.

– Шитам! Тихо! – прикрикнула она на собак и, заметив Арсина, застыла с березовой слегой в обнимку.

Не помня себя, он рванулся вперед, протянув к ней руки. Изо рта его вырывались клубы пара; и когда ему оставалось лишь несколько шагов, Таясь вдруг выронила свой груз и, словно ей враз отказали ноги, стала медленно оседать на снег.

Арсин успел подхватить ее и, бережно прижав к своей разгоряченной груди, тихо и нежно, как мать ребенка, погладил по бледным щекам, узкому лбу, по выбившейся из-под платка пряди слегка заиндевелых волос, по закрытым глазам, на которых проступили слезинки...

– Арсин, – еле слышно прошептала она, приходя в себя, и столько нежности, столько любви было в одном этом тихом слове; по ее щекам, словно переполнившая весеннее озеро талая вода, неудержимо хлынули слезы. Арсин и сам готов был расплакаться. Вся сила, все мужество понадобились ему, чтобы смотреть, как горько и безутешно плачет любимая...

Наконец она совладала с собой, вытерла глаза уголком платка и тихо спросила, уткнувшись ему в грудь:

– Ну почему, почему ты не написал, Арсин? Ведь живой остался...

− Сначала у партизан был, в тылу у врага, – сбивчиво начал объяснять он, – какие уж там письма... А потом, когда в госпитале... не знаю даже... Сама ведь помнишь, плохо пишу...

Этот довод не удовлетворил ее.

− Ну и что? – с горечью выдохнула она. – Что из того, что плохо пишешь? Мог бы хоть одно слово нацарапать. Товарищей попросить. Чтобы мы тут знали, что ты жив...

− Мог, конечно, – сокрушенно вздохнул он. – Только как я свои слова другому-то передам? Ведь тебе же писать... Стыдно... А матери... честно говоря, и не подумал. Глупо, конечно... Хотел тебя, Таясь, удивить.

− Меня? Чем удивить? – Она недоуменно подняла заплаканное лицо.

− Хотел неожиданно заявиться. Как сказочный богатырь Ими Хилы...

− Вот и удивил, – печально сказала она.

− Дурак, конечно, да. – Он стиснул ее хрупкие плечи. – Но ведь я же, Таясь, надеялся... Мы ведь с тобой поклялись... на острове Шиян... Или ты уже все забыла?

− Глупый... Разве можно такое забыть... Но твои же родители, Арсин, извещение получили...

− Да, Таясь, да! – перебил он. – Но ведь похоронки бывают и ошибочными. Скольких людей после боя погибшими считали. А они, как придавленная к земле трава, выпрямлялись, оставаясь в живых. Так и со мной было. Живой я, видишь?

− Но кто же знал, что ты живой? Господи, если б хоть слово написал, если б хоть как-то подал весточку!

Она осторожно высвободилась из его рук, села на нарту.

− Да, вот и удивил всех... – тоскливо прошептал Арсин. Что он теперь мог объяснить Таясь, что сказать в свое оправдание.

− А все же ты мне ответь, Таясь... – начал он, снова схватив ее за плечи и вплотную приблизив к ней лицо, но на том решимость его и кончилась. – Скажи, Таясь... – Он глубоко вздохнул. – Как все же ты за Юхуром-то оказалась? Неужели никто не знал о наших с тобой отношениях?

− Ну, Юхур-то, скорей всего, ничего не знал.

− И о том, что ты... что у тебя будет...

− Знаешь, может, кто-то о чем-то и догадывался. Но о том,

что на самом деле было...

− Да разве ж ты не могла ему об этом сказать!

− Сказать! Как сказать, если родители без меня все решили... И калым обговорили. Юхур из своего стада десять важенок отдал...

− Но неужели ты ничего не могла возразить? Объяснить? – Арсин от возбуждения встряхнул ее за плечи. – Ты же могла не согласиться! Могла... ох... ведь ты же знала, что ребенок будет.

− А что мне оставалось делать, Арсин? – сказала она жалобно. – Ты войди в мое положение...

− И ты, значит, ничего Юхуру до свадьбы не сказала...

− А я его до свадьбы и в глаза не видела. Ты что, забыл, как у нас парней и девушек женят?

− Ну, не знаю... Все же как-то надо было сказать.

− Кому сказать, Арсин? И потом: сказать и остаться на всю жизнь опозоренной... – Таясь запнулась, сильно прикусила губу. – О ребенке я Юхуру сказала потом, уже после свадьбы...

− Правда сказала?

− В первую же ночь. Разве такое скроешь? Ребенок не ягодка, чтобы положить в туесок да выкинуть...

Арсин смотрел на нее со странным чувством: и уважение, и изумление, и что-то еще, необъяснимое, было в его глазах.

− И ты ему так и сказала...

− Что сказала? – не поняла Таясь, которой передалось его возбуждение.

− Ну... ну что ребенок от меня?..

− Смешной ты, Арсин. Сам же по себе ребенок не появится... Он спросил чей – я и сказала...

− Сказала, значит... – Он утер рукавом полушубка внезапно вспотевший лоб. – Значит, теперь мой ребенок будет его ребенком? Так выходит, Таясь? Ребенком Юхура?

− Выходит так, Арсин, – поникла она.

Понурясь, Арсин снял руки с ее плеч, устало сел рядом с ней на нарту, вытащил из кармана трубку и нервно набил ее табаком.

− Ну, ты ему сказала, а он что? – Рука Арсина, державшая трубку, безжизненно повисла между коленей. – Что Юхур-то?

− Не знаю, Арсин, – покачала она головой и робко провела

рукой по его макушке. – Ничего не знаю... До сих пор не могу его понять. Тогда сказал: сам, мол, узел завязал. Кого, мол, теперь винить...

− Не обижал он тебя?

Она помотала головой.

− Молодец Юхур, – одобрил Арсин. – Простил тебя вроде... А только как же теперь-то? Тогда ведь меня не было, а теперь я вернулся...

− Не знаю... Нахмуренный вчера от тебя пришел. Лицо, как чага березовая, черное, совсем со мной не разговаривал...

− Да-а... – печально вздохнул Арсин и вдруг, насколько позволяли нарты, отодвинулся от нее. – Знаешь что, Таясь?

− Что, Арсин, что? – с надеждой встрепенулась она. – Ну говори же!

− Нельзя нам больше встречаться. Всем троим плохо... Так уж вышло... Ты теперь себя с ним связала, провела поперек нашей дороги священный ручей... Через него не перешагнуть... Я родовой обычай нарушать не могу... А нарушу – презирать меня станут, отвернутся все.

− Но Арсин! – обвила она его шею руками. – Послушай, Арсин... Да, так вышло... Но я же тебя люблю, как любила. Пуще прежнего люблю! – Она вдруг прильнула к нему, осыпала его лицо жаркими поцелуями.

Арсин, сердце которого заходилось от тоски и бессилия, от нежности к ней, снова обнял ее. Она прижалась к нему, кажется, плакала, но он, чувствуя в душе какую-то страшную муку, все же встал, натянул лыжи и, не оглядываясь, размашистым шагом двинулся в глубь леса...

Он не мог сказать, сколько времени тащился на отяжелевших камусах, куда шел. Опомнился лишь на берегу Широкого Мелексимского сора, километрах в двадцати от прежнего мес– та. Поднял голову: солнце уже приближалось к полудню... Никуда больше не спеша, ни о чем не думая, словно и голова и сердце враз превратились в труху, в нутро погибшего на корню дерева, он пошел назад, к дому...

На следующий же День он заявил родителям, что отправляется на весновку на остров Шиян. Сказал об этом и председателю колхоза Юхуру.

Юхур, не глядя на него, угрюмо кивнул головой – одобрил.

...А ему и в самом деле захотелось вдруг поохотиться. Там, на берегах протоки, где обильно рос тальник, собиралось множество куропаток – полакомиться почками тала. А когда придет паводок, в сорах можно будет ловить щуку, окуня, карася.

Погрузив на нарту все необходимое, Арсин ушел к месту весновки...

4

Снова раздавшийся на озере громкий клик лебедей заставил Арсина очнуться. Обычно лебеди кричат так перед полетом... Он оторвал голову от придавленных им кустов багульника и, привстав, посмотрел на озеро.

Так и есть: лебеди, уже расправив, словно паруса, свои белоснежные крылья, начали, шлепая ими по гладкой воде, медленно разгоняться; вот они поднялись над тальниками и потянулись в сторону протоки Рынги, на юг. Но что это? Прилетело трое, а улетает пара... А, вот и одинокий лебедь-самец; словно в нерешительности вздымал он над водой крылья, но не взлетал, будто ждал чего-то... Наконец тоже огласил окрестности громким криком, тоже, будто нехотя работая крыльями, поднялся вдогон за улетевшими птицами.

«Понимаю, понимаю тебя, – сказал про себя Арсин. – Скучно одному». – И сочувственно вздохнул.

Думы его окончательно развеялись от раздавшегося вдруг за спиной оленьего хорканья. Арсин торопливо оглянулся и увидел на расстоянии броска аркана белолобую важенку. Она подозрительно уставилась на него. Что-то очень уж знакомое было в этой оленухе. Белые пятна – на лбу, на одном боку и на другом, выдающийся вперед короткий отросток рога над левым надбровьем... Да это ж его важенка! Личный его олень, который теперь принадлежит совхозному стаду! Как это он сразу ее не признал?! Хорошая была олениха, не раз приносила крепкое и здоровое потомство... Арсин позвал ее. Услышав знакомый голос, белолобая важенка поводила туда-сюда носом, еще раз внимательно всмотрелась в Арсина и... подошла к нему. Он по-

гладил ее по лбу, по мягким волоскам ноздрей и губ, похлопал по холке. Потом бережно провел ладонью по раздувшемуся животу.

– Скоро уже, через день-два отелишься. Иди, кормись, жиру набирайся. Тебе теперь силы шибко нужны будут. Очень даже понадобятся. Иди! – И он подтолкнул важенку; она тут же, рядом с ним, сразу начала копытить слежавшийся снег, принюхиваться в поисках ягеля к обнаженной земле.

Эта белолобая важенка многое прояснила Арсину, ой как многое. Теперь он уже точно знал, что косяк отбился от первого стада совхоза, где бригадиром – Юхур Кельчин. Тот самый Юхур, который в войну, пока Арсин находился на фронте, женился на его Таясь...

С белолобой важенкой связана была одна нехорошая история...

Как и многие ханты, Арсин имел своих личных оленей – от отца достались. Немного их было, всего десятка два, но были.

Лет десять назад в первом стаде совхоза – у них уже тогда совхоз был – произошел несчастный случай, погибли два пастуха. А тут как раз подошло время весенних касланий за Урал, нужно было срочно найти кого-то, кто пошел бы со стадом. Надо сказать, что с уходом стариков на пенсию подыскивать пастухов с каждым годом становилось все труднее и труднее. А тут поджимало, искать особо было некогда, вот и попросили поработать пастухом Арсина – хотя бы временно. Он хоть и не пастушил раньше, да и в годах уже был, все же какой-то толк в оленях знал, во всяком случае, свободно ездил на нарте – не то что молодые, которые и упряжку-то снарядить не могут, кочевая жизнь, лишенная всяких удобств, к каким они в интернатах привыкли, для них тяжела. Пургу глотать да в лесотундре мерзнуть им теперь неохота...

Арсин долго отнекивался, ссылался на свою инвалидность, на возраст, на слабое здоровье, но в конце концов сдался: раз надо – то надо.

Весенне-летнее каслание у него тогда прошло хорошо – их бригада даже заняла второе место среди шести других оленеводческих бригад совхоза. На общем собрании, на празднике

оленевода, директор шибко хвалил пастухов их стада, особенно Арсина. Премию тогда неплохую дали, а ему еще и Почетную грамоту. И опять начальство уговорило его пастухом поработать – хотя бы год, пока не подучатся молодые парни, которых с большим трудом удалось привлечь в оленеводство.

И опять Арсин согласился, хотя и трудно ему уже кочевать было. Надо – значит надо...

Согласился, да, видно, зря: год для его бригады выдался шибко неудачный. Весной, в период отела, ударил мороз, начался гололед, наст стал крепок, как замерзший лед на реке - оленьи копыта не пробивали его. А голодное стадо ох как трудно окарауливать: оленей на месте не удержать – так и норовят разбрестись по бескрайней тундре в поисках корма. Не раз предлагал Арсин перегнать стадо на южную сторону гор – там у животных было бы хоть какое-то укрытие от студеного ветра. Однако бригадир не соглашался, все ждал, что погода вот-вот наладится. А она все не налаживалась и не налаживалась... Много оленей они потеряли в ту памятную весну, особенно туго пришлось молодняку, только что народившимся беспомощным оленятам... Хотя, как впоследствии оказалось, в тех стадах, где бригадиры вовремя отогнали животных в надежное место, такого падежа не было...

Потом, уже на корале, долго совещалась бригада: как быть с потерями? Показать их в отчете? Покажешь – плохо: заканчивался последний год пятилетки, бригада оказалась бы на последнем месте. План-то не выполнен – сразу бы премии лишились. А премия за пятилетку не маленькая. Думали, думали и порешили тогда на собрании бригады: коль виноваты все, то надо часть потерянных животных возместить личными. Каждый из шести пастухов должен был сдать в стадо по пять оленей. Редко, весьма редко прибегают пастухи к такой улов-

ке, но что же делать! Зато и потери совхозу возместили, и сохранность в стаде оказалась не хуже, чем у других...

А уж коли выполнен план по сохранности поголовья, то и премия в конце года должна была выйти бригаде такая, что пастухи вернули бы себе личные затраты с лихвой...

Но до конца года было еще далеко, и бригаду, как назло, подстерегла новая беда.

В Месяц Сбора Ягод, когда уже, считай, совсем отошли комары и оводы, вышел Арсин на ночное дежурство. Олени мирно паслись на северном склоне Двуглавой горы. Все было тихо, спокойно, но вдруг, с наступлением сумерек, стадо зашевелилось, забилось, как рыба в переполненной мотне невода. Арсин всполошился, начал палить из ракетницы и в отсветах одной из ракет заметил рыскавшего среди животных медведя. Зверь отколол от стада с десяток оленей и погнал их к лесистым берегам горной речки Собь.

Все произошло так неожиданно, так быстро, что Арсин не успел ничего предпринять. Как ни пытался он в последующие дни отыскать отколовшуюся часть стада – все было напрасно. По следу на песчаном берегу определили: одиннадцать совхозных оленей угнал медведь. Вроде бы и немного, а все равно заметный урон. Ведь все уже считали, что самое трудное позади, ждали с нетерпением своего «урожая»: вскорости предстоял забой, сдача мяса государству, а уж по результатам сдачи и оценивается окончательно нелегкий труд пастуха...

Арсин не сомневался, что потерянных оленей отнесут на счет всей бригады, но бригадир, брат Юхура, решил по-своему: приказал ему единолично возместить потерю.

Одни члены бригады промолчали – их это будто и не касалось, другие попробовали было возразить, но тут сказал свое веское слово Юхур. Давно уже не было колхоза, давно уж не работал он председателем, в завхозах теперь ходил... А на собрании выяснилось, что его решили назначить бригадиром в их стадо – прежний, мол, на пенсию идет, и Юхур самый достойный кандидат... Так вот, он прямо и сказал на этом собрании, что не нужны, ему, мол, такие пастухи, которые медведя отогнать не могут. Заслуженный – это, мол,

хорошо, но ведь спал, наверно, заслуженный, в то время, когда медведь стадо шерстил... А закончил свое выступление тем, что предложил поддержать бригадира и наказать Арсина как следует, чтобы другим пастухам неповадно было на работе дрыхнуть. На том бригада и порешила, хотя все видели – несправедливо это...

Крепко схватился тогда Арсин с Юхуром. Чуть не до кулаков дело дошло. Под конец, едва не плюнув ему в лицо, сказал:

– Ешь моих оленей. Боюсь только, живот твой от них лопнет... – и, хлопнув дверью, ушел из конторы.

С тех самых пор белолобая важенка и стала собственностью совхоза и числилась в том стаде, где бригадиром был Юхур.

Появление белолобой вселило в душу Арсина новые сомнения. Почему это он, старик, пенсионер, должен сидеть здесь, на острове, спасать стадо человека, который его смертельно обидел? Ведь скоро паводок; если сейчас по крепкому еще льду не уехать с острова, потом тут долго сидеть придется... А у него и продуктов-то с собой мало... Может, и в самом деле, – запрячь лошадь да податься в поселок, сообщить там о важенках, пусть начальство решает, как быть?..

А что? Кто с него может потребовать большего? Ведь он и так, если даст знать вовремя, окажет совхозу большую помощь.

Вот только совесть... Совесть почему-то упорно не хотела бросать животных в беде...

Арсин взглянул на воду, все сильнее выступающую по заберегам, прислушался к звону заливистых бубенцов, снова раздававшихся то здесь, то там... Звон этот безошибочно подсказывал ему, что олени уже занялись поисками новых кормовых мест, что ягель кончается; понял, что отлучаться сейчас никак нельзя – его место здесь, с оленями. Только так, может быть, удастся удержать стадо на острове...

«Нельзя иначе, семь мудрецов старины, – говорил он себе, – пусть это и Юхурово стадо. Люди-то ничего мне не скажут, да про себя все же подумают или на стороне где-нибудь говорить станут: был, мол, у Арсина и другой выход, да только избрал он легкий путь. Ну, конечно, и обиду мою на Юхура тоже вспомнят, а это уж тут ни при чем...»

День клонился к вечеру – весеннее солнце уже готовилось коснуться отрогов Полярного Урала. Юго-восточный ветер наконец стих, в наступившей предвечерней тишине четко разносился звук бубенцов, глухое, подзывающее хорканье важенок, шорох оленьих копыт, разгребающих зернистый снег. Со стороны севера, у еле заметной линии горизонта, виднелось расплыв-

чатое облачко. Арсин приметил его еще днем – тогда оно было совсем-совсем маленьким, наверное, с рыбью чешуйку, а теперь всплывало уже тяжело нагруженной лодкой.

«Это, видать, к непогоде, – подумал Арсин. – Ничего оно доброго не сулит после теплого южного ветра».

Он решил, пока все спокойно, дойти до избушки, взять еду, чайник, прихватить с собой собаку и временно – на всякий непредвиденный случай – обосноваться у старого кедра: отсюда и весь остров хорошо виден, и сухого тала для костра много.

Он не ошибся – погода менялась прямо на глазах. Лыжню стало прихватывать незаметно подкравшимся морозцем, и камуса теперь легко скользили по затвердевшей колее. То и дело ему попадались важенки, которые, утолив первый голод, залегли в нарытые в снегу ямы – только рога, словно занесенные сугробами кустики, виднелись сверху. Однако часть животных еще кормилась или двигалась в поисках ягеля от одного дерева к другому, тщательно принюхиваясь к земле.

Олени пока были спокойны, и это радовало Арсина.

В избушке он прежде всего «произвел учет» своих съестных припасов. У него теперь оставалось полбуханки пшеничного хлеба; порывшись на полке, он нашел связку сушек – наверное, с полкилограмма, коробку рафинада, пачку грузинского чая да пол-литровую банку с рыбьей варкой.

– Небогато, – вздохнул он, складывая продукты в рюкзак. – Но и не шибко плохо. Прожить первое время можно. А там посмотрим. Может, люди придут. А не придут – щедрая тайга и живая водица не оскудели еще на зверя и рыбу. Ничего, как-нибудь проживу...

Он не стал задерживаться в избушке, решил попить чай на месте новой стоянки. Пышногривого своего Бурана привязал к толстой березе с ободранной до уровня вытянутой руки берестой – не раз брал ее для растопки печи и костра; положил побольше сена – чтобы мерину хватило до утра. Рюкзак с продуктами, старый, серого цвета суконный гусь и повытертую оленью шкуру погрузил на нарту. Взяв Акара на поводок, направился к кедру. Завидев оленей, Акар снова попытался их облаять, но, услыхав грозный окрик хозяина, тут же замолчал, хотя всю дорогу при виде животных принимался то скулить, то

рычать. Успокоился он только тогда, когда подошли наконец к стоянке.

Первым делом Арсин, теперь уже небольшой цепью, надежно привязал Акара к ножке нарты и принялся за костер. Сухой тал разгорелся легко, языки огня скакали вокруг чайника проворными белками. Вскоре пузатый зашипел, запыхтел, а потом и крышка на нем запрыгала, будто вошедший в раж шаман.

Арсин поужинал и уселся на нарту, прикидывая в уме, как он будет действовать, если олени в поисках корма пойдут в его сторону и захотят, не дай Бог, переправиться к коренному берегу, который отсюда, конечно, хорошо был им виден...

«Н-да, вряд ли мне их удержать удастся... Одному да еще без обученной собаки, – бормотал Арсин себе под нос, поглядывая на тальниковую косу, уходившую на север, вниз по течению реки. – Нет, не удержать, семь мудрецов старины, коль всерьез навалятся... Шибко тяжко будет. Ширина-то косы вон какая! Полверсты, наверное, набежит. – Арсин встал, прошелся по ровному ряду стройных, высоких талов, протянувшихся от одного берега острова до другого. Расстояние между таловым заслоном и хвойным лесом было, пожалуй, не более двухсот метров; на этом пространстве – кочкастый луг, неширокий сор и озеро, которое уже начало заливать вешней водой.

Арсин еще раз окинул взглядом полоску тала, уселся на нарту, задумался. Потом вдруг будто опомнился:

– О, семь мудрецов старины! Что это я нарту грею? – громко обругал он себя, шлепнув ладонью по бедру. – Зачем я здесь сижу, бестолковая голова?! Столько времени даром теряю. Лес рядом. Топор есть. Руби тала, сколько хочешь, готовь жерди, кораль делай. И как я, старая голова, раньше не сообразил!

Арсин тут же вскочил, схватился за топор, надел лыжи и хотел было уже двинуться рубить жерди, но остановился: – Веревка, веревка нужна... иначе как концы жердей свяжешь? А их надо покрепче соединить, не то олень изгородь сразу повалит, и толку от нее совсем не будет. Однако вот беда – где же веревку-то взять? – Он почесал затылок, поглядывая кругом, и вдруг резко взмахнул рукой: – О, семь мудрецов старины! Ну что за бестолковая голова к старости стала! Сети же в избушке лежат! Правда, хорошие еще... Да что ж делать? Значит, есть веревка. –

Арсин, ободряя сам себя, улыбнулся. – Сети резать будем. Шибко много веревки выйдет, шибко!

И, развернув лыжи, он снова помчался к своей избушке.

Взял обе сети – ставную муксуновую, шириной в двадцать пять метров, и почти новый пыжьяновый провяз, которым и пользовался-то всего лишь однажды – в минувшую путину, вогнал их в старый, зиявший дырами мешок, что висел на поперечном шесте у стены. Внимательно осмотрел углы, подобрал все обрывки веревок, какие нашел, лоскутки мереж и сетей и даже тряпки – все взял, чем можно будет связывать концы жердей. Обратно, хотя ему уже и надо было поторапливаться, шел медленней – чтобы стадо не напугалось, не тронулось раньше времени к тальниковой косе. Оттого-то Арсин, на всякий случай, время от времени покряхтывал и покашливал, успокаивая животных хорошо им знакомым «хей, хей, хе-э-э-эй».

Придя к своей новой стоянке, он первым делом приглядел место, где будет рубить сеть. Выбрал лежавшую неподалеку от кедра толстую, почти без коры ель, принесенную сюда половодьем. Вначале он размотал муксуновую сеть, аккуратно разложил ее на стволе вместе с капроновыми подборами и так же аккуратно начал рубить, прикидывая на глаз, чтобы получались одинаковые куски пяди три длиной. Потом, выбрав обрубки веревки, разделил сеть по ширине еще на три части и уложил все это в свой мешок.

Тальник рос так густо, что местами невозможно было протиснуться. Арсин скинул мешок и примерился к облюбованному им дереву. Вскоре первая жердь была готова.

Арсин снял малицу, немного отдышался, чуть охолонув, снова взялся за топор.

Куча заготовленных жердей быстро росла. Уже взмокла у Арсина рубаха, сам он исходил паром, словно осеннее озеро в пору ледостава; капало с висков, с бровей, он то и дело смахивал пот, чтобы не заливало глаза. В следующую передышку, чтобы не простудиться, он все же влез в малицу, набил табаком трубку и закурил. Прикинул на глаз: на весеннем насте лежало уже штук пятьдесят аккуратных ровненьких кольев.

Не дожидаясь, когда прогорит трубка, он встал, выбрал несколько стоящих рядом деревьев и принялся привязывать к ним

концы жердей примерно на высоте плеча. Потом, на полметра ниже, начал второй ряд. Прошло всего, наверное, часа три, когда у него уже было готово метров сто изгороди. Он полюбовался на нее – все-таки один, без чьей-либо помощи; проверил изгородь на прочность, сильно подергав жерди; кое-где он даже садился на них... Удовлетворенный сделанным, Арсин опять взял топор и пошел рубить новые колья...

Солнце давно уже скрылось за синеющими вершинами Уральских гор, и в гаснущих сумерках ему приходилось действовать осторожнее, чтобы не поранить себе ногу. От долгой работы топор тупился, и Арсин несколько раз подтачивал лезвие маленьким оселком.

Холодный ветерок с севера потягивал все сильнее, и подтаявший было днем наст теперь держал его и без лыж; он почти не проваливался. И это тоже, подумал Арсин, было ему на руку: если сейчас, за ночь, нарубить как можно больше жердей, их легче будет растаскивать по нужным местам. Он по-прежнему работал без малицы, надевал ее лишь в короткие минуты отдыха. Холод в воздухе ощущался все больше, но и это ночное похолодание радовало его: он теперь меньше потел, да и дышать было не так тяжело. Однако усталость тоже давала о себе знать: дрожали руки и ноги, ныли плечи, спина; он теперь все чаще и чаще останавливался передохнуть. Хотелось пить, и он то и дело хватал щепотью смерзшийся льдистый снег, кидал его в рот, жадно сосал. Ноющая усталость во всем теле теперь давила на него так, словно кто-то кинул ему на плечи тяжеленный мешок... Иногда становилось и вовсе невмоготу, и тогда он, еле доплетясь до малицы, натягивал ее на себя почти негнущимися руками и тяжело, как подрубленное дерево, опускался на землю.

Только к утру, когда на северо-востоке заскользили по снежной постели Оби еще совсем холодные солнечные лучи, Арсин позволил себе настоящую, длительную передышку. Он вскипятил чайник, плотно перекусил, выкурил трубку... Теперь можно было продолжить начатую вчера изгородь. Для начала Арсин, как ни жалко было ему, разрубил и вторую сеть – капроновую, однопровязную...

Солнце уже поднялось довольно высоко, однако теплее не становилось. Нарастающий северный ветер делал свое дело, и

солнечные лучи сегодня почти не грели – не то что вчера, когда таял снег. Он посмотрел на озеро: хотя время уже приближалось к полудню, воды на нем не прибавилось и застывшая за ночь серебристая корка льда сверкала на солнце, как большое зеркало...

Морозец тревожил сейчас Арсина больше всего: такой затвердевший наст оленям уже не пробить; если не потеплеет – стадо, скорее всего, начнет в поисках корма метаться по острову: не успей он вовремя перекрыть тальниковый пологий мыс – не миновать бы беды: еще сегодня, пока не расширились забереги, смогут животные переправиться на коренной лесной берег реки...

И, не давая себе передышки, Арсин все наращивал и наращивал свою изгородь. Руки теперь работали автоматически: он ловко подхватывал жердь, наметанными движениями крепко притягивал ее к дереву, вязал узел, и тут же, не мешкая, шел крепить другой конец. Он снова весь взмок, изодрал до крови пальцы – даже виднелись кое-где на белом насте алые капельки... Он то и дело прислушивался: больше всего тревожил его сейчас лай Акара – похоже, олени начинали разбредаться...

Отложив очередную жердь, он вышел на открытое место, чтобы посмотреть, на кого залаял его пес. И увидел двух важенок; подняв торчком короткие хвосты, они добежали вдоль изгороди до самого обрыва, потоптались там немного и понеслись обратно, в глубь острова, под неистовый лай Акара.

Арсин больше не покрикивал на собаку, в душе даже похваливал: молодец, понял, что к чему, хорошо отпугивает оленей от тальникового мыса...

Он прикинул: осталось перекрыть жердями еще три пролета. И вдруг его осенило: не будет он их перекрывать! Что есть мочи кинулся Арсин по крепкому насту, как по гладко накатанной дороге, туда, где сидел на привязи Акар, взял собаку и помчался вместе с ней обратно. Пес, обрадовавшись, радостно лая, тащил хозяина за собой. По дороге Арсин ухитрился в одном месте провалиться по пояс; Акар дернул, и Арсин так ударился лицом о высокую кочку, покрытую прошлогодней осокой, что даже поранил щеку и чуть не выпустил из рук цепь. Поднявшись, побежал дальше.

Задыхаясь, с перепачканным кровью лицом, он остановил Акара возле самого крайнего талового куста. Отсюда и начинался незавершенный участок – от конца изгороди до бурно разлившихся заберегов оставалось, наверное, метров пятнадцать. Перекрывать его уже не было сил...

Но он знал, что делать. Оглядевшись, Арсин срубил талину потолще и перенес ее в центр открытого участка, привязал там Акара. Теперь пес надежно охранял неогороженное пространство.

«Си! Все, семь мудрецов старины! – сказал он, утирая пот. – Дело верное – не попрут же олени на собаку, правда? Они перед ней большой страх имеют, не захотят свои ляжки собачьим зубам подставлять!»

Оставив пса сторожить проход, Арсин, уже спокойнее, принялся довершать свое сооружение. Не торопясь, проверил поперечные жерди, поставленные последними, некоторые привязал снова, покрепче.

– Ну, кажется, все. У-ух! – с облегчением выдохнул он и взглянул на солнце. – Хорошо ли, плохо ли сделал, главное – закончил. Все же загородка не из прутиков – так просто не раздвинете, как какие-нибудь стебельки травы...

Только теперь Арсин почувствовал, что проголодался. Под ложечкой сосало, словно гребла там своими лапами белка. Посмотрел в сторону стоянки, где у него лежал на нарте рюкзак с продуктами, сглотнул слюну – ему хотелось, бросив все, кинуться к нарте, схватить хотя бы кусок хлеба... Но он все же переборол себя, решил пройтись по всей изгороди еще разок. «Вот тогда и можно будет почаевничать», – строго сказал сам себе.

Не успел он пройти и полсотни метров, как из хвойного леса показалось небольшое стадо. Важенки, у которых время отела, видно, было еще неблизко, довольно резво бежали по обрывистой кромке острова. Вот они наткнулись на изгородь и здесь приостановились, сбились в кучу, растерянно потоптались на месте; некоторые закидывали головы на верхнюю жердь – пытались, похоже, определить, нельзя ли разрушить это препятствие... Но изгородь стояла прочно, и важенки, потыкавшись еще немного, зарысили к другой стороне острова, ища свободный проход на влекущий их тальниковый мыс.

Арсину доставляло какое-то особое удовольствие смотреть на них. И не только потому, что изгородь была сработана им на славу. У него было ощущение, будто он сам олень, сам бежит вместе с ними – так хорошо он понимал сейчас этих животных...

Наконец и стадо заметило Арсина, старавшегося все это время не двигаться. Олени стали, подняв головы, но поскольку человек не шевелился, они устремились прямо на него, проскочили совсем рядом, обдав его своим теплым дыханием.

- Хорта, Акар, хорта – лай, Акар, лай! – крикнул им вдогонку Арсин.

Верный Акар тут же зашелся в яростном лае. Он кидался на оленей, натягивал веревку, метался с места на место, пока не убедился, что животные стоят, никуда не движутся. Опять сбившись в кучу, оленухи какое-то время недоуменно разглядывали Акара, так похожего на волка, а потом вдруг все разом задрали ветвистые рога и помчались по кромке острова, почти у самых заберегов, обратно.

– Молодец, Акар, – сказал, подходя к нему, Арсин. – Молодец, семь мудрецов старины! – Он потрепал его по загривку. – И дальше так же служи. Молодец!

Довольный тем, как своевременно осуществил он свою задумку, а главное, радуясь, что безошибочно нашел единственно возможный выход, Арсин пригладил волосы на голове – будто сам себя похвалил.

Да, первую проверку изгородь выдержала неплохо. Хотя, конечно, и проверка-то была – так себе... А вот если животные, оголодав, всерьез начнут рваться на мыс... Нет, тут можно доверять только собственным глазам...

И опять он медленно шел вдоль изгороди, опять придирчиво осматривал каждый пролет, опять тряс что есть силы жерди, проверяя свой кораль на прочность. Кое-где он, решив перестраховаться, еще раз подвязывал концы жердей, кое-где добавлял еще по одной наверху, а кое-где и посредине и снизу, чтобы олени, если снег за это время сильно подтает, не смогли там подлезть.

Олени метались по острову в поисках корма. Звон бубенцов доносился до Арсина то слева, то справа, то с самого дальнего конца острова... Важенки, сбиваясь небольшими группками,

двигались нескончаемой вереницей; бежали то быстро, то медленно, держались, чаще всего, кромки обрыва, подлетали к изгороди, недоуменно останавливались, подсовывались к береговой круче... Убедившись, что здесь им не пройти, они продолжали свой бег вдоль изгороди, то и дело останавливаясь, упираясь в жерди рогами или кладя на них свои головы. И вновь трусили вдоль жердяного заплота, вновь выбегали наконец на собаку. Акар же, хорошо усвоив, чего от него требует хозяин, свирепо облаивал их, становясь все злее, все яростнее; он не давал животным приблизиться к спасительному выходу. И им ничего не оставалось делать, как поворачивать назад. А спустя какое-то время все повторялось сначала...

Арсин подумал-подумал и перетащил нарту и рюкзак с продуктами поближе к тому месту, где был привязан пес; он оставил вещи у крайнего куста, где заканчивалась изгородь; тут и развел, расположившись наконец на отдых, костер.

Занятый неотложным, непривычным для него делом, он и не заметил, как быстро пролетел день. Солнце, подобно человеческому лицу, задернутому тесемкой малицы, еле проглядывало в мутном небе; оно уже цеплялось за отроги Полярного

Урала, где клубились тяжелые облака, готовые к прыжку на южную сторону неба.

«Наверное, вот-вот запуржит, семь мудрецов старины, – подумал он, поглядывая на быстро темнеющий горизонт. – Вот-вот северная пурга сделается хозяином Земли и Неба...»

А порывы ветра уже почесывали голые прутья талов, звенящую сухую траву.

Теперь, когда олени были отрезаны от тальникового мыса, когда он отвел самую большую для стада опасность, Арсин понемногу успокоился, позволил себе расслабиться. Сидя на оленьей шкуре, брошенной на нарту, он с удовольствием пил небольшими глотками густой чай из своей походной кружки, закусывал закаменевшими сушками, прихватывая чайной ложкой густую рыбную варку.

За целый день, считай, у него и крошки во рту не было, и теперь он удивительно споро расправился с двухлитровым пузатым чайником, сходил за водой и снова поставил его на огонь. После чая по всему утомленному телу разлилась такая приятная

теплота, что ему захотелось укутаться поплотнее в свою малицу и тут же, прямо на нарте, заснуть крепким сном. Но он встрепенулся, усилием воли отогнал эти липучие, словно мокрый снег, мысли и, заставив себя встать, пошел собирать сушняк для костра.

Все больше волновались олени, беспрестанно сновали теперь то в одиночку, то группами в поисках корма. Отвердевший за день наст не всегда выдерживал их тяжесть, и животные часто проваливались, больно царапая при этом бабки, и только это пока сдерживало их бег, мешало стаду превратиться в бесконечную, быстро перемещающуюся по острову живую массу.

По тому, с каким упорством возвращались к изгороди одни и те же олени, – он уже начал узнавать некоторых из них, – по тому, как упрямо простаивали они здесь, пробуя изгородь рогами, Арсин понял, что расчет его был верен: если что-то случится – стадо будет пытаться вырваться на свободу именно здесь. Пока что олени – прорвись они через изгородь – еще могли бы переправиться через неширокие забереги на лесную сторону. Но через день-другой такой возможности у них не будет – забереги разольются широко и мощно. К тому же начнется массовый отел, и вряд ли важенки с беспомощными оленятами сунутся в ледяную воду. А тем временем и Обь разольется, как море, затопит низкие берега, и ледоход начнется. Тогда стадо, конечно, не отважится на опасную переправу, хотя здоровым, кормленым оленям и весенняя бурная река не преграда...

«Вот эти два дня, семь мудрецов старины, мне и надо выиграть! – повторял себе Арсин, сидя у костра на нарте. Огонь он развел сильный – надо было обязательно подсушить обувь. - Нельзя пускать их на тальниковый мыс. Ни в коем случае нельзя». И Арсин решил, что совсем не будет спать эту ночь, станет караулить оленей.

Надев успевшие подсохнуть чижи (подопрели слегка за этот колготной день), он натянул сверху еще теплые от огня тоборы, в которые натолкал сухого пырея. Ногам сразу стало тепло, будто он погрузил их в таз с горячей водой.

«Вот это другое дело, семь мудрецов старины, – удовлетворенно подумал Арсин, шлепнув себя по коленям. – Теперь хоть ветер вой, хоть пурга мети...»

А пурга, к слову, уже действительно начала понемногу пробовать свою силу. Внезапно налетающие порывы ветра приносили с собой несущиеся со свистом снежные заряды. Но у костра, под прикрытием таловых кустов, было пока терпимо.

Ближе к ночи разыгралась редкая для этого времени года, невиданной силы вьюга. В одно мгновение все потонуло в воющей снежной круговерти. Бешеные свистящие порывы ветра, будто нарэпом-колотушкой, барабанили по ребрам тальниковых кустов, снежные заряды набрасывались, кажется, сразу со всех сторон – словно какие-то пришедшие в экстаз шаманы выплясывали свой буйный танец священным идолам Земли и Неба...

Олени, пережидая непогоду, совсем перестали подходить к изгороди, и Акар, оставшись без работы, притулился рядом с Арсином с подветренной стороны, хотя, помня службу, то и дело подергивал ушами, прислушиваясь к шорохам, даже привставал порой, но, удостоверившись, что никто не покушается на вверенную ему территорию, опять ложился у ног хозяина. Да и какое животное станет передвигаться в такую немыслимую пургу? Скорее всего, олени пережидали непогоду где-то в лесу, где потише, или улеглись в свои нарытые на ягельниках ямы...

Тем не менее Арсин продолжал свое дежурство. Уж кто-кто, а он, человек Севера, прекрасно знал, что олень едва ли не самое выносливое животное тайги и тундры, приспособленное к самым неожиданным капризам природы, а потому от стада можно ждать любого сюрприза...

Тальниковый куст спасал его плохо – порывы ветра пронизывали теплую малицу насквозь, и Арсин довольно быстро понял, что долго так не выдержит. В то же время и покинуть это место он не имел права: если стадо подастся вдруг сюда -вряд ли тогда в такой кромешной мгле Акар сможет удержать его в одиночку.

Прикинув, как быть, Арсин взял топор и направился к стоящим неподалеку и качающимся на ветру кустам тала, приказав собаке быть начеку.

Ветер чуть не свалил его с ног, пока он вырубил четыре длинных жердины. Арсин подтащил их к нарте, наполовину уже занесенной снегом, крепко связал концы и, воюя с ветром, установил жерди небольшим чумом. Пришлось сходить к кустам

еще раз, нарубить тонких веток – ими он плотно обложил жерди и потом долго вырезал рядом со стоянкой плиты затвердевшего наста. Этими тяжелыми снежными глыбами он завалил жердяной остов, обтянул для прочности свой необычный чум куском оставшейся капроновой сети. Жилище получилось на славу, если не считать, что порывы ветра все же сотрясали его. Это, конечно, никуда не годилось – так все сооружение могло и рухнуть, и тогда пришлось бы Арсину начинать все сначала...

Он обошел вокруг своего снежного чума и раз и два, осторожно попробовал его на прочность. Наконец нашелся, что сделать. Навалил внутрь снежного шалаша сушняка, сходил к стоявшей неподалеку молодой березке, надрал бересты и развел в чуме, где порывы ветра почти не ощущались, легко занявшийся костер. От жара снежные глыбы заблестели, закапали, начали проседать, теснее соединяясь друг с другом.

Си! Все, семь мудрецов старины! – с удовлетворением сказал Арсин, затаптывая огонь. Он притронулся к спаявшимся снежным плитам. – Сейчас и сердце спокойно, и голове хорошо. Не свалится дом.

Вот теперь у него было настоящее укрытие – ледяной чум, которому не страшны ни снег, ни самые злые порывы ветра.

Он снял с нарты оленью шкуру, выколотил из нее снег и расстелил внутри чума.

– Хорошо! – похвалил он свою работу, забравшись внутрь и усаживаясь поудобнее. – Живи себе да живи! Хоть песни пой, хоть сказки сказывай!

Высунувшись по пояс, он дотянулся до нарты, до рюкзака с продуктами, внимательно посмотрел по сторонам. Поблизости, видно, не было ни одного оленя, иначе Акар бы не дремал, уткнувшись носом в лапы. Снова усевшись на шкуре, он подозвал пса ко входу – ему ведь тоже неуютно было на этом воющем и хохочущем ветру...

Арсин ободряюще потрепал Акара по загривку и достал из рюкзака пару сушек. Такой, по его подсчетам, полагался Ака-ру пай из оставшегося на двоих скудного припаса.

Акар благодарно лизнул хозяина теплым языком в ладонь и только после этого принялся за сушки. Он грыз их осторожно, деликатно, подбирая самые малые крошки. Конечно же, пес не

насытился угощением, а только раздразнил аппетит; он еще долго умильно смотрел на Арсина, но в конце концов поняв, что больше ему не перепадет ничего, улегся у ног хозяина, у самого входа в чум.

– Так, так, Акар, – сказал Арсин, словно пес и впрямь понимал его. – Теперь сторожи. Нельзя нам спать. Наготове будь. Как снаряженный капкан.

Акар, словно поняв его, заскулил, завилял своим упругим хвостом.

Воющий на тысячи волчьих голосов ветер продолжал буйствовать и утром. Хотя снег перестал, солнца по-прежнему не было – видно, нырнуло куда-то далеко и надолго в страхе перед вернувшейся зимой. За ночь снежный чум наполовину замело снегом, превратило в какое-то подобие медвежьей берлоги.

Арсин с трудом выбрался из своего убежища. Он так и не сомкнул глаз, к тому же в тесном чуме было не повернуться, и за всю ночь он лишь несколько раз менял позу – облокачивался о землю то одной, то другой рукой. Он чувствовал себя усталым, разбитым – надо было хоть немного размять кости, разогнать кровь. Наказав Акару сторожить, сам пошел вдоль изгороди. Выпавший за ночь снег удержался лишь в хорошо защищенных от ветра местах – ураган смел его начисто, наст сделался настолько крепким, что должен был, по расчетам Ар-сина, держать оленей надежно. Вот уж теперь-то они понесутся по острову, закрутят свою карусель... Но зато и ледяная корка стала не по оленьим копытам твердой, и до ягеля, если он даже еще и уцелел на острове, им не добраться. Важенкам оставался теперь только тонкостебельный хвощ, черневший по берегу озера, да мелкая жестяная осока на макушках многочисленных кочек.

Арсин понимал, что такой скудный корм вряд ли насытит животных, что вскоре они, несмотря на неслабеющий ветер, станут опять лихорадочно метаться по острову,

Он не ошибся: едва решил повернуть назад от обрывистой кромки острова, как навстречу ему, высоко задрав головы, вынеслась большая группа животных.

Не на шутку встревожившись, Арсин заторопился на помощь Акару. Когда он добрался до стоянки, пес уже рвался на своей привязи, усердно лая на остановившихся против него оленей.

Завидев человека, важенки развернулись и потрусили к воде, которая, как обнаружил Арсин, резко поднявшись за ночь, намного сократила ширину охраняемой Акаром полосы; здесь они побежали, все убыстряя шаг, в глубину острова. Вслед за этой группой вскоре появилась другая, затем третья – все стадо опять пришло в движение. Так продолжалось, наверное, до полудня, когда олени наконец смирились со своей участью и, понемногу успокаиваясь, дружно взялись за низкий хвощ и мелкую осоку.

– Малость угомонились, семь мудрецов старины, – почесал в затылке Арсин. – Ладно, если этот корм хоть ненадолго удержит их...

Хотя он и не работал сегодня физически, не сделал и малой доли того, что наворочал вчера, но бессонные ночи и постоянное нервное напряжение – все сказывалось; он чувствовал, что все его тело наливается какой-то свинцовой тяжестью.

– Пора мне, пожалуй, и подкрепиться, – сказал он себе. - После некогда будет. Хотя и надо-то еще продержаться всего ничего. До ночи, ну хотя бы до вечера. А там река поможет. – Он скользнул взглядом по расширявшимся каждый час берегам; вода поднималась на глазах, словно река, подобно сказочному великану, наполняла свою ненасытную утробу через семь огромных глоток...

Разведя костер, он еще раз сделал учет своим скудным припасам. От половины буханки осталась теперь четверть, поллитровая банка с рыбной варкой опустошилась тоже наполовину. Он мог пока не ограничивать себя только в сахаре: в избушке у него был и сахар, и оставались от старых еще запасов две банки сгущенки. Он вскипятил чайник и, согревшись горячим чаем, подкрепился небольшим кусочком хлеба, пятью сухариками и парой ложек рыбной варки.

Верному Акару, как и вчера, кинул две сушки.

Немного повеселев, Арсин снова отправился в обход. Теперь картина на острове несколько изменилась: на открытом пространстве поймы, на берегах круглого озера увидел он сплошной лес рогов. Были тут и только что отелившиеся важенки - голов, наверное, пятьдесят. Оленята, еле поспевая за матерями, с трудом удерживали свои легонькие тельца на слабеньких ножках и, неуверенно переставляя их, скользили на твердом, как металл, насте, падали. Мать тут же возвращалась к детенышу,

наклонялась над ним, подталкивала носом, давая, видимо, какой-то понятный только олененку сигнал; и вскоре малыш, напрягая, очевидно, все свои силенки, поднимался и опять следовал за матерью, не упуская случая приложиться к ее вымени.

Прикинув на глаз численность стада, Арсин понял, что здесь далеко не все олени, что он недосчитывается многих важенок, а среди них – и той, так памятной ему, белолобой.

Он было встревожился: наверное, где-то на другой стороне острова есть еще одно стадо... А потом, подумав, решил иное:

«Ведь корма-то нигде больше нет, кроме как здесь. Видно, эти важенки, которых тут нет, сейчас как раз рожают детенышей. Может, уже облизывают их. Или в первый раз кормят...»

Он представил себе, как в этот самый момент белолобая олениха со всей нежностью, на которую способна лишь мать, вылизывает только что появившегося на белый свет младенца, и олененок, едва-едва расставшись с теплой материнской утробой, весь дрожит, оказавшись вдруг на таком адском ветру. Он представил себе, как новорожденный, следуя инстинкту, неуклюже пытается встать и, оказавшись на ногах, тут же, словно притягиваемый магнитом, начинает тыкаться матери в живот, находит полные животворящего молока соски, жадно приникает к ним. И мать, подарившая ему жизнь, щедро отдает малышу все, что только может ему отдать. И, о чудо! Едва появившийся на свет комочек живой плоти уже сделал первый шаг навстречу самостоятельной жизни. Теперь он не пропадет, теперь он всюду будет следовать за своей матерью...

Небогатый был у Арсина опыт, а все же он хорошо знал, как происходит весенний отел. Это едва ли не самый ответственный период в жизни оленеводов, едва ли не самый сложный в жизни стада, но особенно много значит он в судьбе только народившихся, еще беспомощных оленят. Бывают случаи, когда важенка, если ее что-то сильно напугало, уходит от теленка, не облизав его и не накормив. Если пастух вовремя не обнаружит такого сиротку – того ожидает скорая гибель. Или умрет с голоду, или попадет в зубы песцов и лисиц, которые во время отела всегда держатся вблизи стада. Зачастую устраивают пир около мертвых телят и хищные птицы – орлы, вороны...

Размышляя обо всем этом, Арсин уже знал, что он, конечно же, обязательно пройдется по всему острову, а особенно – по хвойному лесу, посмотрит, как идут дела у новых мамаш, окажет, если потребуется, необходимую помощь новорожденным... Бывает, что телята – а это случается чаще всего у ослабленных важенок – не могут самостоятельно встать на ноги, дотянуться до спасительных материнских сосков. А мать, хотя и не уходит от детеныша, дожидаясь, когда тот поднимется на ноги, ничем не может помочь своему малышу. Вот тут-то как раз и нужна заботливая рука пастуха. Ох как нужна. Он поможет теленку подняться и, поддерживая его, приложит к материнскому соску. А уж когда детеныш наелся – он, словно набравшись чудодейственной силы, уже сам прочно стоит на ножках. Бывает, хотя и редко, что пастуху приходится подбирать оставленных матерью телят, выкармливать из соски. Такой теленок так потом приручается к человеку, что даже не уходит далеко от чума. Авкой называют пастухи таких оленят.

Арсин решил, что пройдется по острову позднее, ночью или даже вечером – пусть только вода вплотную подступит к костру, где он сейчас стоял и где заканчивалась изгородь. Тогда Акар вполне справится со своей задачей один. А если подъем воды будет продолжаться так же стремительно, к завтрашнему дню изгородь может вообще уже не понадобиться: важенки с неокрепшими оленятами уже не сунутся в разлившиеся широко забереги...

Оголодавшие олени были неспокойны, мешали друг другу пастись, то и дело можно было видеть, как то одна, то другая затевают драку, отталкивая рогами соседку от своего небогатого кормового участка.

Но как бы там ни было, а стадо пока остановилось на кормежку, и это немного успокоило Арсина. Он присел на нарту и снова почувствовал, как сильно устал за эти дни. Сон неодолимо накатывал на него, веки смежались сами собой, будто кто-то властно закрывал их, зашивал крепким лоном – ниткой из оленьей жилы...

«А что, если прикорнуть ненадолго? – смутно подумал он. - Что может случиться? Акар на месте... Еще целая ночь впереди, кто знает, может, опять спать не придется...

Стоило ему только допустить мысленно такую возможность, как сон тут же начал неумолимо затягивать его. Уже с трудом понимая, что делает, Арсин встал с нарты, добрался до своего снежного чума и, на ходу крикнув собаке: «Карауль!» – прилег под резкие посвисты незатихающего ветра на оленьей шкуре.

Ему снилось, будто он на пастбище, окарауливает темной осенней ночью стадо. Олени мирно пощипывают ягель, а он, закинув на плечо карабин, от нечего делать любуется звездным небом, тоже почему-то напоминающим ему бескрайнее

пастбище. И вдруг звезды резко спускаются вниз, и теперь на него смотрят из-за лохматых насупившихся елей волчьи глаза. Он понимает: вот-вот накинутся хищники на замершее в страхе стадо. Тогда он стреляет в воздух и кричит своей собаке: «Хорта, хорта! Лай, лай!»

И тут действительно до его слуха доносится неистовый собачий брех. Во сне это или наяву?.. Сознание Арсина медленно выплывает из сонного небытия: да, кажется, и в самом деле лает собака... Какая собака? Его Акар? Он мгновенно все вспоминает и открывает глаза: уже вечерние сумерки, а верный пес заходится в лае, хрипит, словно кто-то душит его.

Окончательно проснувшись, Арсин стремительно выкинулся из своего тесного обиталища, как горностай из норы, и сразу же увидел неподалеку темную движущуюся массу. Это стадо, рвущееся на тальниковую, не обследованную еще оленями часть острова, забыв от голода страх, напирало на Акара. Пес, вдохновленный появлением хозяина, стал бросаться на животных еще злее, залаял еще остервенелее... С десяток самых смелых важенок уже вошли в воду, собираясь миновать охраняемый собакой участок.

Арсин вмиг сообразил, чем это может кончиться, и, схватив короткую тальниковую жердь, бросился, размахивая ею, к берегу. Стоявшие в воде важенки вначале никак не среагировали на его крики, и только когда он в сердцах кинул в них свою жердину, животные метнулись назад, выскочили из воды на берег.

Размахивая руками, словно крыльями, Арсин пошел на остальных оленей, отгоняя их от собаки. Стадо нехотя зашевелилось, но не побежало, как раньше, в обратную сторону, а мед-

ленно двинулось вдоль изгороди на противоположный обрывистый берег острова. И Арсин понял: сейчас он их отогнал, но пройдет совсем немного времени – и стадо вернется, снова будет напирать, вновь и вновь стремясь попасть на тальниковый мыс...

Он вернулся к стоянке, на ходу погладил пса за верную службу, потрепал за ушами и тут же достал из рюкзака исхудавший ситцевый мешочек с сушками, кинул псу сразу четыре штуки – в знак благодарности за особое усердие Взглянув на одинокий месяц, он сообразил, что спал не меньше шести-семи часов. Сон освежил его – вновь возвращались к Арсину бодрость и силы.

Северный ветер задул еще резче, и снежные заряды, как и вчера, начали вновь, словно белым неводом, накрывать остров.

«Кой, семь мудрецов старины! – подумал Арсин. – И что это Вот Турам – Бог Ветров так разозлился?! Никак сердиться не перестанет. Наверное, на Сорок Овас Вот – на Сорок Северных Ветров повернул свое лицо. Кой! Коли так – не жди тогда хорошего...»

Нет, не помнил Арсин на своем веку такой весны... Хотя от отца слышал, что случалось в иные годы, когда северный ветер дул подряд сорок дней. Наверное, отсюда и пошло это название: Сорок Северных Ветров.

Пока пурга не разыгралась вовсю, он решил вскипятить чай. Костер развел на вчерашнем месте, за большим таловым кустом – здесь пока было сравнительно тихо. На сей раз ему пришлось довольствоваться осьмушкой буханки – половинкой оставшейся у него горбушки. Подсчитал сушки – их оказалось всего два десятка с небольшим.

«Совсем мало, – подумал он, взвешивая в руке маленький мешочек. – Рыбной варки хватит тоже только на раз. Вся надежда теперь на то, что кто-нибудь наконец приедет... Только бы лед скорее ушел... А если он задержится? Что тогда делать, семь мудрецов старины? Конечно, в крайнем случае можно какое-то время и без еды обойтись... Выживем, в партизанском отряде и не такое переносить приходилось...»

Ему вдруг припомнился случай, когда он вот так же, в весеннюю распутицу, возвращался с товарищем из разведки и они

наткнулись на отряд карателей. Дело было к вечеру. Отстреливаясь, они отступили к большому болоту и, найдя в темноте на ощупь небольшой клочок сухой земли, поросший мелким кустарником, залегли там. Ночью немцы не стали искать их - побоялись, что ли, а с рассветом принялись обстреливать из автоматов все крупные кочки – видно, были уверены, что после такого свинцового шквала вряд ли что осталось на болоте живым, но все же расположились на всякий случай на сухом берегу на стоянку: а вдруг какой-нибудь партизан да объявится посреди болота. Три дня стояли немцы на берегу, только на четвертый сняли наконец свою западню. И все эти три дня Арсин и его товарищ лежали, не двигаясь, в гнилой воде, без малой крошки во рту.

Вспомнив сейчас этот случай, Арсин подбодрил себя вслух:

– Ничего, семь мудрецов старины! Переживем. Руки-ноги целы, шевелиться еще могу... Не пропаду!.. – Но, поглядев на затянутую мглой северную сторону, не на шутку встревожился: – Смотри-ка, опять ветер начинает с ума сходить. Если завтра к вечеру не угомонится – трое суток дуть будет...

В верности этой старинной приметы Арсин убеждался уже не раз...

Ветер опять стучал по стволам талов, гнал проносившиеся с противным присвистом снежные заряды. Неуютно было на таком ветру даже в теплой надежной малице, так и тянуло нырнуть в снежный чум, но как пойдешь, если олени, будто и не замечая начавшейся вьюги, носятся и носятся вдоль ограды.

Животные, не один раз пробегавшие днем вдоль изгороди, не могли не заметить среди кочек на таловом мысу пучки прошлогодней травы. Успев уничтожить все, что могли, на этой стороне острова, они стремились во что бы то ни стало попасть на тальниковый мыс.

Тут была и еще одна причина. Сегодня Арсин видел, как некоторые важенки уже начинали, будто лоси, кормиться корой тала. Здесь, по эту сторону изгороди, были хвойные деревья, для еды непригодные, там, на той стороне, – сплошь тал, который олени с неохотой, но все же ели в самых крайних случаях. Стало быть, подошел этот самый крайний случай; вот почему и рвутся туда – там есть хоть какой-то корм...

Когда Арсин отправился в очередной свой обход вдоль изгороди, он обнаружил, что олени, занятые талом, уже не пугались его, как раньше. Они лишь ненадолго вскидывали головы и продолжали сгрызать кору с тех немногих кустов, что были по эту сторону кораля. Тем, которым не хватило и этого, оставалось только подойти к самой изгороди и обдирать кору с ее жердей...

«Да-а, – думал Арсин, возвращаясь на свою стоянку. – Неважное дело. Кора – не ягель и не трава. Ой, много ее им пережевать надо, чтобы утолить голод. Шибко много, семь мудрецов старины...»

Ему было жаль животных, сбившихся вдоль всей длины изгороди – коры, и той на всех не хватало. Не было среди них только стельных самок – видно, матери, беспокоясь за судьбу потомства, держались с малышами в хвойном лесу, хоть как-то защищавшем от пурги.

Занятые корой, олени больше не подходили уже к охраняемой полосе; ширина ее сузилась метров до пяти; хотя и стоял мороз, вода все прибывала и прибывала. Видимо, оленей уже можно было пускать на тальниковый мыс; если забереги успели так разлиться – вряд ли они смогут преодолеть это препятствие. И снова наказав псу стеречь, Арсин отправился на тальниковый мыс, чтобы увидеть забереги своими глазами.

«Коли олени уже не смогут переправиться на коренной берег – так зачем же их мучить-то?» – задавал он себе резонный вопрос.

Конечно, в такой снежной круговерти, да еще и на открытом продуваемом месте вряд ли можно было толком разглядеть что-нибудь, но Арсин не зря охотился на острове каждую весну: у него тут были свои приметы, свои ориентиры, по которым он мог сейчас безошибочно определить уровень воды.

Закрываясь рукавицей от слепящего колючего снега, Арсин медленно продвигался вперед по самой кромке острова. Он часто оскальзывался, падал, но, переждав боль, снова осторожно, чтобы не быть опять брошенным на крепкий ледяной наст, вставал и так, шаг за шагом, двигался к узкой оконечности острова. Когда он вышел наконец к той поросшей мелким тальником кромке, где начиналась Малая Обь, он уже совсем обессилел.

Тяжело дыша, Арсин свалился на большую лиственничную корягу, лежавшую на этом месте, как помнилось ему, не один десяток лет.

Вот где пурге было раздолье! Северный ветер хохотал, словно дикий сказочный Менг-великан, готовый кинуться на все живое, цепко впиться в него и умчать в свой лесной чум. Снежные заряды стегали по лицу, будто еловые лапы.

Ухватившись за толстые корни коряги, отдышавшись немного, Арсин наконец смог встать на ноги. Хотя вокруг все кружилось и вертелось, он все же разглядел снежную мутную мглу: вода стоит у коряги почти вплотную.

«О, семь мудрецов старины! – обрадовался он. – В самый раз поднялась. Шибко хорошо. Теперь-то уж точно не полезут олешки в воду, испугаются».

Он не мог сейчас видеть противоположного края воды, но зато знал по предыдущим годам, что разлилась она уже широко.

На всякий случай Арсин решил все же убедиться, что глаза его не обманывают, что вода здесь, рядом, и, скользя по насту, прополз вперед метров десять. Скованная морозом снежно-ледяная масса дышала под ним, ходила ходуном. С трудом пробив рукой твердую корку, он услышал, как внизу сразу забулькало, заплескалось. Теперь уже не оставалось сомнений: вода поднялась так высоко, что важенки с телятами ни за что в нее не сунутся. Если, конечно, их не погонит туда какая-нибудь смертельная опасность...

Арсин засеменил назад, к стоянке, чтобы с ходу, разрубив веревки, сделать проходы в ставшей теперь ненужной изгороди.

И тут же стадо, как косяк рыбы, задержанный насильно заплотом, неудержимо хлынуло на тальниковый мыс.

Арсин с Акаром не мешали оленям, смотрели на них с подветренной стороны раскидистого талового куста.

Увидев, что важенки тут же принялись драть кору с тонкоствольных талов, и совсем теперь успокоившись, Арсин прорубил проходы еще в нескольких местах, а потом направился к стоянке, чтобы погрузить на нарту весь свой скарб. Все, здесь ему теперь делать было нечего. Взяв на всякий случай Акара на

поводок – чтобы не пугал зря только что отелившихся важенок (Арсин был уверен, что таких еще много в хвойном лесу), он двинулся в сторону избушки.

Порывы ветра подхватывали легко нагруженную нарту, то заносили ее в сторону, то гнали вперед, да так, что она обгоняла хозяина. И только когда начался хвойный лес, он сразу же почувствовал, насколько здесь слабее ветер. Время от времени ему встречались нарытые, видимо, загодя под прикрытием елей и кедров снежные ямы, в которых важенки укрывались со своими телятами. При его приближении оленуха тут же вскакивала, вслед за ней начинал неуклюже подниматься и малыш, норовя приложиться к материнскому вымени; были и такие, что лежали в своих ямах пока в одиночку – этим, наверное, предстояло вот-вот отелиться.

До избушки было уже недалеко, когда Арсин, проходя подле чахлого низкого кедра, едва не наступил на лежавшую чуть не на самой его дороге важенку. Акар – очевидно от неожиданности – заскулил, затявкал, резко дергая поводок, и перепуганная важенка, стремглав покинув свою яму, потрусила по насту в направлении крутого обрыва, время от времени тревожно поглядывая назад. Наконец она совсем замедлила ход и стала, теперь уже неотрывно глядя в их с Акаром сторону. Так и прошел бы Арсин мимо, даже не заглянув в яму, – решил уже, что важенка еще не отелилась, как вдруг Акар заскулил и сильно потянул его назад. Арсин нехотя вернулся, не понимая, из-за чего волнуется пес. Яма была просторной, видно, важенка давно уже топталась здесь; нагнувшись, он увидел внизу, среди обнажившихся из-под снега кустов багульника, небольшой темный комочек. Его можно было бы принять и за пень, замшелую корягу, но Акар так скулил, так рвался к этому комочку, что Арсин понял – это лежит либо мертвый, либо вконец обессилевший олененок.

Арсин привязал Акара к ножке нарты и, присев над крохотным неподвижным существом, бережно провел рукой по его головке. Олененок едва приподнял ее и тут же уронил бессильно. Он весь дрожал от холода, и Арсину стало ясно: еще немного, и едва народившаяся эта жизнь угаснет навсегда. Скорее всего, этот слабенький детеныш появился на свет дня два

назад; важенка, конечно, облизывала его все это время, но он никак не мог подняться на ноги, никак не мог дотянуться до вымени и потому был обречен. Не заметь его сейчас Арсин – и все бы кончилось сегодняшней ночью...

Арсин попытался осторожно поставить его, но неокрепшие ножки подкашивались, подобно слабым соломенным стебелькам.

Пастухи в таких случаях обычно отлавливают важенку-мать, приводят ее к теленку и насильно прикладывают малыша к вымени; и бывало, не раз бывало, что слабый олененок чуть ли не сразу после этого, словно после живой воды, начинал жить самостоятельно, а вскоре уже мог и следовать за матерью.

Арсин огляделся, ища мамашу глазами. Важенка отбежала довольно далеко, и поймать ее можно было только арканом. Но вот аркана-то у него как раз и не было. Да и времени на это, если бы даже он нашелся – тоже не было. Жизнь олененка висела на волоске: ему нужно было немедленно, прямо сейчас дать тепло и еду. Не раздумывая, Арсин снял притороченную к нарте оленью шкуру и завернул в нее, как в тулуп, беспомощного малыша. Идти стало труднее. Перекинув лямку через правое плечо, он взял олененка на руки и медленно, чтобы не упасть, понес к избушке. Важенка-мать проводила их жалобным взглядом, но за Арсином она не пошла, остерегаясь, наверное, похожей на волка собаки.

Дверь в избушке за эти дни чуть ли не до середины замело снегом, а сама она походила теперь на бредущего в сугробах огромного медведя. Арсину пришлось положить шкуру на нарты и быстро отгрести от двери затвердевший наст. Затем он внес олененка в дом. В печке уже загодя заготовлены были, как полагается, сухие дрова, береста для растопки, поэтому разжечь огонь было для него делом одной минуты. Дрова тут же занялись, изба наполнилась треском и шумом, по ней быстро начало расходиться тепло. Вслушиваясь в гудение огня в печи, в завывания вьюги на улице, Арсин запалил керосиновую лампу и, торопясь, развернул шкуру. От тепла олененок оживал прямо на глазах: вытягивал одну ножку, потом другую, облизываясь, беспокойно вертел головкой, словно что-то ища...

– Фу, старая башка! Фу, семь мудрецов старины! – выругал себя Арсин. – Совсем ума лишился, словно от мозгов трухи -и

той не осталось. Что же я стою-то? Его ведь кормить надо. Вон как еды просит... – Он поднес к мордочке руку, и олененок тут же с жадностью схватил губами его указательный палец.

– Проголодался! – смущенно закряхтел Арсин, ласково поглаживая малыша. – Ну, ничего, сейчас, потерпи чуток...

Как хорошо, что у него остались эти две банки сгущенного молока! Он тут же взял с полки одну, вскрыл ее. Хотел сначала накапать на палец и дать, но тут же сообразил: вряд ли олененок сможет есть такую густую сладкую массу; Арсин схватил эмалированную кастрюлю, набив ее до краев льдистым снегом, поставил на горячую уже печку. Потом опять вышел на улицу – принес охапку таловых сухих дров, сразу же подкинул в печь. Новая чугунная печурка уже нагрелась до красноты, в избушке невозможно было сидеть в малице; Арсин с удовольствием скинул ее, бросил на нары.

Как только вода в кастрюле закипела, он распустил в ней две столовые ложки сгущенки и как следует перемешал, а потом, чтобы пойло побыстрее остыло, выскочил, как был раздетый, на улицу, поставил кастрюлю в снег и, подождав немного, понес обратно в избушку.

Олененок по-прежнему вяло сучил ножками и все искал, искал вымя.

– Терпишь? – сказал Арсин и сунул в кастрюлю палец.

Молочная жидкость была чуть тепленькой. – Ну, давай, – улыбаясь, поощрил Арсин и, наклонив кастрюлю, поднес ее к мордочке. Но олененок только зафыркал, замотал головой, зaперхал. Арсин огорченно вздохнул, попробовал еще раз – получилось то же самое. Тогда он взял столовую ложку и, зачерпнув ею совсем чуть-чуть, сунул между губами олененка. Тот, видно почувствовав на языке сладкую жидкость, распробовав ее вкус, вдруг с жадностью начал лакать язычком. И пошло у них дело – любо-дорого; Арсин только успевал подносить ложку.

– Ну вот, – приговаривал он, – видишь, какую мы тебе мамку сообразили!

Поразмыслив, он добавил в кастрюлю еще одну ложку сгущенного молока – чтоб получилось питательнее. Олененок заработал язычком еще энергичней. Войдя во вкус, разок даже

попробовал лакать прямо из кастрюли, но из этого у него опять ничего не вышло – больше попадало на пол, чем в рот. Арсин был счастлив, как маленький, – как же, ведь это он научил оленёнка есть, теперь можно не беспокоиться – не пропадет живая тварь.

Совсем уже оживший малыш облизывал губы, крутил головой, даже хоркал тихонько – видимо, просил еще, но Арсин решительно поставил кастрюлю на полку: если перекормишь – тоже плохо будет.

Он снял его вместе с оленьей шкурой с нар и положил на пол неподалеку от печки.

– Подкормился – теперь отдохни малость, – улыбаясь, разговаривал с детенышем Арсин. – Поспи, наберись сил. Потом и мамку твою найдем. А покамест и нам с Акаром подкрепиться надо. Да! – Вдруг хлопнул он себя по лбу. – А Буран-то! Вот старый дурень – совсем о Буране забыл. Он ведь сколько уж времени один тут, в голоде, в холоде – заскучал, наверное. И тут до него донеслось громкое ржание мерина – словно услышав его мысли, трудяга Буран сам о себе напомнил.

Арсин, на ходу влезая в малицу, заторопился к Бурану. Тот понуро стоял там, где он его привязал два дня назад, за толстой березой. Еще на бегу Арсин увидел, что конь давно уже подобрал все сено, которое было ему оставлено, изгрыз вокруг себя снег, пытаясь хоть как-то утолить голод и жажду.

– Ну-ну, не сердись, старый мудрец, – потрепал он Бурана по холке. – Не смотри на меня так сердито. Понимаешь, никак не мог прийти раньше, дела важные были. Ну, не сердись, не сердись, Буран.

Он оправдывался так виновато, будто конь и впрямь понимал его.

Он подскреб сено, что еще оставалось в кошелке, и положил перед мерином. Буран с жадностью набросился на долгожданный корм, а Арсин тем временем старательно стер с его хребта, со впавших боков снежную пыль. Довольный, постоял рядом, слушая, как хрупает конь сеном, потом спохватился - забыл еще об одном важном деле! Он забежал в избушку, взял ведро и затрусил к вилявшей рядом протоке, которую уже вовсе

заливала вода. Буран пил большими глотками, издавая от наслаждения какие-то звуки; холодные капли срывались с его губ, звонко падали в ведро...

Ну, кажется, все. Теперь он мог поесть и сам. Позволил себе проглотить две чайные ложки рыбной варки и половину оставшегося кусочка хлеба. Псу на сей раз перепала всего одна сушка.

Медленно гоняя во рту жеваный хлеб, не спеша его глотать, чтобы оставалось хоть какое-то ощущение сытости, Арсин смотрел на принесенного им олененка. Тот, разомлев от тепла, вольготно раскинулся на шкуре – крепко спал, набираясь сил.

И еще раз сходил Арсин на улицу – на этот раз за охапкой сырых березовых поленьев. Сейчас, когда печь раскалилась, и сырые должны были пойти за милую душу, да еще и выгода была от них: дольше гореть будут...

– Си! Все! – сказал он удовлетворенно, подсаживаясь поближе к печке. Теперь можно и покурить, и поговорить с веселым огнем. – Хорошо гори, дочь солнца! Много тепла дай, – негромко, будто заклинание, произносил Арсин. – Мои старческие бока не забудь разогреть. Хочу после хлопот немного в тепле поспать.

На нарах у него была припасена и еще одна оленья шкура. Разостлав ее, Арсин улегся. Он думал, что уснет сразу, едва лишь доберется до лежанки. Но сон, как ни странно – то ли от перенапряжения, то ли от выпитого крепкого чая, – никак не хотел к нему идти. А может, виной тому было воспоминание о далеком уже времени, которое смутно сегодня шевельнулось в душе, когда он увидел в яме крохотного, погибающего олененка. Воспоминания были связаны с той его первой, после возвращения с фронта, весновкой, когда он узнал о замужестве своей любимой Таясь...

Он тогда на другой же день покинул дом, убежал подальше от людских глаз – в эту вот бревенчатую избушку.

...Недели две прошло, как Арсин сидел на острове со своей тогдашней лайкой Налтув. Он, конечно, припозднился, хоть и не по своей вине: охотничий сезон на полевую пушнину уже прошел, так что он успел взять на капканы всего лишь одну лису да

двух чернохвостых горностаев. Надо было возвращаться в селенье, а он не в силах был ничего с собой поделать – не мог Арсин опять оказаться дома, жить рядом, зная, что она замужем за другим; никак не могло согласиться с этим его сердце...

У него вышли за эти две недели припасы, и питался он теперь одними куропатками, которых во множестве ловил петлями по берегам тальниковой протоки. Куропатки да хлеб, который он экономил. Потом кончился и хлеб, и Арсин, прихватив легкую нарту, сбегал на лыжах в селенье Шурышкары, сдал там в рыбкооп свои небогатые трофеи и купил на вырученные деньги продуктов. Теперь он мог, не думая ни о чем, жить в избушке до ледохода, а там будет видно – во всяком случае, всегда можно добраться по открытой воде до родного Поравата.

Ох как мучился, как терзался в ту весеннюю пору Арсин! Если бы деревья могли поведать, чего стоили ему эти дни, ночи! Если бы они могли передать хоть капельку того горя, которое заставляло его то беспрестанно ходить взад-вперед с опущенной головой, то носиться по острову, подобно взбесившемуся зверю... Если бы заговорили стены избушки о том, что они видели и слышали, если бы могли рассказать, как он страдал, как молил хранителя избушки – Священного Орла – помочь ему решить, что делать дальше, подсказать – стоит ли жить без Таясь, его единственной Большой Любви, его так нелепо потерянного счастья... Да если бы они даже заговорили, стены, у них не нашлось бы таких слов, которые могли бы передать его любовь и его безмерное горе!

Он теперь вовсе не спал ночами, перебирая в памяти незабываемые часы и минуты, проведенные вместе с ней на острове. Десятки раз подходил к раскидистому кедру, на стволе которого были вырезаны буквы «Т» и «А» – свидетельство их клятвы...

Как раз к дереву клятвы шел он в тот вечер, когда все это и произошло...

Вот так же, как и сегодня, вовсю мела метель, завывал волчьей стаей ветер, хлестал в лицо снег, но Арсин, вконец измученный невыносимой тоской, шел через остров, снова и снова вспоминая Таясь и все, что у них было. Стоял мороз, а он брел, откинув капюшон малицы – так легче было его истерзанному

безысходностью мозгу. Он припал к стволу кедра, зашептал непослушными иззябшими губами:

– О священное дерево! Почему ты не помогло мне? Почему не смогло сберечь Таясь от злой судьбы? Ты же было свидете-

лем нашей клятвы в вечной любви. Ведь кора твоя до сих пор хранит свидетельство той клятвы... Так почему же ты не спасло нас от вечной разлуки?! Почему, почему, почему?!

Арсину казалось, что завывающая пурга подхватывает его горькие слова, забрасывает их на своих мощных крыльях за сто речных мысов, и уже оттуда доносится, перекрывая стозевое горло вьюги, раскатистое эхо: «Почему, по-чему, по-чем-му...»

Арсин словно впал в какое-то исступленное забытье. Он все задавал и задавал себе в тот пуржистый вечер эти бесчисленные «почему?». И если не к смерти, то к помешательству был близок тогда... Бесилась пурга, заливалась хохотом, как тысячи прожорливых чаек-халеев в радостной пляске над богатой добычей. А он впал в оцепенение, готовый замерзнуть здесь, под этим могучим кедром...

Невесть сколько длилось это его омертвение; вернул к действительности лай Налтува; собака тявкала, жалобно скулила, лизала горячим языком лицо и снова лаяла, пытаясь что-то объяснить хозяину, сидящему неподвижно под деревом.

Арсин усилием воли приподнял голову, погладил пса по спине.

– Что, друг? И ты меня жалеешь? Даже ты...

Но Налтув не дал ему договорить – опять громко залаял, подрагивая от нервного возбуждения хвостом и неотрывно глядя в сторону склоненной к земле ели, едва маячившей в мутной мгле.

«Зверь, что ли, какой поблизости? – начал приходить в себя Арсин. – Интересно, кто бы это мог быть? Росомаха? Волк? Олень?»

Налтув вдруг сорвался с места, полетел к косой ели, исчез за ней, тявкнул раз, другой, опять прибежал к Арсину, готовый тут же мчаться обратно. Всем своим видом пес показывал, что приглашает хозяина туда, где только что побывал сам. Ничего не понимая, Арсин, оставив свободным одно ухо, натянул капюшон на застывшую голову, прислушался. Ничего, кроме воя пурги. И вдруг между порывами ветра до слуха его донесся не

то стон, не то какой-то слабый, едва различимый зов: «Э-э-эй! Аа-ыын... И-ин!»

«Человек?! Но откуда он мог взяться? Здесь, в такую погоду?! Заблудился кто-то?..» – Арсин тотчас вскочил на ноги.

Скинув остатки оцепенения, Арсин поспешил к наклоненной ели, на помощь человеку, взывающему о спасении. Еще не добежав до места, он различил за толстым стволом фигуру человека Арсин приблизился, человек лежал ничком, не подавая признаков жизни. Он был в женской ягушке, в платке... Сердце Арсина дрогнуло от мгновенно переменившей весь мир догадки. «Неужели она? – лихорадочно зашептал он. – Неужели Таясь?!»

И тут же эту его догадку погасило сомнение: «Нет, этого не может быть. Она замужняя женщина, что ей делать в такую пургу... Таясь сейчас дома, с мужем... Тем более – тяжелая она...» Он наклонился к женщине, чтобы помочь ей подняться; она вдруг слабо шевельнулась и снова, из последних сил, прокричала страшным каким-то шепотом: «А-а-ар-син, где-е ты... По-мо-ги...»

Он с трудом поднял Таясь на ноги, но она обессилела уже настолько, что сама совсем не могла двигаться; она только нашарила его руку, слабо пожала ее окоченевшими пальцами и опять повисла на нем всей тяжестью. Арсин не видел лица -оно было, как положено обычаями, закрыто платком, но теперь он и так знал, что это его Таясь, первая и единственная Большая его Любовь.

− Таясь! – прокричал он, пытаясь вернуть ее в сознание. – Что с тобой, Таясь?..

В ответ она лишь слабо застонала и опять прошептала надрывно: «А-а-рси-ин!»

Осторожно поправив на ней платок, он смел с него снег, бережно провел пальцами по ее замерзшему лицу и так же бережно поцеловал в ледяную щеку.

Она вдруг открыла глаза и, видимо, приходя в себя, прошептала, еле переводя дыхание:

− Здесь плохо, Арсин. Холодно. В избушку надо...

− Да, да, я сейчас, Таясь, сейчас. Потерпи чуток, сейчас мы с тобой пойдем в избушку...

Он опять попробовал поставить ее на ноги, но они – от чрезмерной усталости, от лютого холода – совсем не держали ее.

– Ты погоди, Арсин, – тяжело дыша, прошептала она. – Я немного передохну... с силами соберусь... и пойдем. – И вдруг со стоном схватилась за живот.

Только теперь совсем не искушенному в этих делах Арсину стало ясно, почему Таясь не держат ноги – у нее начинались роды. Он растерялся от этого неожиданного открытия, даже поглядел куда-то в сторону, туда, где за могучей рекой было родное селение, – словно кто-то мог дать ему оттуда совет.

– Сейчас, Таясь, сейчас, – беспрестанно бормотал он. – Сейчас я тебе помогу... – А сам не знал даже, за что взяться, с чего начать...

Но заминка продолжалась недолго, – к счастью, Арсин вдруг обрел ясный разум и, вспомнив о своей охотничьей нарте, побежал за ней.

– Погоди, Таясь, ладно? Чуток погоди – я только за нартой сбегаю. Я мигом. – И помчался к избушке.

Устроив Таясь на крохотной нарточке, Арсин повез ее к домику; он спешил, помня о том, что вот-вот может начаться таинство рождения новой жизни; однако Таясь почти не могла держаться сама, и ему приходилось идти медленно, осторожно. Но, слава Богу, ничего с ней не произошло, пока они добирались до зимовья. Он усадил ее на нары, помог развязать шнурки на полах ягушки. Здесь, в тепле, она пришла в себя и первым делом попросила, чтобы он придумал для нее какое-нибудь сиденье – пониже, чем нары.

Сначала он хотел было усадить ее на чурбак, которым не раз и сам пользовался, но почему-то решил, что чурбак будет для нее слишком груб; и тут его осенило: он поставил рядом с ней низенький столик, на котором обычно ел. Хватаясь за живот и едва сдерживая все чаще вырывающиеся стоны, она с помощью Арсина медленно сползла с нар и почти рухнула на столик.

– Теперь все... – тяжело дыша, сказала она. – Не мешай... Подальше отойди...

В полумраке избы Арсин не мог видеть как следует ее лица, искаженного страданием. Не зная, чем еще помочь ей, он по-

стоял в нерешительности, – вроде бы Таясь гнала его, но как же он может оставить ее в такой момент? Ему вдруг показалось, что в избушке стало прохладно. Он кинулся к железной печке, подкинул на догорающие головешки сухих дров; он сидел на корточках у открытой дверцы до тех пор, пока они не разгорелись, наполняя избушку ровным веселым шумом. Вдруг Арсин услышал за спиной долгий, надрывный стон, от которого ему стало страшно. В испуге обернувшись, он увидел, как Таясь, кусая губы, мыча что-то от боли, пытается, корчась, освободиться от своей ягушки. Он кинулся, чтобы помочь ей, но не сделал и шага, как она, стыдливо отворачиваясь от него, простонала: «Уйди, Ар-си-ин... На улицу... ох... выйди!..»

Она сказала это так, что он не мог не подчиниться; пятясь задом, Арсин безропотно вышел, тщательно прикрыл за собой дощатую дверь.

Искаженное мукой ее лицо так и стояло перед глазами. Не видя ничего, он запнулся о нарту, оставленную у самого порога. Это возвращение к действительности было таким неожиданным, что он в сердцах пнул нарточку ногой, откинул ее подальше. Утирая вспотевшее лицо, сел на выложенную у стены невысокую поленницу.

Возбуждение было так сильно, что все внутри у него дрожало. Трясущимися пальцами Арсин вытащил кисет, набил трубку махрой. Но затянуться так и не успел, – полный нечеловеческого страдания крик донесся вдруг из избушки, казалось, в этом крике мгновенно растворилось все остальное: хохочущая пурга, и словно качающийся на ее пружинистых крыльях остров, и затянутое серой мглой мутное небо, и сам Арсин...

Потом разум властно толкнул его: иди же, иди на помощь; он встал, чтобы бежать к ней, несмотря на запрет, но тут словно придавила его к земле внезапная тишина в избушке. Ни звука теперь не доносилось оттуда...

Арсину эти минуты страха, растерянности, душевных терзаний показались бесконечными; никогда в жизни не уставал он так – ни тогда, когда охотился, ни когда лежал под пулями на фронте. А самое страшное – он не знал, чем помочь так мучающейся за бревенчатой стеной женщине, и от этого чуть не сходил с ума, беспрестанно шепча про себя: «Кур Или-Ики!

Идол Жизни! Помоги ей! Патлам Хот Ангки! Мать Темного Дома! Облегчи страдания Таясь! Помоги ей!..»

И идолы словно и впрямь вняли молитве: Арсин услышал ее слабый голос:

− Арсин, где ты... Зайди в дом, помоги...

Осторожно, чтобы не выстудить избушку, он боком протиснулся в дверь и сразу увидел Таясь, держащую в руках что-то крохотное, неподвижное...

− Ножик возьми, – сказала она измученным шепотом. – Перережь пуповину... Ох, скорее же, Арсин... тяжело мне...

Арсин нерешительно вытащил из чехла, висевшего на поясе, нож, робко подошел к ней... Что резать, как резать?..

− Режь! – настойчиво сказала она, показывая на зажатую в пальцах пуповину.

Его замутило – все-таки это было живое человеческое тело, ее тело, – как же он будет резать?! Но она вдруг тяжко охнула, и он, поверив, что так надо, что это принесет ей облегчение, сжал покрепче рукоять ножа...

− Держи, – едва слышно выдохнула она, передавая ему неподвижное тельце. – Сын твой. Кажется, мертвый... Не дышит... – И Таясь, закрыв глаза, бессильно привалилась спиной к нарам. Черты ее лица заострились, застыли – казалось, она и сама уже не жива. И только слезы горя, катившиеся по ее запавшим щекам, подтверждали, что жизнь не ушла из нее совсем, а только замерла где-то в глубинах ее существа...

Арсин, держа в руках крохотное тельце сына, появившегося на свет раньше положенного времени, и сам вдруг словно закаменел от внезапно обрушившегося на него горя. Уставившись на своего родового идола – Священного Орла, – он исступленно шептал:

− Опаль Аси! Всевышний Отец! За что ты воткнул такой острый нож в мое сердце... За что?..

Но идол молчал, и тогда Арсин, посмотрев на уснувшую с выражением смертной муки Таясь, медленно пошел в противоположный от нар угол, положил мертвого младенца на широкую доску, служившую ему для разделки рыбы...

Беспредельно уставший, опустошенный, словно навсегда кончилась сегодня и его собственная жизнь, Арсин бесцельно вышел на улицу в ошалело свистящую пургу и долго бродил вокруг избушки...

Когда он вернулся, то понял, что Таясь, видно, приходила за это время в себя – ребенок был накрыт ее платком, а сама она лежала на нарах, укутанная в ягушку. Стараясь быть бесшумным, как тень, он подтопил печь и, согревшись немного, опять вышел из домика – теперь он знал, что должен делать. Он собрал доски, которых много было рядом с избушкой, и сколотил крохотный гробик, куда и положил затем мертвое тельце.

Теперь ему оставалось только ждать. Он сидел на своем чурбаке, низко опустив голову. Он не спал, не уснул бы, если даже и захотел. Он сидел, думал... и терпеливо ждал, когда проснется Таясь.

Очнулась она только к полудню. Пурга с утра поутихла, постепенно развиднелось, и вдруг яркий солнечный свет заполнил весь дом.

Встретившись с Арсином глазами, Таясь отвернулась, пряча лицо, слезы опять покатились по щекам. Он взял ее за руку - рука была горячей, и это насторожило Арсина. Он приложил ладонь ко лбу – лоб горел, как раскаленное железо.

Он дал ей воды, и Таясь выпила, стуча зубами о край кружки. И вдруг сказала, глядя на него пронзительным сухим взглядом:

− Видишь, Арсин, к тебе пришла. – Она откинулась на изголовье, покусывая тонкие губы. – Не выгонишь меня, Арсин?

− Да что ты, Таясь? – Он крепко сжал ее руку. – Зачем ты мне сердце режешь?

− Спасибо, Арсин. Только, может, ты не понял – я насовсем пришла…

Он лишь еще сильнее сжал ее руку. Таясь провела ладонью по мокрым щекам и вздохнула:

− Спасибо тебе, Арсин. Мне ведь больше идти не к кому... – Говорила она с трудом, то и дело облизывая сохнущие губы. – Домой идти, к родителям? Позора бы не выдержала... Ты не думай, Арсин, что навязываюсь. Скажешь «нет» – сейчас же уйду. Соберусь... – и чуть приподнялась, готовая и в самом деле тотчас уйти.

– Ты что, Таясь? – Он силой уложил ее на место. – Никуда тебя не пущу!..

– Спасибо, Арсин, – сказала она еще раз, и вдруг у нее судорожно заходили ключицы, она вырвала руку, закрыла лицо.

Он успокаивал ее, как мог, принес горячего сладкого чаю, но она оттолкнула кружку; лихорадочно блестя глазами, заторопилась с рассказом, чтобы он сразу узнал все...

– Ты вернулся – ревность в Юхуре заиграла. Придираться стал по пустякам, мучить. Я долго терпела. Как мертвая рыба молчала. Только молчание его еще сильнее злило – видно, решил мне сполна за все отомстить... С женщиной другой погулять решил... Нашел себе... Знаешь Еквош, молодую жену многооленного старика Лозара? Уедет Лозар по дрова – Юхур сразу к ней. Отправится Лозар петли на куропаток осматривать – опять к ней. Никого не стеснялся. Мне бы наплевать, да люди в глаза говорить начали. Я терпела, терпела... Потом думаю: поговорю с ними сама... Позору-то сколько... Уехал Лозар на оленьей упряжке, а я вечером к нему в дом. Еквош даже двери закрыть на засов забыла от радости... – Таясь замолчала, положив вдруг руку на грудь, на сердце. – Я и рта раскрыть не успела... Как увидел меня Юхур... О, как же он оскорблял... самыми последними словами ругал. Что ты, мол, бегаешь, меня караулишь? Нажила позорно ребенка до замужества – так сиди, мол, и молчи, тише камня на дне реки должна быть! Мне бы, может, и смириться, промолчать – прав он... Да тут я вспомнила, что ты вернулся... Не люблю его, терпеть не могу, а он, оказывается, право имеет кричать... Какое право? Ну, сказала я ему что-то дерзкое... Уж и не помню, что сказала, а он, видно, только того и ждал: по щекам меня, за волосы... На улицу выволок и там, на глазах у всего селенья, бьет и кричит: «Мана, посар! Уходи, гулящая! Уходи с моих глаз! Иди к своему посару! Небось ждет тебя не дождется!..» – Вот так, Арсин, все и произошло, – закончила она, пристальным, требующим чего-то взглядом посмотрев на него. – Ну вырвалась я от Юхура, бегу и плачу... А куда бежать-то? Домой? Домой, конечно, не пошла. Добрела до подруги своей Уят Нэ – помнишь ее, она тоже из наших мест, замуж сюда вышла. Хотела сначала у нее переночевать. А потом

думаю: все равно теперь пропадать, так хоть увижу его напоследок... Встала ночью на лыжи и пошла.

– Господи, да как же ты решилась, Таясь! В такую даль да еще в пургу... Сама на сносях!

– Я ведь к тебе шла, Арсин, – мягко сказала она. – Что мне пурга... Ветер вначале помогал даже – поддувал сзади. Чего там, думала, и идти-то – километров двадцать пять, если на прямую... А от Пароходного мыса тяжело стало – место чистое, ветер навстречу. Умру, думаю, и ладно – все равно никому не нужна... Ребеночек вот только... – Она замолчала, и слезы снова хлынули из ее глаз. – Хотела до нашего дерева клятвы добраться, до кедра раскидистого. А добралась кое-как всего лишь до той ели. Упала – и все, не могу больше встать. Арсин, ох Арсин! Ты хоть веришь мне?..

– Как же мне тебе не верить, Таясь! Любимая моя, дорогая. – Он целовал ее в соленые глаза, в мокрые от слез губы. – Никому тебя не отдам, – шептал он. – От злого слова защищу. Любую беду отведу. Никому не отдам...

...Ребенка он похоронил за домом, у толстой березы на высоком бугре, куда и в самое большое половодье не доходила вода.

А Таясь надолго слегла тогда после преждевременных родов. Горела несколько дней как в огне. Пришлось Арсину вспомнить все, чему учил его когда-то на охоте отец. Заваривал он густой чай из березовой чаги и листьев черной смородины, кормил ее вареньем из плодов шиповника, собранных летом, поил медвежьей желчью, давал медвежий жир, – все это они с отцом хранили в избушке на всякий непредвиденный случай...

Был момент, когда он собрался, пока не начался ледоход, отвезти ее на нарточке до селения Шурышкары, где имелся фельдшерский пункт, но Таясь воспротивилась, ни за что не хотела с ним расставаться. Ну, а потом болезнь, к счастью, пошла на спад. Уже прилетели к этому времени утки и словно взяли болезнь на свои крылья, унесли куда-то.

Арсин, отличный стрелок, носил ей теперь разную дичь: и длинношеих шилохвостей, и крикливых свиязей, и красивых соксунов, и чирков, и, конечно, турухтанов, мясо которых особенно нежно и вкусно. И эта свежая дичина быстро поднимала Таясь на ноги. А с разливом воды на протоках появилась у них на

столе душистая уха из карася и зимовавших в живунах щекуров и нежной нельмы. К ледоходу, когда наступили теплые, солнечные дни, Таясь поправилась окончательно – ожившая природа словно вливала свои щедрые соки в измученное болезнью тело.

И опять она стала стройной, опять словно колокольчик звенел в тишине острова ее голосок, и ей самой уже казалось, что все прошедшее – дурной сон, что она никогда и не была замужем за нелюбимым Юхуром...

С уходом льда подступил срок, когда им надо было возвращаться домой, в Пароват. Конечно, Арсин не мог не готовиться к этому дню; кажется, все обдумал, пока ждал его: как они сойдут на берег, что скажут, что сделают – все продумал. За себя он не волновался. А вот Таясь... Арсин понимал, что ей, конечно, придется тяжелей, чем ему, вдвойне, втройне... Еще бы! Никогда прежде не виданное должно было совершиться у всех на глазах: Арсин появлялся в селении вроде бы и с женой, но с женой, еще не разведенной с другим, фактически замужней, да еще и прилюдно опозоренной... Нет, такого в их краях, пожалуй, не бывало сроду. По крайней мере, ни он, ни она прежде о таком не слыхивали...

Ехали они на колданке – Таясь сидела сзади, рулила легким кормовым веслом. По пути решили заглянуть к ее родителям в селение Ванды – пусть хотя бы для ее стариков случившееся не будет неожиданностью.

Мать встретила Таясь слезами и попреками – мыслимое ли дело, исчезла неизвестно куда, да еще на сносях; отец угрюмо молчал, и видно было, что родители не знают: радоваться им, что дочь наконец нашлась, или печалиться обрушившемуся на семью позору... Оказалось, что для родителей во всем, что они сейчас узнали, большой новости уже не было – месяц назад к ним приезжал Юхур. Велел, чтобы они, как и принято в таких случаях у ханты, коли дочь их жива, либо вернули ее мужу, либо, если она не пожелает вернуться, возвратили обратно калым. Правда, не весь – половину, поскольку, как Юхур выразился, он тоже был мало-мало виноват в том, что Таясь сбежала из его дома.

– Что же теперь делать-то, доченька? – плакала мать.

– А что делать! – буркнул отец, которому, видно, совсем не хотелось расставаться с оленями. – Вернется к законному мужу – да и все!

– Никуда Таясь не вернется! – решительно отрезал Арсин. – Поговорю со своим отцом, отдам, так и быть, Юхуру пять оленей. Пусть они у него поперек горла встанут. Знали бы вы, что он с вашей дочерью сделал!

– Кой! Кой! – замахал руками отец Таясь. – Не говори так. Я тоже, наверное, виноват, что дочь такая непутевая. Юхур нам все рассказал – в чем его-то вина? Так что нечего кипятиться, лучше потихоньку, мирно все порешим, раз уж так вышло. Не надо шума, и так позора столько, что в подолы облаков не запрячешь...

И тут показала свой характер Таясь.

– О чем ты, отец? Какой же позор, если я выхожу замуж за любимого человека? Я как к нему ушла – сердце словно заново родилось. Так что не думай об этом. Оставайся здесь, не надо никуда ездить. Мы сами все уладим, правда, Арсин? А уж тихо, нет ли – как выйдет...

Расставаясь, мать вдруг спохватилась:

– А где же ребеночек-то ваш, Таясь?

– Там, – показала она рукой в сторону острова Шиян, и слезы, как тогда, в ту вьюжную ночь, неудержимо хлынули из ее глаз...

Чуть ли не полселения собралось на берегу, когда они приехали в Порават. Прибежал и Юхур, которому кто-то сказал, что нашлась его пропавшая жена. Он едва дождался, когда они, причалив колданку, поднимутся из-под берега. И сразу, разъяренной рысью, кинулся на Арсина, схватил его за малицу, за грудки.

– Что, солдат, уворовал чужое и радуешься?!

Быть бы драке лютой, может, даже со смертоубийством, но тут властно вмешалась Таясь, вцепилась Юхуру в левую руку, сорвала ее с Арсиновой малицы, встала между ними.

– А ну убери лапы, изверг! Ничего он не уворовывал, сама к нему пришла, когда ты меня перед всеми опозорил. Ты мне те-

перь никто, и я тебе тоже! Получишь своих оленей обратно, не беспокойся... А ну, прочь с дороги!..

Юхур только заморгал от неожиданности своими узкими, заплывшими жиром глазками. Арсин смахнул с груди вторую его руку, и оба они – и Арсин, и Таясь – прошли мимо него, как мимо пустого места.

– Ну погоди, погоди! – спохватившись, пригрозил вслед им Юхур.

А Таясь, взяв Арсина за руку, шла с ним к дому его родителей с гордо поднятой головой, без платка – она первой в их селении нарушила вековой обычай, по которому женщина не имеет права появляться на улице с открытым лицом...

«Да-а, – тихо протянул Арсин, вспоминая то время. – Давно это было...» Он повернулся на другой бок – услышал вдруг, как захоркал лежавший на шкуре олененок.

– Ну что, герой, проснулся? – сказал он весело. – Пришел в себя? Вижу, вижу – ожил маленько. Хорошо, семь мудрецов старины! Еще разика два покормлю, глядишь – и на ноги станешь, запрыгаешь от радости.

Арсин слез с нар. Уже светало, керосин можно было не жечь. Он привернул лампу, погладил малыша по голове, по спинке.

– Ах ты, несмышленыш! – приговаривал он, ласково касаясь рукой мягкой короткой шерстки. – Такой малюсенький еще, как наперсток, а какие воспоминания в моей памяти расшевелил...

Арсин подбросил дров, поставил на печку кастрюлю со сладким пойлом.

На этот раз малыш действовал уже уверенней, почти свободно лакал прямо из кастрюли. Арсин только наклонял ее, чтобы олененку было удобнее. Наевшись, тот опять долго облизывался, а потом вдруг вытянул передние ножки. Весь вид его говорил, что он собирается встать. Арсин осторожно помог, и малыш с трудом, весь содрогаясь от напряжения, поднялся, чуть не завалился опять на пол, но тут же освоился с новой, очевидно, приятной для него позой и вдруг... сделал крохотный шажок, потом другой и, слегка поддерживаемый Арсином, медленно пошел по дощатому полу. Сделав вместе с ним несколько кру-

гов по тесной избушке, Арсин попробовал убрать руки. Олененок чуть-чуть покачался от неуверенности и, постояв в нерешительности еще немного, пошел сам.

– Вот видишь! – радостно засмеялся Арсин. – Уже и на ногах стоишь. Пойдет дело! И правильно! Без ног или без рук что в тайге, что в тундре – куда денешься? Пропадешь. И зверь с ногами, и зверь с крыльями покоя не дадут. А теперь – не то! Теперь ты врагам не дашься. Вот окрепнут немного ноги – на улицу выведу. Может, мама тебя признает. Вот когда счастье-то свое нашел бы... Да-а. – Арсин гладил его по ушам, по слабой шейке. – Ну, походи, походи еще. Порезвись в избе. А мне, брат, делом пора заниматься. Ох, сколько еще нужно сделать...

Арсин вскипятил чайник, посмотрел на полке: пачка грузинского чая была уже на исходе, он решил оставить ее про запас, заварил чагу. С утра, по его расчетам, он мог съесть две сушки, Акару же пока не стал давать ничего – уж больно скуден запас, – но, однако, решил и не брать пса с собой в недолгое путешествие по острову. Надо, надо было обязательно посмотреть, как теперь ведет себя стадо.

Он затянул потуже тесемки на капюшоне малицы, взял топор, сунул на всякий случай за пояс обрезки веревок, что остались от сети, и вышел из избушки.

Снег больше не сыпал, а вот порывы ветра все еще продолжали свистеть между деревьями. Небо немного просветлело, сквозь белесую пелену замерзшим рыбьим глазом слабо проглядывало солнце.

«Пожалуй, – подумал он, – к вечеру спадет ветер. Куда ж больше? Три дня подряд шалит, пора и успокоиться».

Арсин неспешно шел обрывистым берегом острова. Теперь уже можно было спокойно изучать следы, оставленные оленями. Он лишний раз убедился, что животные, ища ягель, перепахали весь хвойный участок, подобрали даже бородатый лишай на стволах елей; понятно, почему теперь стадо почти полностью перекочевало на тальниковый мыс, где, наверное, не осталось уже и травинки – только кора молодого тальника...

Там, где Арсин нашел прошлой ночью погибающего олененка, стояла знакомая белолобая важенка, упорно принюхивалась к месту, где оставила детеныша.

Ах, так это ты, значит, мамаша-то? – обрадовался Арсин. – Нашлась, выходит. Нехорошо, нехорошо свое дите бросать. Ладно, не волнуйся, в надежном месте твой младенец. Приведу потом к тебе, дай только остров обойти.

Пока Арсин добрался до тальникового мыса, он насчитал еще десятка два отелившихся важенок – одни кормили, другие нежно вылизывали малышей.

Стадо он нашел там, где и рассчитывал, – не обнаружив лучшего корма, важенки вовсю глодали кору талов. Рядом с ними резвились уже окрепшие телята. Их было здесь, наверное, не меньше сотни.

Арсин дошел до самого конца мыса и остановился передохнуть у вчерашней коряги; ее толстые, похожие на оленьи рога отростки уже почти скрылись под водой. Здесь, на оголовке мыса, оставался теперь всего один невысокий обрывистый уступ. По многочисленным следам Арсин сразу понял, что олени то и дело подходят здесь к самой воде, долго топчутся на месте, очевидно изучая обстановку; о том же говорили и комочки оленьего помета.

«Так, так, – подумал Арсин, сравнивая со вчерашним уровень воды, покрывшей коренной лед. – Пожалуй, дня три до ледохода осталось. Ну, если только чуть больше – шибко нынче зима бесснежной была. Крепко настыл лед».

Обратно он возвращался другим берегом. И убедился, что олени нигде не пытались покинуть остров – видно, почувствовали, как это теперь нелегко. Вполне довольный результатами своего обхода, он направился к избушке. И опять наткнулся на белолобую важенку, топтавшуюся у своей родильной ямы.

– Ах ты, чуть не забыл про тебя. Ну что, бедняжка, все ждешь? – жалостливо сказал ей Арсин. – Погоди еще чуток. Сейчас только до избушки дойду, и тут же твое дитя в целости и сохранности доставлю. Не горюй, все у тебя в порядке!

И Арсин заторопился, опасаясь, как бы важенке не надоело вдруг стоять у ямы. Иди ищи ее тогда по всему острову...

Чтобы не застудить олененка после теплой избы, Арсин закутал его в свой брезентовый плащ и заторопился назад, к белолобой важенке. Завидев ее, он освободил теленка и, держа его осторожно двумя руками, попытался подсунуть к ней поближе. Но

белолобая осмотрительно отбежала в сторону. Сколько ни ждал Арсин, она при нем так и не решилась подойти к олененку. Тогда он поставил малыша на дно той ямы, в которой тот появился на свет, а сам отошел, чтобы не мешать. Белолобая тут же направилась к детенышу, но когда приблизилась настолько, что уже могла бы лизнуть его, вдруг застыла, начала подозрительно принюхиваться, брезгливо шевеля ноздрями. Видно было, что запах малыша ей не нравится; она обошла свое чадо кругом, осторожно, даже с опаской потянулась к его мордочке, и когда малыш, повинуясь врожденному инстинкту, попытался сунуться под нее, достать до вымени, важенка, вся передернувшись, медленно, не оглядываясь, пошла прочь, словно это был не ее детеныш, и вдруг, звеня боталом, побежала рысью к тальниковому мысу.

«Дела-а, – сказал себе Арсин. – Не признала. Почуяла запах человека – и не признала. Верно пастухи говорят – нельзя трогать только что принесенного олененка. Тронешь – для матери он чужим станет. Раз нет у него на губах запаха ее молока – пиши пропало... Значит, и эта теперь не примет».

Арсин вернулся к яме, присел на крутолобый сугроб.

– Что же поделать, бедненький, – вздохнул он. – Не признала тебя мать. Видно, сиротинушкой останешься. Ну ничего, я тебе пропасть не дам. Поставлю на ноги. Как ветер будешь по тайге бегать... Только посиди пока в яме, ноги поразомни, к холоду попривыкни. А я тем временем покурю, подумаю. Ладно?

Олененок, медленно переступая ножками, принялся обследовать яму, водить носом над землей, как большой – будто искал себе корм.

Пуская струи табачного дыма, которые мгновенно уносило порывами ветра, Арсин опять перенесся мыслями к своей Таясь.

«Кой! – думал он. – Какова жизнь! Сложная до чего! У каждого существа – свой закон. Это же надо – не признать родное дитя! Эх, как бы радовалась моя Таясь, если бы у нас ребенок родился. – Арсин стиснул руки с такой силой, что хрустнули пальцы, вздохнул. – И за что только Бог наказал ее? Самого большого счастья лишил – иметь собственного ребенка... Да, видно, шибко много гадостей наделала тогда болезнь – ну та, что после родов у нее приключилась. Так мне врачи толковали...

Не врали же... Бывает, мол, такое после преждевременных родов... И родственница одна дальняя так же потом сказала, слово в слово. Женщина, мол, иногда как засохший кедр становится, плодоносить перестает...»

Услышав вдруг хорканье малыша, Арсин взглянул на него – олененок пытался закинуть ножку за небольшой выступ, выкарабкаться из ямы.

– Кой, кой! – засмеялся Арсин. – Какой шустрый! Уже и тесно ему там стало. На простор рвется. Рановато тебе еще, ноги вначале силой налей. А то что это – не ноги, соломинки...

Разговаривая сейчас с теленком, Арсин вдруг пожалел, что нет здесь Таясь. Вот уж у кого особая нежность ко всем малышам на свете! Она бы этого заморыша даже лучше матери-важенки приласкала и выходила. А все, наверно, от того, что своего ребеночка Бог не дал...

Едва подумал он о нерастраченном материнском сердце жены, как тут же вспомнилась ему еще одна страница их с Таясь жизни.

Они оба ждали все эти годы ребенка, но разве ж можно сравнить его ожидание с ожиданием Таясь! Седовласые бабушки и пожилые женщины старались при случае утешить Арсина, успокоить – не надо, мол, хоронить надежду, не все еще потеряно. И приводили ему случаи, когда женщины рожали впервые и на пятом, и на седьмом году замужества...

«А уж на тринадцатом-то году, – твердо обещали они, – если Бог против вас зла не держит – обязательно наградит ребенком! И обязательно сыном! Тринадцатый год – он особенный...»

Арсин, простая душа, конечно же, верил этим байкам так же искренне, как верила им и его Таясь; он знал, что она то и дело ходит к бабкам, к многодетным матерям, а потом истово выполняет все их советы...

Как-то зимним вечером, это было на десятом году их совместной жизни, Арсин увидел рядом со своим домом богатую упряжку. Месяц его не было дома – охотился в тайге, и, кажется, в первый раз за все эти десять лет не выбежала навстречу ему Таясь. Уже это удивило его и встревожило – ведь раньше Таясь оказывалась на крыльце, едва заслышав на улице голос его охотничьей лайки. Но еще удивительнее было то, что на этот

раз была даже заперта изнутри дверь. Он забарабанил в нее; на стук вышла в сенки Таясь, но дверь так и не открыла, сказала только, будто так и положено встречать мужа:

− Обожди немного, Арсин, сейчас заканчиваем.

− Что заканчиваем? – в полном недоумении спросил он.

− Потом тебе все объясню...

Теряясь в догадках, он отошел от двери и удивленно посмотрел на окна, только теперь обнаружив, что в них нет света. Ну что ж, подождать, так подождать... Чтобы не терять времени зря, он пошел к своей охотничьей нарте, которую вместе с собакой тащил несколько десятков верст с верховьев таежной речки Шобам-Ёхан, начал распаковывать снаряжение и добычу...

Он еще не закончил развязывать поклажу на своей нарточ-ке, как со скрипом растворилась дверь и к нему в одной легкой ягушке выскочила Таясь.

− Замерз, наверное, да? – прижалась она к Арсину. – Ты не подумай чего, просто не могла я тебя сразу пустить. Ты стучишь, а она дело свое еще не закончила...

− Кто она? Какое дело? – ничего не понимал Арсин.

− Овлэх Вош Ун Нэ у нас, вот кто. Старшая женщина из селенья Овлэх...

И только тут Арсин понял все. Овлэх Вош Ун Нэ была известная всей округе шаманка, пользовавшаяся особым уважением у женщин, считавших, что она лучше любого врача разбирается в их женских недугах, а уж про иные деликатные проблемы – и говорить нечего... Вот и Таясь, в отсутствие мужа, решилась испробовать последнее средство: пригласила шаманку на камлание, чтобы та упросила духов помочь ей стать матерью...

Арсин не стал упрекать жену – ведь не только Таясь, но и ему самому не хватало для полного счастья детей... А когда он услышал, что, по предположениям Овлэх Вош Ун Нэ, беременность должна наступить на тринадцатом году их жизни, он вместе с женой без всяких сомнений поверил в это предсказание. И даже распорядился на радостях, чтобы Таясь как следует отблагодарила гостью за такую добрую весть. Больше того, тут же сам сходил в амбарчик, чего никогда раньше не делал, принес для предсказательницы редкой красоты лисицу-крестовку...

Годы, словно облака, исчезающие на небе, летели один за другим, грея сердце Таясь и Арсина ожиданием обещанного срока.

И вот однажды засияла в глазах Таясь, подобно внезапно выглянувшему из-за туч солнцу, долгожданная радость. Она прижалась к нему и, не скрывая своего счастья, сказала на ухо:

– Кажется, сбылось предсказание...

– Да?! – обрадовался Арсин, но вспомнив, как часто обманывала их надежда, спросил: – А как ты узнала?

– Ну, уже... – замялась она. – Недели две прошло уже... По срокам бы пора, а у меня, кажется, совсем прекратились...

– Что прекратилось? – опять переспросил Арсин, невольно заражаясь ее счастливой верой.

Она ему объяснила, как могла. И тут наконец до него дошло, что на этот раз все похоже на правду, что предсказание шаманки и впрямь сбывается. Он схватил жену на руки, жарко, как в юности, целуя ее, закружил по комнате.

– Наконец-то! – кричал он от радости. – Пумасипа, Кур Кут-Ики! Спасибо, Бог Жизни! Услышал-таки нашу молитву... Ох, какой я счастливый, Таясь! – Он еще крепче обнял жену, но вдруг осторожно разжал руки, спросил с тревогой: – А я так не причиню тебе вреда? Худо не будет?!

Таясь только улыбнулась в ответ счастливой улыбкой.

Но радость их вскоре и угасла, как, бывает, угасает с первым же ударом мороза едва появившийся весной ручеек... Примерно через неделю задержка у Таясь кончилась, и она поняла, что не будет у нее ребенка и на этот раз, и, похоже, теперь уже никогда не будет...

Арсин еще не видел жену такой тихой, такой подавленной, безразличной ко всему на свете. Она вдруг словно утратила интерес к самой жизни. В постель теперь ложилась как мертвая – ляжет и лежит неподвижно, даже дыхания не слышно. Но, как случайно обнаружил Арсин, ночами она не спала, ворочалась с бока на бок, тяжело вздыхала: видно, все время думала о чем-то...

Так продолжалось, наверное, дней десять, а потом Таясь снова очнулась от своего забытья. Однажды вечером она легла в постель много позже обычного и, убедившись, что Арсин еще не спит, долго ворочалась, будто лежала на колючих еловых

лапах, покряхтывала, тяжело вздыхала и вдруг, не поворачиваясь к нему, сказала каким-то чужим голосом:

– Не спишь, Арсин? Все поговорить с тобой хочу – как дальше-то жить будем?

Сердце его сжалось от той муки, которую услышал он за этими словами, муки, которую носила она в себе все эти дни. Но спросил бодро, делая вид, что не понимает, о чем она.

– Что значит как? – и успокаивающе положил ей на плечо руку. – Как жили, так и будем жить...

– Ты же знаешь, Арсин, про что я... Как мы без ребеночка-то жить будем?

– А-а, – протянул Арсин, выгадывая время. – Вот ты о чем...

– Да, Арсин, да. Об этом. О том, сможем ли мы прожить без ребенка! – Она откинула теплую ягушку, придвинулась ближе и, оперевшись на локоть, пристально посмотрела ему в лицо, на которое падали тусклые отблески печного огня – Таясь любила натопить на ночь как следует. – Я понимаю, Арсин, конечно, труд но говорить об этом... Ты ведь прекрасно знаешь, что я, я во всем виновата. Ты ничего не скажешь, но я ж не слепая, я ведь нутром чувствую, как тебе ребенка хочется. Вижу, когда приходим к под
руге моей Уят Нэ, как у тебя сразу при взгляде на ребятишек глаза загораются. Словно солнцем вспыхивают. Вспыхнут, а потом черная тень, как туча, на глаза твои набежит... Только я это вижу,
и только я знаю, отчего так... – Она горестно вздохнула и быстро провела рукой по глазам. – Знал бы ты, какая зависть меня охватывает, когда ты ее ребенка берешь на руки... Ох как бы я хотела,
чтобы это был мой ребенок! Мой и твой, Арсин. Как я просила ребеночка у Куркут-Ики – Бога Жизни, как просила! – Она еле сдерживала рыдания, и Арсин попытался успокоить ее.

– Что ты, Таясь? Зачем так говоришь, зачем бередишь себе душу?

– Так и говорю, как думаю, Арсин. Я же знаю, ты хоть и не скажешь сам, не упрекнешь меня, но мне-то от этого не легче. Ведь дом без детских голосов – все равно, что дерево, лишенное корней. Все равно раньше времени засохнет... В общем, я надумала...

– Что ты еще там надумала?

– Не надо так, Арсин. Я долго о том размышляла – не одну пару кисов за это время смастерить бы можно, не одну малицу сшить...

Она вдруг отвернулась от него, вновь накрылась ягушкой, сказала еле слышно:

– Может, тебе оставить меня, Арсин?

– Как оставить? Не пойму что-то, – растерялся он. – Зачем?

– Ну... другую возьмешь. Которая родить сможет.

– Да ты что, Таясь? Ты в своем уме?

– А что тут такого? А то еще одну жену в дом приведи. Вон старик Митри – до сих пор двух жен имеет. Одна – старуха, от которой нет у него детей. И вторая, молодая – от этой два сына, как богатыри растут.

– Ты хоть думаешь, что говоришь, Таясь? Нет, что-то с тобой совсем неладно... Я уже не тот молоденький Арсин, как когда-то, но клятвы нашей у старого кедра не позабыл! – Он поднялся, зажег лампу на столе, присел у постели на корточках. Погладил ее волосы, с состраданием вглядываясь в ее лицо.

– Да ну что ты, в самом деле, Арсин, – смутилась она. – Со мной все нормально. Просто видишь, как все получилось... А теперь мысли в голове все перепутались, как сети, которые скользкий налим в тугой узел закрутил... – Она опять смахнула слезы. – Это какой-то нечистый меня малость ума лишил. Не бойся, Арсин, не буду больше так, не обижайся.

Они еще долго говорили в эту ночь. Трудно – словно длинную трехстенную муксуновую сеть ставили. И уж под утро порешили, что Таясь сходит к вдове Окуль, у которой прошлой осенью провалился под лед муж. Уже после этого несчастного случая, в Месяц Ветров, родила Окуль сыновей-близнецов. Четверо у нее стало. Нелегко ей, бедной, с такой артелью управляться. Так, может, отдаст им одного сына? И Окуль полегче, и у них в доме детские ножки топотать будут... Может, согласится?

К несказанной радости, Окуль уступила горячим просьбам Арсина и Таясь...

Вот эта-то пора их с Таясь жизни и вспомнилась Арсину, склонившемуся над олененком, которого родная мать отказалась признать своим.

– Ну, что ж с тобой поделаешь? – сказал он, вставая с сугроба. – Донесу, так и быть, в последний раз до избушки. А завтра, думаю, сам ножками затопаешь. – Арсин опять завернул олененка в брезентовый плащ и, взяв на руки, понес к зимовью.

У дверей постоял немного, решая: оставлять или не оставлять олененка на улице. Решил не оставлять – занес его в дом. Олененок обрадовался теплу, затопал копытцами. Арсин тем временем сходил к мерину, стряхнул с него снежную пыль и пошел к стожку сена. Кинул Бурану целую охапку, принес с протоки воды, напоил его.

Вот теперь можно было позаботиться и о себе самом. Он натопил печку, вскипятил чайник, съел положенные по норме две сушки. Одна досталась и Акару. От чая разлилось по всему телу приятное тепло, даже на пустой желудок неумолимо клонило в сон.

«Вроде пока все нормально, – сказал себе Арсин, устраиваясь на нарах. – Стадо на месте. Помощников своих накормил. Можно и полежать немного, а дальше – видно будет... Хорошо бы, конечно, вздремнуть... Поспать бы, сил поднабраться. Сон в моем положении – дороже золота...»

Под монотонное посвистывание и завывание ветра, уже значительно ослабевшего, Арсин крепко уснул и очнулся только к следующему утру.

Прислушался. Тихо было на улице, не шумел больше ветер. Лучи рано встающего теперь солнца слабо посверкивали на покрывшемся тонким ледком стекле оконца. Посапывал на полу олененок, свернувшийся комочком на теплой шкуре.

Арсин обулся, вышел за порог. Небо – словно голубая гладь Оби во время полного штиля, и ни единого на нем облачка. Воздух прозрачен, переполнен весь какой-то духмяной свежестью, какая бывает только весной, в период пробуждения природы. Он вдохнул полной грудью, прислушался к звукам природы. Где-то невдалеке, скрипуче издавая свое «ха-пев, ха-пев», пересмеивались куропатки, радовались установившейся хорошей погоде.

– Эх, ружья нет! – подосадовал Арсин, почесывая висок. - Сейчас бы, с ружьем-то, вмиг бы на варево себе добыл. Да только кто знал, что на столько дней придется к острову привязаться?

Потом он услышал трубные крики лебедей, донесшиеся со стороны озера.

«Да-а, – подумал Арсин, – постоит такая погода – гуси, утки как из мешка повалятся. Задержал их ветер на три дня, теперь нагонять станут... Эх! Пропала нынче у меня охота!»

Он еще постоял у крыльца избушки, радуясь чудесному весеннему утру. Потом спохватился: дела не ждут. Сначала напоил мерина, задал ему сена. Потом настала очередь олененка. Накормив его, Арсин позавтракал и сам – кружка чая из чаги и две положенные ему сушки – и пошел в обход по острову. Отелившихся важенок еще прибавилось – в двух местах он застал мамаш, вовсю облизывавших только что появившихся на свет детенышей. Теперь Арсин за приплод особо не беспокоился: пурга – самый страшный враг для стельных важенок -миновала. Пришедшее с утром весеннее тепло мощно и напористо заливало окрестности.

Самое главное сейчас – чтобы у отелившихся важенок было в достатке полноценного корма. Только вот откуда ему здесь взяться, этому корму? Ягель они съели подчистую, от прошлогодней травы остались одни корешки. Только кора молодого тала...

Но обходя остров, Арсин обнаружил, что и стволы талов обглоданы теперь до того самого уровня, до которого только могли достать олени. Обнаружил он также, что стадо опять пришло в движение в поисках корма. А этого сейчас никак нельзя было допускать: кормящие важенки моментально сбросят жир, отощают и вконец обессилеют. Оленям сейчас нужен был только покой, покой и корм – у важенок должно быть достаточно молока, чтобы телята окончательно встали на ноги.

«Что же делать, – упорно размышлял Арсин, – что еще придумать, чтобы спасти стадо?» Теперь он должен был полагаться только на себя: на пастухов он уже не рассчитывал, а люди из селений могли подъехать сюда только после ледохода. И хотя он видел, что разлившиеся забереги сегодня еще туже сжали

ледяную грудь реки, когда тронется лед, по-прежнему было неясно.

Стоя у своей разрушенной изгороди, Арсин обнаружил, что олени ободрали всю кору и с поперечных привязанных жердей, и с тех, что он бросал на землю, когда делал в корале проходы. И тут его осенило:

– До чего ж я глупый, семь мудрецов старины! – пробормотал он, хлопнув себя по бедрам. – Как же я раньше-то не догадался! Ведь олени объедают кору только внизу, в нижней части дерева. А верх-то нетронутый остается. Вот глупый! Кой, сколько там корма!

И Арсин с ходу принялся рубить таловые жерди, выбирая те, у которых стволы были потоньше. Начал он горячо, но хотя работа и не была тяжелой – на тонкомерное дерево требовался один, самое большее два взмаха, – тем не менее Арсин, сидевший все эти дни впроголодь, начал быстро уставать; он часто останавливался, перекуривал и с удовольствием наблюдал, как следом за ним шли важенки и тут же жадно накидывались на кору.

Врубаясь в таловые кущи, Арсин прикинул в уме, что каждому животному, чтобы мало-мальски наесться, нужно не менее четырех-пяти деревьев в день. Вот из этого-то расчета он теперь и валил тал.

Из этого расчета... Это только сказать легко, а сделать... Он, конечно, быстро вспотел в малице и, скинув ее, продолжал орудовать топором в одной рубахе. А когда решил, что тала нарублено достаточно, и, утирая пот, отложил топор в сторону, солнце уже подходило к полудню. Грело жарко, как раскаленная печка – словно наверстывало те дни, что были отобраны у него неистово бушевавшей пургой.

Снег понемногу начал оттаивать, в лунках заблестели капельки воды. Как ни крепок был наст, образовавшийся за эти дни, но и он под необычно жарким солнцем терял свою прочность, рассыпался, как олений мех во время линьки.

На открытых местах важенки теперь то и дело проваливались глубоко в снег, порой увлекая за собой шедших следом телят. И это была новая забота Арсина – без помощи человека олененок мог бы из ямы и не выбраться... Теперь ему приходи-

лось прочесывать весь остров, выискивать попавших в беду сосунков.

В один из таких своих рейсов он увидел однорогую важенку, проявляющую какое-то особо сильное беспокойство. Она топталась на месте, старательно разгребала копытами снег вокруг теленка, часто подходила к нему, ласково тыкалась в кончик его носика, как бы приглашая встать и последовать за ней. И хотя снег вокруг был уже разбросан и от ямы почти ничего не осталось, теленок на ноги стать почему-то не мог.

Арсин, догадавшись, что случилось что-то неладное, поспешил на помощь. Было странно, что важенка при его приближении не отбежала, больше того, она все время крутилась рядом, даже проявляла некоторую агрессивность, угрожающе наклоняла голову с единственным своим рогом: не трогай, мол, мое дитя. Не обращая на нее внимания, Арсин подошел к теленку вплотную, попытался поставить его на ноги и тут все понял: правая передняя ножка у малыша была сломана...

«Да-а, брат, – грустно протянул Арсин, опуская олененка на снег. – Отбегался. Тут уж я ничего не смогу сделать. – Арсин покосился на важенку. Теперь она смотрела на него так, будто надеялась, что он сможет помочь ее беде, и Арсин вздохнул. – Придется малыша жизни лишать. А шкуру в совхоз после сдам. Все же не будет потерей считаться». Он поднял олененка на руки и понес его к избушке.

Важенка шла за ним по пятам, мотая головой и жалобно хоркая.

«Кой, семь мудрецов старины! – подумал он. – Не хочется убивать на глазах у матери. Мне-то тяжело, а ей каково? Нет, только не при ней...»

Он хотел отогнать важенку от избушки, но, отбежав на несколько шагов, она снова и снова упорно возвращалась к нему Пришлось занести раненого малыша в дом, а того, первого, что находился в избушке, вывести на улицу и привязать к кошевке. Важенка тут же подбежала к малышу, но, обнюхав и убедившись, что это не ее детеныш, отошла, остановилась подле старой, засохшей ели, глядя на избушку.

Арсин отыскал сёхар – острый узкий нож, повертел его, проверяя лезвие. Он медлил, никак не решался приступить к делу. Так не хотелось лишать жизни малое существо, этот уди-

вительно живой комочек с мягкошерстной шкуркой. Ох, до чего же не лежало к этому сердце!

Наконец он собрался с духом. Зажмурившись, словно так проще было отогнать от себя жалость, Арсин надавил на кончик ножа...

Сделав свое неблагодарное дело, он открыл глаза и подивился: жалость и впрямь ушла из его сердца. Олененок все равно ведь был обречен. А теперь и вовсе – был уже не комочком живой плоти, а просто несколькими фунтами мяса. И какого! Самого нежного и вкусного!

Арсин быстро снял шкуру, распорол живот, извлек внутренности, положив их в миску, зачерпнул чашку душистой крови. Недоедавшему все эти дни Арсину так хотелось почувствовать на языке вкус парной печени, легко поддающегося зубам нежного мяса. Он уже хотел было отрезать ляжку, но неожиданная мысль вдруг остановила его: «Что ты делаешь? Это же не твой олененок, совхозный... Да еще из стада, где бригадиром Юхур. Зачем же ты решил попользоваться чужим добром? А ну-ка, Арсин, вспомни, что случилось в тот раз, когда мойпар на стадо напал. Тебе ведь самому пришлось тогда расплачиваться за государственных оленей... И Юхуру, значит, придется...»

Холодный пот проступил на его лбу – ведь он только что готов был поступить не по совести; Арсин уже собрался отложить нож в сторону, но тут заговорил в нем другой голос.

«Да ведь олененок все равно бы умер, воронам достался. А ты голодный. Сам толком не ешь уже сколько времени, а стадо сумел сберечь. Ты больше, чем мясо этого олененка, заслужил. - И откуда-то, как это часто бывает в душе человека, когда борются в нем желание и совесть, напролом лезло наружу все оправдывающее, все разрушающее соображение: – Ты же один на острове, Арсин, кто тебя тут видит, кто слышит? Сам себе хозяин. Кто узнает-то! А хоть бы и узнали – что тебе оставалось делать?!»

Но как-то сами собой разжались вдруг пальцы, и нож выпал из рук.

«Нет! Не пойдет так! – твердо сказал он себе. – Прочь от меня, черные мысли, разум мой украсть хотели? Замутить, как налимы, своими скользкими хвостами чистую воду? Нет! Не бу-

дет этого! – Он встал со своего круглого чурбачка. – Я еще не потерял совесть. Голодный, да, а на это все равно не пойду, о семь мудрецов старины! Оставлю тушку олененка хозяевам. Пусть смотрят на переломанную ногу, пусть сами видят, как дело было. Никаких свидетелей не надо! Положу пока мясо в снег, ничего с ним не сделается. А потом вместе со шкурой в совхоз сдам. А то начнет эта росомаха Юхур говорить потом, что Арсин, мол, для того на острове и остался, чтобы оленей кушать да шкурки себе на шапку собирать. Но нет, нет, семь мудрецов старины, в этот раз ему ко мне не прицепиться! Ничего у него не выйдет!..»

Решив так, Арсин, теперь уже спокойно, снова взял в руки нож, отрезал половину печени и долго смаковал ее, растягивая удовольствие. Почки и желудок он отложил в сторону – сварит потом бульон, мясо же олененка, как решил, закопал в снег за домом. Вывернутую шкурку повесил на поперечный шест, сушиться.

– Никто не может придраться к тебе, Арсин, – сказал он себе. – Никто теперь не скажет, что ты запятнал свою совесть, даже бывший твой недруг Юхур...

Хотя Арсин и не наелся, но после чашки теплой крови, после парной печени почувствовал себя совсем другим человеком - сразу ощутил, как в ослабевшие мышцы вливается если уж не сила, то, по крайней мере, какой-то бодрящий дух. А после надоевших-то сушек – это была просто царская пища. Впрочем, он тут же подумал, что впереди его не ждет ничего хорошего: в запасе у него только восемь сушек да немного внутренностей олененка, и кто знает, на сколько еще дней придется все это растягивать...

Перепало кое-что от «царского» пира и Акару – ему достался тот ливер, который человек в пищу не употребляет...

Жизнь текла дальше – приносили свой приплод важенки, кормились таловой корой; спасенный им малыш перешел уже ко второй банке сгущенного молока, крепко держался на своих тонких ножках и совершал небольшие прогулки рядом с избушкой...

А весна продолжала наступать широко и размашисто, она словно длинным крепким хореем сгоняла прочь задержавшуюся дольше времени упряжку зимы.

К вечеру воздух наполнился криками пролетающих птиц. Несколько лебединых и гусиных стай прошли над самой его головой, и охотничья страсть тут же полыхнула в Арсине, подобно пламени, вспыхивающему от сухих кедровых стружек... Эх, как все-таки жаль, что нет у него с собой ружья! Жадными глазами провожал он летящих к северу крякв и шилохвостей. А с наступлением сумерек со стороны Шурышкаров и Супвоша начали, бередя сердце, доноситься до его слуха отдаленные ружейные выстрелы. Весенняя охота началась!

О, с каким нетерпением дожидался Арсин этого дня каждую весну, как старательно готовился каждый раз к открытию охоты! И нынче он тоже неплохо все сделал, вовремя, да вот ведь как жизнь рассудила – держит его здесь, на острове, да так крепко, что никуда ему пока и отлучиться нельзя...

А когда начался весенний перелет, воздух, казалось, весь заполнился звоном крыльев и разноголосьем пернатых странников. Стаи уток тянулись в основном по заберегам – там, где только и успела пока натаять вода, и, не найдя лучшего места для отдыха и кормежки, садились на разводья, сразу оживляя своим присутствием мертвую дотоле реку.

Долго бы еще мог Арсин стоять на берегу, любоваться долгожданными гостями из теплых краев, да что ж попусту бередить себе душу... Прихватив топор, он направился к тальниковому мысу – пора было снова готовить корм оленям, срубленные им накануне жерди были обглоданы подчистую.

Кой! – сказал Арсин удивленно. – Лучше зайцев работают. Не знал, ей-Богу, не знал. Коль и дальше так пойдет – совсем остров без тала останется. Кой, кой!

Делая свой обход, он обнаружил еще трех важенок, телята которых не могли сами выбраться из глубоких ям. Но детеныши стояли на ногах, сосали материнское вымя. Арсин, чтобы не спугнуть важенок, не стал вызволять оленят из ловушек, а сходил, нарубил тонкого тала, положил каждой ее порцию и даже, от нечего делать, наскоблил им ножом коры – пусть едят мамаши, не тратя лишних усилий.

Как и в прошлый раз, Арсин навалил тонкого тала с таким расчетом, чтобы хватило на всех важенок. А взглянув на свои труды, подивился: если вначале тальниковый мыс казался ему сплошным непролазным массивом, то теперь он так поредел, что начал то там, то тут просвечивать насквозь. Практически, не было уже такого места на мысу, где бы он не прошелся со своим топором. Нетронутыми оставались пока отдельные большие кусты многолетних, начинающих уже засыхать талов. Их он оставил про запас, на самый крайний случай.

...Так же утомительно и медленно, как длинная неуклюжая вереница связанных друг с другом лодок, прошли еще три дня.

Все эти три дня природа на его глазах бурно оживала. Заполнилась наконец водой та узкая протока, по которой он когда-то впервые привез сюда Таясь; надуло свои щеки и озеро, а сегодня оно даже соединилось с водами реки. Остров понемногу заливало. Ушла под воду низкая часть тальникового мыса, где росли молодые и сочные деревья, и теперь Арсину, чтобы заготовить корм, приходилось бродить меж кустов по колено в воде. Она была холодная, как лед, ноги в болотниках стыли, и он часто выскакивал на сухое, чтобы отогреться у разведенного костра.

Там, где из-за большой глубины высоты болотников не хватало, Арсин использовал колданку, нагружая ее до самых бортов срубленными жердями – отвозил, разбрасывая по берегу...

Стадо у него за эти три дня заметно прибавилось. С наступлением устойчивого тепла массовый отел пошел полным ходом, и хорканье оленят раздавалось теперь по всему острову, смешиваясь с перезвоном бубенцов.

Снег, став тяжелым и мокрым, резко осел, и важенки с телятами могли безбоязненно передвигаться по сухой части острова. Животные с необыкновенным старанием обнюхивали каждый клочок земли, щипали едва проклюнувшиеся листья карликовых берез, в который уже раз ворошили оставшийся снег. Но, конечно, вся надежда по-прежнему была на таловую кору, которой, увы, тоже стал виден конец... И это сразу сказалось на поведении животных. Все чаще важенки поглядывали на разлившуюся реку, и если бы не телята – давно бы уже рискнули преодолеть препятствие.

И еще одно сильно беспокоило Арсина: вода поднялась так высоко, что грозила совсем затопить его небольшой остров, а ведь не было еще даже подвижки льда...

«Что случилось с небом Семи Богов, – думал Арсин, чаевничая ввечеру. – Прямо-таки навечно лед задержался. Отел еще не закончился, важенки на глазах слабеть начали. Кой, как бы, не приведи Господь, до падежа дело не дошло. Кой!.. Тогда оленей начнет валить, как траву косой».

И ему вспомнилась одна отелившаяся сегодня важенка -она настолько уже ослабела, что ее аж зашатало, когда начала кормить детеныша. Арсин тут же наскоблил ей побольше коры, принес даже охапку сена, урвав ее от и без того скудного пая Бурана. А потом еще отлил важенке половину березового сока, которого припас перед этим большую кастрюлю... Но ведь сколько важенок он мог поддержать вот так? Одну-двух, ну самое большое – десяток. А остальные?..

Да и его собственные силы были уже на исходе – сказывалось постоянное недоедание. Он осунулся, оброс колючей щетиной. У него уже временами кружилась от слабости голова, но к оставленному в снегу олененку он, следуя своей клятве, ни разу не прикоснулся, забыл о том, что он есть... Еды у него – если это только можно было назвать едой, оставалось с сегодняшнего утра одна-единственная сушка. Теперь вся его надежда была только на ледоход, только на ледоход...

С тревогой думая обо всем этом, Арсин вдруг услышал через открытые двери донесшийся откуда-то издалека протяжный крик. Он отставил в сторону недопитую кружку с чаго-

вым настоем и поспешил из избушки. Наконец-то пришли к острову люди! Акар, тоже изрядно ослабевший, пытался скулить, вертел хвостом, то и дело возбужденно вскакивая, глядел в сторону реки, опять ложился – словно предчувствовал встречу с хорошо знакомым, даже обожаемым человеком.

– Ар-си-ин!.. Где ты-ы? – уже явственно расслышал он.

– О, Семь Богов Счастья! Это же Таясь! – шлепнув себя от радости по бедрам, воскликнул Арсин. – Как только она здесь оказалась, да еще в такую пору?!

И вдруг, испугавшись почему-то, что Таясь не дождется его ответа, повернет обратно, закричал что было силы:

– Э-э-эй! Я здесь, зде-есь, Таясь!

Взобравшись по своей дозорной лестнице к вершинам лиственниц, он разглядел, что Таясь стоит на льду, у самого края заберегов.

– Таясь! – закричал он сильнее прежнего. – Подожди, не ходи по льду! Я сейчас за тобой приеду!

Он торопливо спустился вниз и, подбежав к колданке, столкнул ее одной ногой на воду, впрыгнул сам и погнал лодку по протоке.

Таясь – с большим узелком в руке, в легкой своей ягушке - терпеливо поджидала его все там же, у кромки льда, поднятого водой.

Арсин начал было сразу объяснять ей причину столь долгой своей задержки на острове, но Таясь, похоже совсем не слушая его, развязала свой узелок и достала оттуда кусок жирного вареного мяса. Арсин, конечно, с жадностью накинулся на угощение. И только уж потом, на обратной дороге к избушке, Таясь стала отвечать на его вопросы и задавать свои... Как могла, описала ему дорожные приключения.

– Выходит дело, ты меня искать пустилась?

– Да ты сам подумай, Арсин: отправился на два дня, а самого нету и нету. Забеспокоишься тут, особенно после такой пурги. Сколько людей в такую погоду сгинуло!

– Какая же ты у меня умница! Я ведь совсем без еды уж сидел. О, Семь Богов Счастья, какой же ты молодец!

– Как это без еды? А олени-то на что? Неужели сам бы с голоду помер, а оленей так и не тронул?

– О, глаза Семи Богов на небе! Не мог я их трогать, Таясь, клятву дал, что сохраню хотя бы до прихода людей. На пастухов-то у меня надежда плохая – им, конечно, и в голову не придет здесь искать, где-нибудь, наверное, в другом месте рыщут...

– Постой, постой, Арсин. Пастухи, значит, да? А ты клейма в ушах не смотрел? Ну, из какого они стада?

– О, семь мудрецов старины! Как же не смотрел, смотрел. Это Юхура стадо. И белолобая важенка там, которая наша была...

– Юхура? – Она вдруг ухватилась за ручки гребей. – А ну, погоди-ка, Арсин. Значит, Юхурово стадо?

– Что такое, Таясь? Что-нибудь случилось? Ты вся бледная

вдруг стала, как березовая кора...

− И, значит, ради него ты так старался? Голодный сидел? Он мою жизнь исковеркал, твою... Столько зла причинил. А ты... Ты что, забыл уже обо всем?!

− Ничего я не забыл, Таясь. Только, семь мудрецов старины, совсем я не ради него возился с оленями! Олени-то ведь совхозные, Таясь, государственные. Стало быть, наши с тобой – тоже... Ну, не мог я иначе, пойми...

− Не мог, не мог, – все так же сердито повторила Таясь. – А он почему мог? Забыл, как он тебе всю жизнь мстил? А уж когда председателем-то был – так и вспомнить тошно, что делал! Рыбачить – худшие плавные пески тебе отводил. В самую горячую пору охоты, когда люди пушнину голыми руками гребут – он тебя на какой-нибудь другой работе задержит. Что, не так разве? Специально назло делал! А ты для него вон как стараешься...

− Но, Таясь... столько лет уж прошло... А самое главное – не его это стадо. Совхозное.

− Раз совхозное – значит, сам теперь помирай, да? Ладно, – махнула она рукой. – Делай, как знаешь. Умом я, конечно, понимаю тебя, но как вспомню о Юхуре... Ох!.. У меня в груди сейчас, наверное, огнем все горит... – Таясь покусывала губы, не пытаясь даже скрыть захлестывавшую ее злость. – Ну вот ты объясни мне: почему ты должен с голоду помирать, оленей его спасать, а он – мало того, что стадо отельное не укараулил – так еще и вино сейчас хлещет!

− Кто хлещет? – переспросил Арсин, на какое-то время он даже забыл про греби.

− Как кто – Юхур. Своими глазами сегодня на Гусином острове видела.

− Как на Гусином? Он должен в стаде быть.

− В том-то и дело! О чем я тебе и толкую!

− Ничего не понимаю! Зачем он там оказался-то?

− Дай я тебе все по порядку расскажу... Иду я, стало быть, по льду, подхожу как раз к Гусиному, вдруг слышу женский крик. Пригляделась: женщина на мысу стоит, машет. Оказывается, Хорьяр – вторая Юхурова жена. Стоим друг против друга на расстоянии, наверное, двух бросков аркана. Ближе не подойти – забереги, да и глубоко ведь там... Ну, она мне все и рассказала.

Тоже, видать, намучилась крепко. Гнали они отельное стадо, там еще пастух Рохтымов с ними был, и остановились, стало быть, на острове – приняли его ночью за коренной берег реки. Ну, Юхур с Рохтымовым и решили гульнуть как следует на природе, подальше от людских глаз.

– Да, да, там же рыбацкий домик есть, – кивнул Арсин.

– Вот в этом самом домике они и устроились. А тут ночью пурга. Утром Юхур продрал глаза, похмелился и послал Рохтымова с собакой перегнать стадо дальше. А сам, стало быть, сказал, что нагонит его по дороге...

– А-а, семь мудрецов старины! – перебил жену Арсин. – Ну, теперь мне все ясно.

– Что ясно?

– Ну, пока они пили, пока дрыхли – вот часть стада и пере правилась на таловую сторону. А Рохтымов с пьяных глаз того даже и не заметил... Ну ладно, говори дальше.

– Ох, так, видно, хорошо погуляли, что смех один получился. Юхур, оказывается, пожалел своих ездовых оленей, пустил на ночь покормиться. Пьяный – он ведь любой свой шаг считает хорошим... Ему бы утром их поймать, а он с больной головы про них даже и не вспомнил. Ну, они вместе со стадом и подались, его олени-то. Так Юхур с женой и остались на острове... две свои нарты пасти...

Арсин рассмеялся следом за женой.

– Ну и пастухи! Вот так пастухи!..

– Ну, Юхур то ли с горя, то ли с радости – опять за пьянку. Все равно, мол, пастухи за мной приедут, за бригадиром. А тут и пурга опять разгулялась...

Колданка мягко приткнулась к затопленному кусту тала, и Арсин тут же ухватился за него.

– Передохнем немного, ладно? Ты не узнала, что он, Юхур, собирается делать-то? Надо ведь, чтобы они оленей забрали... Телята тут...

– А что он собирается делать? Выбраться с острова как-нибудь... Уж Хорьяр умоляла меня, умоляла, узнав, что в сторону Ванды иду, чтобы зашла к ее родственникам, сказала, пусть, мол, за ними на Буране приедут. Тебе, мол, Юхур оленя

за это подарит. Мне даже смешно стало...

− Ну, ты хоть зашла к родственникам-то?

− Конечно, зашла, Арсин, а что ж делать. Сказала. Если б Юхур меня попросил – для него бы и пальцем не пошевелила.

− А он-то где был, пока ты с Хорьяр разговаривала?

− Тут же и был, чуть поодаль. Молчал, словно рот у него зашитый.

− А, все-таки заговорила в нем совесть. – Арсин так сильно надавил на таловый отросток, что тот треснул. Он перехватился за другой, потолще. – Как ты все же узнала, что я на острове?

− А где же тебе еще быть? – засмеялась Таясь. – В Ванды пришла, народ порасспросила: не приезжал ли, мол, обратно. Никто не видел. Осталось тебя только здесь искать. Я уж, грешным делом, думала, не случилось ли что...

Но Арсин вдруг опять перебил ее с каким-то странным, отсутствующим видом:

− Так, говоришь, Юхура в Ванды должны вначале привезти?

− Ну да. А оттуда они с женой пешком нагонят стадо.

− Ну да, ну да. Дорогу знают... А потом, когда отел, стада ведь почти на месте стоят. Всего, наверное, два дня хода, дальше, поди, не успели уйти... – Видно было, что Арсин говорит это, а сам думает о чем-то своем. Неожиданно он нахмурился, свел брови и вдруг сказал, бросив на жену быстрый взгляд:

− Знаешь что, Таясь? Едем-ка обратно.

− Куда обратно? Зачем?

− В Ванды схожу. Здесь же близко. Скажу Юхуру, что часть его стада тут находится.

− А зачем сейчас, Арсин? На обратном пути и заедем...

− Нельзя, Таясь, опоздать можно. Вдруг он успеет на другой берег переправиться? На Уральскую сторону.

− Ну, давай я съезжу. Ты посмотри на себя – от тебя ведь одни кости скоро останутся!

− Эх, Таясь, Таясь! Пожалей-ка ты глаза Семи Богов на небе, – засмеялся Арсин. – Да за кого ты меня принимаешь-то? Рано меня, бывшего фронтовика, со счетов списывать!.. – И посерьезнел. – Нет, Таясь, тебе нельзя. А ну как лед тронется? Вот и растеряешься... А я-то не раз в таких переделках бывал. – И Арсин, отпустив таловый куст, развернул лодку в сторону разлившихся

заберегов, где вода в вечерней тишине лоснилась, словно жир.

Вернулись они уже за полночь. Арсин, хоть и хорохорился давеча, еле волочил ноги. А вскоре, едва они с Таясь успели переправиться на остров, вдалеке показались две человеческие фигуры. Люди торопливо шагали по гладкому льду.

− Ну, вот и хозяева стада, кажись, пожаловали, – сказал Арсин. – Вон тот, правый, на женщину смахивает. Поди, Хорьяр с Юхуром и есть.

− Да, похоже. Знаешь, Арсин, я, пожалуй, не поеду перевозить их на колданке, а? Ты уж давай сам как-нибудь, ладно?

− Ладно, Таясь, ладно. Иди давай в избушку. Печь натопи, чаек согрей...

− Это для Юхура, что ли? Кой! Сорни Турам – Золотое небо! Да лучше пусть руки мои отсохнут, чем его чаем напою!

− Но ведь он же не просто так, Таясь, не в гости... К тому же не один, с женой. Она-то при чем?

− Ну ладно, езжай, – смягчилась наконец Таясь. – Там посмотрим.

...Юхур сошел на берег молчком – ни здравствуй, ни прощай, словно ему вдруг отказал язык. Постоял, огляделся, закинул на плечо аркан и, буркнув что-то жене, которая шла следом, с ходу направился смотреть, в каком состоянии отколовшееся по его вине стадо. Естественно, и Арсин не стал навязываться ему в попутчики, ушел вместе с Таясь в избушку – почаевничали, перекусили. Однако любопытство все же разбирало его, не удержался, залез на свою смотровую лестницу, чтобы поглядеть, что же все-таки там Юхур делает.

Тот долго ходил по острову, часто останавливался около тех важенок, которые еще не отелились. Яловых вылавливал, словно хотел сам еще раз убедиться в том, что теленка у нее и не должно быть. Глядя на этот явно затянувшийся осмотр, Арсин усмехнулся: «О, семь мудрецов старины! И как вы только послали такого человека на землю?! Глазам своим верить не хочет. Не съел ли, мол, Арсин, не упрятал ли куда-нибудь теленка. Только это, наверное, и есть в голове – а то с чего бы ему каждую важенку так тщательно ощупывать?»

Однако он и не думал мешать Юхуру: человеку стадо доверено, бригадир как-никак, вся ответственность за оленей на

нем... А ему самому теперь, когда стадо передано с рук на руки, можно, пожалуй, и уезжать с острова, хватит, сколько можно здесь голодать...

Похоже, о том же думала и Таясь – подошла вдруг к лестнице, спросила у него негромко:

− Арсин, долго ты еще будешь там сидеть? По-моему, ты теперь свободен – не пора ли домой собираться? Давай хотя бы в Ванды поедем, что тут без еды торчать?

− Погоди немного. Пусть Юхур вернется. Может, помощь ему какая нужна...

− Да ты-то чем ему поможешь? То, что раньше делал, – да, понятно. А сейчас? Наоборот, нам лучше бы поскорее в поселок попасть, сообщить обо всем в контору.

− Сообщать – это надо в Поравата, а не в Ванды. А добраться ли нам теперь до Поравата – это еще вопрос... Это ж не шутки – полета верст вкруговую по льду. А ну, как он тронется? О, Семь Богов на небе! У ледохода знаешь какая сила? Нашу лодку, как скорлупку, сотрет. Если сообщать – надо что-то иное придумать. Как-то по-другому...

− Да что тут придумаешь-то? Мы же не птицы, крыльев нам Бог не послал...

− Крыльев, говоришь, не послал? – Арсин даже скатился со своей лестницы. – Слышишь, Таясь? Здесь же вертолеты в сторону Горок пролетают. Каждое утро их вижу. Вот бы с вертолетом как-то весточку передать...

− Да что ты хоть говоришь, Арсин! Так он к тебе и сядет, вертолет!

− Можно вот что сделать... Что, если костер большой на льду разложить? А? И самим там стоять, махать платком. Может, увидит летчик, а? Как думаешь, Таясь?

− Ну, не знаю. Пусть у Юхура об этом голова болит. Его стадо.

− Ладно, Таясь. Давай не будем здесь болячки старые расковыривать... Голова у меня тяжелая что-то. Устал. Может, я вздремну ненадолго? Закончит Юхур свое дело – придет, разбудит.

И Арсин, едва добравшись до нар, тут же уснул.

Разбудил его скрип двери, быстрый женский разговор. От накопившейся за эти дни усталости, от гребей ныло все тело. С трудом открыв глаза, он увидел через окно, что солнце залило своим золоченым светом весь остров. Надо было вставать. Он сладко зевнул, одолевая ломоту, уселся на нарах.

И тут увидел, что у порога, не выпуская деревянной дверной ручки, стоит жена Юхура Хорьяр – в ярко-красном платке с длинным кистями, в красиво изузоренной белой ягушке.

– Арсин-аки, муж вас на улицу просит выйти. Разговор к вам важный имеет.

– Да ты заходи в избушку-то, – буркнул Арсин. – Кто так разговаривает: одна нога дома, другая – еще за порогом. Садись, попей с моей Таясь чаю.

Хорьяр как-то неуверенно пристроилась у самого окна.

– Сказываешь, разговор имеет? – переспросил Арсин, вставая с нар. – Ну что же, выйдем на улицу, коли так.

Юхур, в надетой поверх малицы ситцевой сорочке, сидел на любимом Арсиновом «диване» и покуривал сигарету. Увидев Арсина, бригадир вдруг переменился в лице – только что оно было спокойным, благодушным, а тут вдруг враз стало каким-то умильно-заискивающим, и Арсин сразу насторожился.

«Вишь как, и глаза уже не суживаются грозно, не мечут острые стрелы, как тогда в конторе, когда оленей мойпар угнал, – подумал Арсин. – Что, неужто вины своей так боится?» - Пытаясь разгадать, что у бригадира на уме, он, не заметив сам, так пристально вперился в него, что Юхур не выдержал и отвел глаза. Откашлялся, как будто у него вдруг запершило в горле и, не глядя на Арсина, тихо сказал:

– Знаешь, о чем я сейчас думал...

– Да где же мне знать! Чужая мысль – как ловушка неосмотренная. Что-то она еще преподнесет?

– Ну, а если вдруг хорошего зверя? Стоящего!

– Ладно, не будем концы языков вхолостую стесывать. Говори: что хотел?

– Я, Арсин, знаешь ли, – замялся Юхур, – о тебе тут думал... Много тебе пришлось попотеть, шибко много. Я ведь, как пастух, сразу все понял, еще когда ты только перевозил меня. А теперь своими глазами твою работу увидел. – Он сделал длин-

ную затяжку и бросил окурок к ногам. – Стыдно мне будет, Арсин, если за такой труд не отблагодарю тебя. В старину, знаешь, как в таких случаях говорили? Рыбу имеешь – самого жирного осетра отдай, мехами богат – драгоценной выдрой одели, оленями владеешь – самую породистую важенку не пожалей. А в старину люди толк знали...

Юхур опять посмотрел на него все тем же умильно-заискивающим взглядом.

– Так что, Арсин, ничего для тебя не жалко. Любую важенку в стаде выбирать можешь. С теленком вместе. И эту авку, которую приручил – тоже можешь себе забрать...

– Ох, какая щедрость! Да ведь это же совхозные олени, не твои!

– Ну и что из того? – Юхур встал, подошел к Арсину поближе, понизил голос: – Эка важность – совхозные. Надо будет, спишем. Падеж. Мало ли при отеле оленей пропадает? Спишем – и кто узнает? Никто. Только мы с тобой и будем в курсе...

Арсин вдруг всем нутром почувствовал, что Юхур не сказал еще самого главного – что награду эту предлагает не просто так...

– Слушай-ка, Юхур, – начал он, осторожно пытаясь выяснить, что же все-таки от него нужно. – Это ведь очень дорогой подарок. Мне, наверное, заплатить нужно будет кое-что, да?..

– Ни копейки! – тут же откликнулся Юхур. – Только молчи – и все!

– Как молчать?

– Очень просто. Чтобы в поселке, ну в конторе, не узнали про то, как стадо отбилось. До директора чтоб не дошло.

– Да разве ж можно такое дело скрыть? – рассмеялся Арсин. – Тут ведь не один олень. Стадо целое! Рано или поздно все равно известно станет!

– После – пусть, когда беда минует. Тогда уже не страшно. Забудется, простится...

– Что-то я, Юхур, никак в толк не возьму... Как же ты стадо-то собрался спасать, если сообщать не хочешь? Оленей ведь на другую сторону надо перевозить.

– В селенье Ванды рыбаков много. Перетолкую с ними.

– Рыбаки? А ведь им за работу ого-го сколько платить придется!

– Ну, это уж мое дело. Может, рубль-другой в кармане найду.

– Ну хорошо, найдешь. Им же, оленям-то, корм нужен. Сколько уж они на коре сидят – того и гляди, падеж начнется.

– Говорю же тебе, Арсин, – это уже мое дело. Мое стадо – мне и думать. Я хозяин.

«Ну вот, – вздохнул про себя Арсин, – и повернул твой язык на любимую тропу. Десять лет в колхозе председательствовал – вот и приучился начальником быть. «Я хозяин» – и все тут. А что олени совхозные вот-вот погибнуть могут – на это ему, «хозяину», наплевать».

И Арсин, понявший теперь намерения Юхура, не удержался, сказал решительно:

– Нет, Юхур, не купишь ты меня. Целого стада тебе не хватит, чтобы меня купить. А главное – олени на это не согласятся.

– Брось ты эти прибаутки! Олени! Что они – заговорили, что ли!

– Да, Юхур. Неделю уже с ними разговариваю. Говорят: срочная помощь им нужна. Ослабли от плохой кормежки. Сенца им подвезти надо. Комбикормов, соли. А тут еще неизвестно, когда река уйдет...

– Как когда? Не останется же лед на лето. Сегодня-завтра и тронется.

– Ну, хорошо. Сегодня-завтра. А теперь подсчитай, сколько времени ты их будешь перевозить. Больше трех в одну лодку ведь не возьмешь, верно? Не возьмешь... Считай, неделя понадобится. Да через неделю они, без корма-то, совсем ноги протянут. Так что не проходит у тебя это дело, Юхур. Сколько можно животных мучить! Катер надо вызывать с площадкой. Три рейса – и все на лесной стороне окажутся.

– Ха! Хитер! Так он когда еще придет-то, твой катер!..

– Как сообщим – так и придет.

– Опять смеешься, Арсин. Ведь это та же самая неделя!

– Нет, Юхур, меньше. У меня мыслишка одна есть... Вертолет попробовать остановить. Он здесь все время летает. И низко.

– Ох-хо-хо! – схватился за живот Юхур. – Ты, я смотрю, совсем здесь с ума спятил. Вертолет! Поманишь, значит, его пальцем – и он тут как тут, прямо к тебе на ладонь сядет, да? Ну и болтун!

– Ну что ж... Коли так – больше нам с тобой разговаривать не о чем! – отрезал Арсин и зашагал было к избушке, но Юхур остановил его.

– Не о чем значит, да? – Глаза его сочились злобой. – Нет, Арсин, есть о чем! За многое тебе теперь отвечать придется, ох за многое! Да так отвечать, что язык спать укладывать забудешь.

– Это еще с какой стати?

– А вот с такой! Во-первых, – он загнул указательный палец левой руки, – одна важенка – та, что с кривым рогом, – отелилась уже, я по соскам определил, а теленок где? Авка у твоей избушки – она почему без матери осталась? – Он загнул второй палец. – Что, молчишь? Небось уже на мясо загнал? Да ты, поди, только из-за этого и завесновал на острове! Если б по-доброму – давно бы уже весть подал. Сообщил, что олени тут. – И он загнул следующий палец. – Как ни крути, а не отвертеться тебе, Арсин. Жадное твое сердце и здесь к оленям крепко прилипло. Не отдерешь. Гони, давай, авку в стадо. Не твоя, небось. Нечего народное добро присваивать.

Вот когда наконец сузились его глаза, вот когда начали они, как прежде, метать острые стрелы. Арсин еле сдерживал себя. Пальцы сами сжались с кулак, словно превратились в камень; он уже готов был изо всей силы смазать Юхуру по наглой его роже – за все, за все пакости, за все подлости, за вымотавшую Арсина неделю, что провел на острове с оленями. И в этот момент он услышал донесшийся со стороны Салехарда далекий гул вертолета.

– Я-а! Таясь! – крикнул он. – Давай скорей! Вертолет летит!

Таясь тут же, словно только и ждала его зова, выбежала на улицу, искоса кинула на Юхура недобрый взгляд – все слышала, конечно.

– Давай, скорее, Таясь, на лед, к чистому месту. Как раз успеем. Пока вертолет будет садиться в Супвоше, сдавать и принимать почту – не меньше получаса пройдет. Успеем!

– И Арсин с Таясь побежали к колданке, а вслед им донесся злобный голос Юхура:

– Бегите, бегите, все равно воровство свое не прикроете! Шибко ворованным-то не наедитесь!

– Но Арсина эти слова никак уже не задели – не до Юхура было: надо было спешить делать дело – оленей спасать! Он закинул греби на уключины. Таясь села на кормовое весло, подруливать. Когда они вылезли на кромку льда и вытащили колданку, вертолет уже поднимался еле заметной точкой над синеющим на далеком берегу лесом.

– Бери платок, Таясь, маши! Бегай туда-сюда и маши. Не переставая маши! И кричи во весь голос...

– А сам снял с себя малицу, вытащил из нее порядком заношенную сорочку и, схватив весло, отбежал от Таясь метров на двести ближе к середине реки, быстро привязал сорочку к веслу, приготовился давать вертолету знак.

Треща винтами, летящая машина приближалась к реке. Арсин широко размахивал наспех смастеренным флагом, поглядывая время от времени на Таясь. Да, летчики не могли их не заметить! Он вдруг увидел, что вертолет, еще далекий, в километре, наверное, от них, вдруг почему-то резко снизился у мыса Тушвош, и гул его, словно сеть, охватил всю окрестность. Вот зеленое брюхо винтокрылой птицы пронеслось над самой головой... Нет, не заметили...

Арсин, взмокший, отмотавший все руки, поставил весло на лед. «Да разве сядет он здесь? Мало ли кто пожелает ему махать...» – тоскливо подумал он и снова посмотрел на Таясь. Она по-прежнему трепала свой платок, махала, что есть силы.

– Перестань, – крикнул он ей устало. – Не видишь, что ли, улетают...

Он отвязал от весла сорочку и, едва успел напялить ее, как услышал крик жены:

– Смотри, Арсин! Повернул!

– Семь Богов Счастья! – закричал, радуясь, как ребенок, Арсин. – Заметили нас. Слышишь, Таясь, заметили! Давай, беги ко мне!

И в этот момент, сквозь забивающий уши вертолетный гул, он услышал ее перепуганный вопль:

– Мув аси! Турам Аси! Бог Земли! Владыка Неба! Пропали!

– Что случилось?! – повернулся он в ее сторону и сразу увидел, что – огромная змеистая трещина пролегла между ними. – К берегу, к берегу беги! – закричал Арсин, о себе он не подумал, он думал только о том, чтобы Таясь успела... – К лодке поближе!

Взглянув в сторону острова, Арсин только теперь понял, что, пока они ждали вертолета, пока махали, началась сильная подвижка – их, вместе со льдом, несло за тальниковый мыс. На коренном берегу Малой Оби, у переката, уже наворачивало горы торосов, а полынья между ним и Таясь, протянувшаяся от берега до берега, словно по мановению волшебного идола Сясi-Ими, все увеличивалась; ширина ее была теперь не менее броска аркана...

Вода, будто сказочный Менг-великан, с грохотом напирала на сопротивляющийся лед и гнала, гнала его вниз по течению. И вдруг он услышал через весь этот грохот, этот треск, свист разрезающих воздух стальных лопастей; Арсин поднял голову и чуть не заплакал – вертолет завис прямо над ним, он снижался! Машина не стала касаться колесами льда – чья-то рука выкинула из открытой дверцы лестницу, а потом замахала, приглашая его к себе, наверх.

«Как лучше сделать? – лихорадочно думал Арсин. – Передать через летчиков записку директору совхоза Косенко, а самому вылезти на острове? Или слетать в контору? Хотя слетать, конечно, может и Таясь». Он посмотрел в ее сторону – Таясь бежала что есть силы к краю расползающейся на глазах льдины...

Тут махавший ему человек в кожаной куртке и ушанке не выдержал, повис на лестнице, схватил Арсина за рукав, с силой рванул его вверх.

– Садись! – прокричал летчик, когда они оказались в вертолетном брюхе. – Сейчас и женщину подберем. Жена, небось, да?

Еще не пришедший в себя, Арсин только кивнул головой.

Таясь подобрали точно так же, выкинув лестницу, а когда дверца захлопнулась, человек в кожаной куртке спросил, крича Арсину в самое ухо:

– Куда вас довезти-то? Где высадить?

– Дело у меня важное есть, начальник. Шибко большое дело! – закричал ему в ухо и Арсин.

– Какое дело? Скорей говори!

– Стадо там... Олени погибают. Внизу остались, на острове, шибко плохо им.

– Понял, отец, понял. Чем тебе помочь?

– Да чем помочь! Бумагу вот надо нацарапать... А вы бы отвезли ее, а?

– Куда?

– В Горки. Директору Косенко.

– Знаем, знаем такого, летали по вашим стадам. Погоди, сейчас с командиром поговорю.

Человек в куртке недолго побыл в кабине, а выйдя оттуда, прокричал Арсину:

– Ты сам лететь с нами можешь? Есть кому за оленями присмотреть?

– Подожди, начальник, у жены узнаю, – Арсин наклонился к уху Таясь. – Летчики спрашивают: мы сами в совхоз поедем или бумагу пошлем?

– А лодка-то на льду, Арсин! – всплеснула она вдруг руками, как будто не в вертолете сидела, а в их избушке. – А лошадь с упряжкой?!

– Да ты что! Колданку несчастную пожалела?! – прокричал Арсин. – Руки целы пока, новую смастерю. И с лошадью ничего не будет. Директор, думаю, сам приедет оленей смотреть. Обязательно вертолет закажет, вот мы и...

– Ну, скорее, отец! – раздался голос летчика. – Время, время! Мы ведь только из-за ледохода к вам спустились, спасать вас...

– Едем, начальник! – прокричал Арсин. – Едем!

– Хорошо! – Летчик ушел в кабину, прихлопнув за собой дверцу.

Арсин почувствовал, как вертолет, напрягая могучие лопасти, взмыл вверх и, накренясь, повернул в ту сторону, где было селение Горки.

Он прильнул к иллюминатору и увидел внизу бескрайно разлившиеся забереги. Ледовый панцирь реки, расколовшийся, будто от удара гигантского молота, на огромные глыбы, напирал на заросшие талом острова посредине реки, наворачивал на них высокие ледяные горы, долбил каменные перекаты за мысами.

Поздний ледоход, словно медвежья лапа, мял и чесал скулы реки, уносил с собой скопившийся за зиму на берегах мусор...

На Оби начался мощный, все сокрушающий на своем пути, ледоход...

1987 г

Вопросы и задания

1. О чем говорит название повести Р. П. Ругина «Сорок Северных Ветров»?
2. Составьте характеристику Таясь. Можно ли утверждать, что в героине соединились образы Возлюбленной и Земной женщины? Аргументируйте свою точку зрения.
3. Составьте сравнительную характеристику двух героев – Арсина и Юхура.
4. Какую роль сыграл остров в судьбе героев?
5. С какой целью Р. П. Ругин ввел в повесть фрагменты, рассказывающие про лебедей? Поясните свой ответ.
6. Как Великая Отечественная война изменила судьбы героев и народа в целом в повести Р. П. Ругина «Сорок Северных Ветров»? Иллюстрируйте свой ответ цитатами из текста.
7. Определите сюжет и композицию повести Р. П. Ругина «Сорок Северных Ветров».
8. Какую роль сыграли олени в судьбе героев повести Р. П. Ругина «Сорок Северных Ветров»?
9. Какие запреты нарушили герои повести Р. П. Ругина «Сорок Северных Ветров» и что подвигло их нарушить запрет, традиции, данное слов?
10. Какие народные обряды использовал Р. П. Ругин в повести «Сорок Северных Ветров»?
11. Можно ли утверждать, что тема любви стала главной в повести Р. П. Ругина «Сорок Северных Ветров»? Обоснуйте свою точку зрения.
12. Выпишите из повести этнографизмы. Составьте их классификацию.
13. Напишите сочинение на тему: «Судьба человека в повести Р. П. Ругина «Сорок Северных Ветров».

Литература

1. Ругин, Р. П. Сорок Северных Ветров: Повести [Текст] / Р. П. Ругин. – Т. 1. – Екатеринбург : Средне-Уральское книжное издательство, 1996. – 480 с.

2. Ругин, Р. П. Волшебная земля: Легенды, сказки, повести, рассказы [Текст] / Р. П. Ругин. – Т. 3. – Екатеринбург : Средне-Уральское книжное издательство, 1997. – 432 с.

3. Ругин, Р. П. Избранное: Повести [Текст] / Р. П. Ругин. – Екатеринбург : Средне-Уральское книжное издательство, 2001. – 560 с.

4. Ругин, Р. П. Избранные стихи [Текст] / Р. П. Ругин. – Екатеринбург : Средне-Уральское книжное издательство, 2004. – 320 с.

5. Ругин, Р. П. Легенды и мифы народа ханты [Текст] / Р. П. Ругин. – Салехард : Красный Север, 2008. – 432 с.

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок

ХАНТЫЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Учебная хрестоматия

Часть II

Составитель Косинцева Е.В.

Редактор, корректор Шарова П.С.
Верстка Семенов И. С.
Дизайн обложки Матвеева Н.

Подписано в печать 25.12.2010
Формат 60х84/16. Гарнитура Times New Roman.
Усл. п. л. 23,9. Тираж 300 экз. Заказ № 151.

Отпечатано в Информационно-издательском центре
Югорского государственного университета,
628012, Ханты-Мансийский автономный округ,
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16.